

ПИСЬМА К СЫНУ

Угли под пеплом, или То, что я хотел тебе сказать

Тридцать восемь писем
об аристократии Духа и о мире, принадлежащем хаму

Твой отец
Алексей Фёдоров

Образ Божий в человеке — это угли под пеплом: хамство может их притушить, но не погасить. Пока человек жив, эти угли остаются — и могут разгореться вновь.

Содержание

Зачем я тебе пишу?

Письмо I. Мир принадлежит хаму — и что с этим делать

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ — Анатомия Homo Vulgaris. Кто он таков?

Письмо II. О духовном хамстве, и почему это не грубость в трамвае.

Письмо III. О ressentiment, или как обида становится мировоззрением.

Письмо IV. О мещанском счастье, и почему оно опаснее порока

Письмо V. О человеке без формы.

Письмо VI. О феллахе, или как умирают цивилизации и что остаётся.

Письмо VII. О восстании масс, или что происходит, когда хам получает власть.

Письмо VIII. О равенстве, или почему хам выбирает его вместо свободы.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ — Машины хамства и кто их производит.

Письмо IX. О культурной промышленности, или что они делают с твоим вкусом.

Письмо X. О китче, или как отличить чувство от его имитации.

Письмо XI. О спектакле, или почему всё стало представлением.

Письмо XII. О власти, или как система производит послушных людей.

Письмо XIII. О телевизоре и телефоне, или как развлечение убивает мышление.

Письмо XIV. О мифах повседневности, или как реклама формирует твои желания.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ — Цифровой хам, как новейший тип.

Письмо XV. О соцсетях, или как алгоритм стал твоим духовником.

Письмо XVI. О надзоре, или что они знают о тебе и как это используется.

Письмо XVII. О трибализме, или почему ты видишь только своих.

Письмо XVIII. О внимании — почему его крадут и как его вернуть.

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ — Феноменология хама, или как он выглядит

Письмо XIX. О цинизме, или почему это не ум, а слабость

Письмо XX. О статусной тревоге, или как погоня за признанием убивает достоинство

Письмо XXI. О молодёжной анестезии, или юфаназия и невозможность повзрослеть

Письмо XXII. О внешности, или как тело несёт душу

Письмо XXIII. О языке хама, или как речь обнажает душу

Письмо XXIV. О вкусе, и почему он имеет значение

ЧАСТЬ ПЯТАЯ — Восемь портретов — Узнай его

Письмо XXV. Хам-идеолог, или праведный гнев как профессия

Письмо XXVI. Homo Vulgaris потребляющий, или покупаю, значит существую

Письмо XXVII. Хам эстетический, или как китч имитирует красоту
Письмо XXVIII. Homo Vulgaris цифровой, или заложник собственного экрана
Письмо XXIX. Homo Vulgaris циничный — умный хам
Письмо XXX. Хам-эзотерик, или самый опасный портрет
Письмо XXXI. Хам-эгалитарист, или как равенство стало религией
Письмо XXXII. Homo Vulgaris нигилистический — «мы изобрели счастье»

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ — Выход, или — как остаться человеком

Письмо XXXIII. О требовании к себе — единственном, что имеет значение
Письмо XXXIV. О творчестве, или — как ответить Богу
Письмо XXXV. О самопреодолении, или — что значит победить в себе хама
Письмо XXXVI. О культуре как молитве, или — Роджер Скрутон и живые мертвецы
Письмо XXXVII. О свободе и иерархии, или — почему вертикаль защищает
Письмо XXXVIII. О преображении — последнее слово
Послесловие. Письмо последнее — О надежде

ВСТУПЛЕНИЕ

Зачем я тебе пишу?

Лондон, осень

Мой дорогой мальчик,

Филип Честерфильд писал сыну о том, как вести себя при дворе. Это был мир с правилами. Жёсткими, лицемерными, но всё же правилами. За каждым поклоном стояло хоть что-то: история рода, кодекс чести, страх Бога или хотя бы страх осуждения. Мне придётся писать тебе о другом мире — о мире, в котором правила отменены, двор упразднён, а на месте аристократии воцарился тот, кого прежде не пускали дальше конюшни.

Я говорю о хаме. Не о грубияне в трамвае — это было бы слишком просто и слишком мало. Я говорю о человеке особого рода: образованном, благополучном, порой остроумном, иногда даже трогательном, но внутренне опустошённом. О человеке, который закрыл в себе нечто главное и не заметил этого. Или заметил и решил, что так удобнее.

И ещё я говорю об аристократии Духа, о том, что истинное благородство — не наследство крови и не диплом университета, оно не покупается золотом и не завоёвывается успехом. Истинное благородство — это дар рождения свыше, результат того, что человек открылся Тому, Кто выше его. О том, что свобода — не право делать всё, что угодно, а свобода сына в доме Отца: желать лишь того, что благо, и потому не нуждаться в цепях. Об иерархии в Царстве Духа, которая существует ради служения, а не ради господства.

А ещё я пишу о тех, кто от этого отказался. Не потому, что выбрал зло, — потому что это было бы благородно по-своему. Но потому, что не выбрал ничего. Потому что промолчал в тот момент, когда нужно было ответить. Это и есть хамство в самом точном смысле: не бунт против Отца, а равнодушие к Нему. Библейский Хам не отрицал отца, он над ним посмеялся. Разница огромная.

Я буду писать тебе долго, обо всём, что вижу в этом мире. О том, как хамство производится и воспроизводится: машинами культуры, экранами, алгоритмами,

языком политики. О том, как оно выглядит снаружи и как устроено изнутри. О восьми лицах, которые оно носит: от хама-идеолога до хама-эзотерика. И в конце — о том, как из этого выйти. Потому что выход есть, пусть и размером с игольное ушко.

Пишу тебе не как философ, а как отец. Умных людей я буду цитировать только когда они сказали точнее, чем я умею. В остальном — мои наблюдения, мои истории, мои ошибки, мои надежды.

Главная причина, по которой я это пишу, проста: я не хочу, чтобы ты стал одним из них. Не потому, что это некрасиво или неприлично. А потому, что ты создан для другого. Образ Божий в тебе — это не комплимент и не метафора. Это незыблемая основа, которую хамство закрывает, но не уничтожает. Пока ты жив, она остаётся в тебе, как угли под пеплом.

Моя задача — чтобы ты об этом не забыл.

Твой отец

ПИСЬМО I

Мир принадлежит хаму — и что с этим делать

О торжестве посредственности и об единственном достойном ответе.

Москва (или Лондон, или Нью-Йорк — неважно), ноябрь.

Мой дорогой мальчик,

Вчера я был на ужине. Место дорогое, люди успешные. По меркам нашего времени это означает — богатые, заметные, уверенные в себе. Один из гостей говорил громче всех, так что остальные переговаривались в перерывах между его фразами, а не своими. Он перебивал, смеялся над теми, кого не было рядом, и под конец произнёс с видом человека, завершающего дискуссию: «Вся эта ваша культура — она для тех, у кого нет денег на нормальную жизнь». За столом засмеялись. Я промолчал.

Не потому, что нечего было возразить. А потому, что этому человеку не был нужен ответ — ему нужно было подтверждение. Он не задавал вопрос, он совершал ритуал: публичное отречение от вертикали. Спорить с таким бессмысленно. Объяснять — унизительно для обоих. Презирать — недостойно. Единственное, что имеет смысл, — это не стать им.

Вот первое, что тебе нужно понять о природе хамства: оно не знает, что оно хамство. Это не лицемерие, это нечто хуже. Лицемер знает истину и прячет её. Хам искренен: в его картине мира культура действительно существует только для тех, кому больше нечем заняться. Глубина действительно кажется ему позой. Требование к себе — слабостью. Он не притворяется — он так видит. И именно поэтому с ним невозможно говорить: он живёт на иной плоскости бытия.

Один испанец в начале прошлого века назвал такого человека «человеком-массой» и поставил диагноз, который не устарел: это существо, никогда не предъявлявшее требований к себе, и искренне не понимающее, зачем это нужно. Оно довольно собой не потому, что чего-то достигло, а именно потому, что ничего не требует. Самодовольство пустоты — вот самый устойчивый вид самодовольства, потому что разочаровать его нечем.

Мир принадлежит хаму — и это не преувеличение. Он занял экраны, алгоритмы, кафедры, редакции, места в парламентах. Его язык стал нормой публичной речи. Его вкус стал мерилom кассового успеха. Его представления о свободе стали фундаментом политического словаря. Это случилось не вчера и не случайно: великий немецкий философ, которого в наше время стало неловко цитировать в компании, назвал это «торжеством последнего человека» — существа, изобретшего счастье и неспособного ни на что, кроме моргания. А французские мыслители добавили, что культурная машина специально производит именно таких потребителей, так как они выгодны, управляемы, предсказуемы.

Но у хамства есть одно фундаментальное ограничение, которое ты должен знать и помнить: оно не способно создать ничего подлинного. Купить — да. Скопировать — да. Потребить, профинансировать, тиражировать, уничтожить — да. Но создать из ничего, из требования к себе, из боли и любви — нет. Это не его природа. И это твоё единственное преимущество, и оно не экономическое, не социальное, а сущностное.

Помню, как читал в средневековой рукописи об одном монахе-художнике: он расписывал свод часовни, куда никто не мог добраться, — слишком высоко, леса слишком шаткие, свечи едва светили. Один из учеников спросил его: зачем стараться так тщательно там, где никто не увидит? Монах ответил: «Бог видит». Я не предлагаю тебе стать монахом. Но эта логика — работать так, будто это важно, даже когда никто не смотрит, — и есть прямая противоположность хамству. Хам работает на публику. Аристократ Духа работает на истину.

Мне иногда говорят: «Но ведь хам победил. Значит, он прав? История на его стороне». Это ошибка, мой мальчик, и ошибка старая. История — плохой арбитр. Она всегда на стороне победителя, ровно до тех пор, пока он не проигрывает. Рим тоже казался вечным. Советский человек тоже казался окончательным типом. Хамство торжествует, но это не аргумент в его пользу — это лишь диагноз нашего времени.

Когда я размышляю о свободе, то прихожу к тому, что свобода хама — это свобода камня, скатившегося с горы. Он падает беспрепятственно, никаких цепей, полная воля, но взлететь не может. Истинная свобода — иная. Это свобода человека, который настолько научился желать правильного, что закон больше не ощущается как принуждение. Свобода сына, а не раба. Хам путает эти два вида свободы всегда: он думает, что отсутствие требований к себе — и есть свобода. На самом деле это тюрьма, только без решёток, которые было бы видно.

Что же делать? Не революцию, ибо она производит новых хамов из старых обиженных. Не жалобу, ибо она превращает тебя в нытика с хорошим вкусом, что немногим лучше. Не презрение, ибо оно отравляет того, кто презирает, а не того, кого презирают.

Единственный ответ, который я знаю, — это то, что ты делаешь сам: с собой, со своим умом, со своей совестью, со своим вкусом. Каждый раз, когда ты выбираешь трудное перед лёгким, подлинное перед суррогатным, требование к себе перед самодовольством, — ты отвечаешь на хамство. Не публично, не громко. Но по существу.

Образ Божий в тебе — а я верю, что он в тебе есть, как верю, что он есть в каждом человеке, — не уничтожается хамством окружающего мира. Он закрывается. Это принципиально разные вещи. Закрытое можно открыть. Засыпанные угли можно разжечь.

Ты живёшь в мире, принадлежащем хаму. Это не трагедия, это условие задачи. Твоя задача — остаться собой.

Твой отец



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Анатомия Homo Vulgaris. Кто он таков?

ПИСЬМО II

О духовном хамстве, и почему это не грубость в трамвае.

О мещанстве как метафизике, об опасности комфорта и о том, где искать хама на самом деле.

Флоренция, январь.

Мой дорогой мальчик,

Позавчера я провёл вечер с человеком, которого давно знаю и давно уважаю — насколько это слово вообще применимо к нашим светским знакомствам. Он образован, говорит на трёх языках, жил в Японии и в Перу, читал Фёдора Достоевского в оригинале и может со знанием дела рассуждать об Ингмаре Бергмане. Ужин был безупречен: правильное вино, правильная пауза перед тем, как заговорить, правильная интонация — та особая смесь иронии и сочувствия, которая сигнализирует: «Я человек тонкий, с меня взятки гладки».

И вот под конец вечера зашёл разговор о выборе, о том, как один общий знакомый бросил хорошую должность ради дела, в которое верил, и теперь живёт значительно скромнее. Мой собеседник помолчал, покрутил бокал и сказал с той самой улыбкой:

«Ну, романтика... Это, конечно, красиво. Но в какой-то момент нужно повзрослеть».

Я пил вино и думал: вот он. Не в трамвае, не с семечками, не в ежедневном спортивном костюме, не с грубым словом. В льняном пиджаке, с Бергманом в голове. Но хам. Самый чистый. Самый законченный.

Тебе нужно раз и навсегда разделить в голове две вещи, которые русский язык по недоразумению называет одним словом.

Есть грубость — нарушение внешних норм поведения. Это неприятно, иногда опасно, но это вопрос воспитания, а не природы. Грубиян может измениться. Он не закрыл в себе ничего важного — он просто не выучил правил.

А есть хамство духовное. Это другое существо, и с грубостью оно не имеет почти ничего общего.

Духовный хам может быть исключительно вежлив. Он может знать, с какой стороны подходить к рыбному ножу и как обращаться к епископу. Его нельзя застать за чем-то постыдным — он никогда не делает ничего постыдного. Всё, что он делает, разумно, уместно и, как правило, успешно. Именно поэтому он так опасен: снаружи его не отличить.

Тогда что же делает его хамом?

Один русский философ — из тех, кого революция выслала на пароходе из страны, потому что он был неудобен новому режиму, — дал ответ, который я считаю самым точным из всех, что слышал. Он говорил, что есть особый тип человека, которого называл мещанином и немедленно оговаривался: не в социологическом смысле, не о жителе мещанского сословия. Мещанин как метафизический тип. Его определяющая черта — самодостаточность без вертикали.

Он живёт хорошо, правильно, без грубых ошибок. У него есть семья, репутация, возможно, даже вкус. Ему не нужно ничего, что находится выше него. Вернее, он никогда не испытывал этой нужды и не понимает, о чём речь, когда ты о ней говоришь.

Безопасность вместо судьбы. Комфорт вместо свободы. Отсутствие беспокойства вместо поиска.

Это и есть духовное хамство. Не порок, а упразднение самой возможности вертикали.

Вернёмся к библейскому образу.

Хам — сын Ноя. Он не убивал отца. Не предавал его врагам. Не отрицал его. Он просто увидел наготу — уязвимость, слабость, человечность — и засмеялся. Пошёл, рассказал братьям. Не из злобы, а из той особой лёгкости, с которой люди без внутренней формы относятся к тому, что их превышает: со смешком.

Именно этот смешок — «Ну, романтика, конечно» — я и услышал позавчера от человека в льняном пиджаке.

Обрати внимание: Сим и Иафет, братья Хама, поступили иначе. Они взяли одежду и пошли задом наперёд, чтобы не видеть, и прикрыли отца. Не потому, что в Законе был прописан ритуал. Просто потому, что в них было что-то, что не позволяло смотреть на священное без благоговения.

Вот весь нравственный закон, весь кодекс аристократии Духа, уместённый в одном жесте.

Духовный хам — это человек, в котором это «что-то» отсутствует.

Не уничтожено. Отсутствует.

Или, вернее: присутствует, но закрыто столь плотным слоем привычек, удобств и «взрослых решений», что сам он уже не чувствует его присутствия.

Именно поэтому я всегда говорю: образ Божий в человеке не уничтожается. Он закрывается. Это принципиально разные вещи.

Злодей иногда ближе к спасению, чем мещанин: злодей хотя бы знает, что делает что-то не то. Мещанин не знает ничего. Ему незачем знать — ему хорошо.

Богослов сказал бы, что грех Хама — это не нарушение заповеди, а нечто более глубокое: отказ от призвания.

Человек создан, чтобы возрастать в благодати, в духе, в любви, в познании, чтобы двигаться к тому, что больше него.

Аристократия Духа — это не элитарная привилегия, а именно это движение: открытость тому, что выше, готовность быть изменённым, принять требование.

Духовный хам — это тот, кто это движение остановил. Он сказал себе, не вслух, не осознанно, а всей логикой своей жизни:

«Здесь достаточно хорошо. Дальше незачем».

Это, кстати, и есть объяснение того, почему хам так раздражает людей с вертикалью, и так их не понимает.

Для человека, которому важна высота, само существование того, кому она безразлична, есть немой вызов.

А для хама непонятно, о чём вообще разговор. Он смотрит на твоё беспокойство и думает:

«Повзрослей».

Теперь самое неудобное.

Духовное хамство живёт не только в других людях. Оно живёт в тебе, в тех частях тебя, которые предпочитают покой беспокойству, привычку — риску, понятное — непонятному.

Каждый раз, когда ты не читаешь книгу потому, что «сейчас не время», не задаёшь вопрос потому, что «это неловко», не признаёшь ошибку потому, что «зачем поднимать тему», — в тебе говорит мещанин. Он вежлив, он разумен, он заботится о твоём комфорте.

Он твой главный враг.

Я не говорю тебе жить в непрерывной тревоге и отказаться от покоя.

Покой — не хамство; бывает покой высокий, достигнутый, заслуженный, и он же и есть одно из имён благодати.

Я говорю о другом: о той тихой капитуляции, которая происходит не в момент важного выбора (важных выборов мало), а в ежедневных мелочах.

В том, как ты реагируешь на чужую уязвимость: смехом или прикрытием.

В том, как смотришь на то, что выше тебя: с насмешкой или с благоговением.

В том, как относишься к требованию, которое тебе предъявляет жизнь: как к помехе или как к смыслу.

Именно здесь и есть разница между Хамом и его братьями.

Не в поступке. Не в правилах.

В том, что произошло внутри, когда они увидели одно и то же.

Твой отец

ПИСЬМО III

***O ressentiment, или как обида становится
мировоззрением.***

О переименовании как стратегии выживания, о человеке, который не хочет подняться сам, но требует, чтобы не поднимался никто.

Берлин, март.

Мой дорогой мальчик,

На прошлой неделе один мой знакомый получил хорошее назначение. Заслуженное, давно ожидаемое, вполне справедливое. Я порадовался за него искренне. Но меня занимало другое: как реагировали остальные.

Один сказал:

— У него связи, всё понятно.

Другой, узнав подробности, заметил задумчиво:

— Интересно, что он при этом пообещал.

Третий произнёс с особой интонацией, той, что умеет быть одновременно нейтральной и ядовитой:

— Ну что ж, кому-то везёт.

Четвёртый промолчал, но как-то так, что молчание было слышно на другом конце стола.

Ни один из них не сказал ничего прямо оскорбительного. Ни один не стал бы отрицать, что желает приятелю добра. Все четверо, если спросить, искренне считали себя людьми справедливыми.

Вот это и называется ressentiment. Слово французское. Тот немецкий философ, которого я уже цитировал, взял его намеренно, чтобы показать: у этого явления нет достойного имени ни в одном языке, потому что ни один язык не хочет называть вещь своим именем. По-русски ближе всего «злопамятство», но

это не то: злопамятный хотя бы признаёт, что ему сделали плохо. Ressentiment — это отравление, которое притворяется справедливостью.

Позволь объяснить точно, потому что это одно из самых важных различий, которые тебе нужно держать в голове.

Есть гнев, и он бывает честным. Человека несправедливо обидели, он злится, требует восстановить правду. Гнев горит, выгорает, проходит. Он направлен на конкретное — на поступок, на ситуацию. Когда справедливость восстановлена или когда человек смирился, гнев уходит. Он не меняет картину мира, он реагирует на конкретный факт.

Есть зависть, и она тоже честнее, чем кажется. Завистник по меньшей мере признаёт: другой имеет нечто, чего у меня нет, и я этого хочу. В зависти есть хотя бы молчаливое признание ценности того, чему завидуют. Это мучительно, но это честно.

Ressentiment — другое. Это состояние человека, который не может подняться до того, что его превышает, и постепенно, незаметно для себя самого, переписывает карту мира так, чтобы высоты на ней не было вовсе. Он не говорит:

— Я хочу того, что есть у него, и завидую.

Он говорит:

— Этого вообще не существует, или существует лишь как результат нечестности, привилегии, слепой удачи.

Он не поднимается сам, он упраздняет саму возможность подъёма. И называет это ясностью взгляда. Трезвостью. Взрослостью.

Тот философ, который разработал это понятие с хирургической точностью (и которого потом так неловко присвоили те, кому он был бы глубоко противен), назвал главную функцию ressentiment — «переименованием».

Слабость переименовывается в скромность.

Неспособность — в принципиальность.

Зависть — в заботу о справедливости.

Страх требования — в мудрость.

Посмотри на четырёх моих знакомых: каждый из них переименовал собственную уязвлённость в нечто приличное.

«У него связи» — это не зависть, это трезвый взгляд на реальность.

«Кому-то везёт» — это не горечь, это философское спокойствие.

Обрати внимание на один признак, который не лжёт: человек с *ressentiment* не хочет стать лучше сам. Это принципиально. Ему не нужно, чтобы ему стало хорошо, ему нужно, чтобы другому стало хуже. Или чтобы никому не было позволено быть лучше, потому что само существование «лучше» невыносимо.

Это и есть то, что тот же философ называл восстанием против иерархии как таковой:

не «дай мне подняться», а «запрети подниматься».

Не «сделай меня свободным», а «докажи, что свободы не существует».

В политике это выглядит как эгалитаризм, но я скажу тебе об этом позже, в отдельном письме, потому что тема большая. Сейчас мне важнее другое: как это выглядит в повседневной жизни, рядом с тобой, в тебе самом.

Ressentiment — это не темперамент злодея. Это тихое, хроническое состояние, которое формируется годами, незаметно, из маленьких капитуляций. Человек однажды столкнулся с тем, что требует от него роста, и отступил. Потом ещё раз. Потом ещё. Постепенно он перестаёт воспринимать это как отступление и начинает воспринимать как позицию. Требование к себе становится в его картине мира «позёрством». Стремление вверх — «нарциссизмом». Те, кто не остановился, — «везунчиками» или «людьми с нужными знакомствами». Так удобнее. Так не нужно ничего менять в себе.

Я хочу, чтобы ты заметил одну важную вещь в этой конструкции: человек с *ressentiment* живёт в постоянном, хотя и тщательно скрытом, контакте с тем, что его превышает. Он не равнодушен к высоте, в отличие от мещанина из прошлого письма. Он её видит. Он о ней знает. Именно поэтому она его так мучает.

Мещанин просто не смотрит вверх. Он доволен.

Человек с *ressentiment* смотрит вверх постоянно и ненавидит то, что видит, потому что видеть это и не двигаться к этому невыносимо. Решение: объявить, что там ничего нет. Или что туда попадают нечестно.

Это делает *ressentiment* в каком-то смысле трагичнее мещанства. В нём есть что-то от задушенного призвания. Был порыв, и он был задушен. Был вопрос, и он был запрещён. Что именно задушило и запретило — воспитание, страх, среда, собственная трусость — это уже другой разговор. Но след остался — в виде этой хронической раздражённости, этого особого прищура, с которым смотрят на чужой успех.

Именно поэтому с таким человеком так тяжело: в нём есть остаток чего-то живого, и именно этот остаток превратился в яд.

Как с этим работать в себе? Один тест, простой и безжалостный: когда ты видишь, что кто-то другой — твой ровесник, твой знакомый, твой коллега — сделал что-то значительное или поднялся на ступеньку выше, что ты чувствуешь в первую секунду, до того как успел подумать?

Радость?

Любопытство?

Желание понять, как он это сделал?

Или что-то сжимается, и ты начинаешь искать объяснение, которое уберёт неудобное?

Первая секунда не лжёт. Именно там живёт то, над чем нужно работать.

Аристократ Духа — тот, кто радуется чужому восхождению, потому что восхождение само по себе ему дорого. Он не сравнивает чужую ступень со своей. Он радуется, что ступень существует. Это не благородная поза и не христианское смирение в его расхожем понимании. Это просто признак того, что внутри есть живой огонь, а не зола.

Человек с *ressentiment* боится этого огня в других именно потому, что он напоминает ему о том, что когда-то было в нём самом.

Твой отец

ПИСЬМО IV

О мещанском счастье, и почему оно опаснее порока

О последнем человеке, об исчезновении тревоги как духовном симптоме и о том, почему блудный сын был ближе к отцу, чем его добродетельный брат.

Вена, воскресенье

В прошлое воскресенье я был в гостях у старого приятеля. Он живёт в хорошем доме в пригороде — не роскошном, но правильном: газон подстрижен, дети ухожены, жена довольна, собака спокойна. На обеде было вкусно. За столом велась непринуждённая беседа: говорили об искусстве и немного о политике — в меру, дабы не испортить настроение — и о том, куда лучше отправиться этим летом.

После обеда мы сидели в саду, и я спросил его, просто так, без умысла, что он сейчас читает. Он немного смутился, улыбнулся той особой улыбкой, в которой смущение уже наполовину забыло о себе, и сказал:

— Честно говоря, почти ничего. Времени нет, дети, работа... Да и зачем себя насиловать, правда?

Я кивнул. Мы ещё немного поговорили о лете. Потом я поехал обратно к себе и долго думал не о том, что он не читает, — это дело его. Я думал о той улыбке. В ней не было ни сожаления, ни вызова. Была полная, окончательная, ни в чём не нуждающаяся умиротворённость. Человек пришёл к берегу и лёг на песок. Прибой ему не мешает. Горизонт не беспокоит. Всё хорошо.

Вот о чём это письмо. Не о том, что плохо не читать книги. А о том, что стоит за этой умиротворённостью и почему она опаснее любого порока, который ты можешь назвать.

Позволь начать с парадокса, который поначалу звучит кощунственно, но чем дольше ты о нём думаешь, тем точнее он кажется.

Порочный человек — пьяница, распутник, лжец, игрок — находится в отношении с нравственным законом. Он нарушает его, он с ним борется, он от

него бежит, он его ненавидит, но он его знает. Закон существует для него как реальность, пусть и враждебная. Это значит, что в нём есть хотя бы это: ощущение, что есть нечто, с чем нужно что-то делать.

Порок — это падение. А падение предполагает, что есть откуда падать. Что существует высота.

Мещанское счастье не падает. Оно никогда не поднималось и не чувствует в этом никакой потери. Для него нет закона, который нарушать, нет высоты, с которой падать, нет требования, которому не соответствовать. Не потому что оно их отвергло — это был бы хотя бы осознанный выбор. А потому что они для него попросту не существуют как категории. Мещанин не грешник. Он человек, для которого измерение греха и праведности в принципе закрыто. Не заперто — закрыто. Он не ломится в дверь и не стучит в неё. Он просто не знает, что она есть.

Именно поэтому с пороком можно бороться, и история знает таких людей, которые прошли через самое чёрное и вышли с другой стороны преображёнными. С мещанским счастьем бороться почти невозможно: оно самодостаточно, оно не нуждается ни в чём, что могло бы его поколебать. Оно защищено не стенами, а отсутствием потребности в том, что за стенами.

Помнишь притчу о блудном сыне? Её обычно читают как историю о прощении, и это правда, но не вся правда. Есть в ней ещё один персонаж, которого часто упускают, потому что он неудобен: старший брат. Тот, кто никуда не уходил. Кто всегда был рядом. Кто не тратил наследство на распутство и не валялся в свиных корытах. Примерный. Трудлюбивый. Соблюдающий. И вот отец устраивает пир для вернувшегося младшего, а старший стоит снаружи и отказывается войти, потому что это «несправедливо».

«Вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего...» — вот его реплика. Счёт безупречен. Послужной список чист. И именно в этом вся трагедия.

Младший сын был распутником и мотом, но он вспомнил отца. Он вспомнил, что есть куда возвращаться. Это значит, что связь, пусть и разорванная, пусть и

заваленная грязью, не умерла. Старший сын никуда не уходил, и именно поэтому никогда по-настоящему не приходил. Он был рядом всегда, но это «рядом» было географическим, а не сердечным. Он служил, но как наёмник, а не как сын. И когда отец говорит ему: «...всё моё — твоё», старший брат не слышит в этом ничего, кроме несправедливости по отношению к своей безупречной бухгалтерии.

Вот портрет мещанского счастья в его самом чистом виде: человек, который всё делает правильно и именно поэтому ничего не чувствует.

Благополучие без любви.

Соответствие без призвания.

Присутствие без встречи.

Немецкий философ, о котором я упоминал в прошлом письме, нарисовал образ, который я считаю одним из самых точных пророчеств о нашем времени. Он назвал его «последним человеком» и вложил в его уста фразу, которая звучит как эпитафия целой цивилизации:

— Мы изобрели счастье, — и моргает.

Последний человек не страдает. Не стремится. Не создаёт. Он тёпел, здоров, умеренно доволен. Он живёт долго, потому что не тратит себя ни на что. Ему одинаково смешны и тот, кто хочет управлять, и тот, кто хочет подчиняться. Ему смешон герой — «это опасно для здоровья». Ему смешон святой — «это чрезмерно». Влюблённый вызывает у него снисхождение. Художник, умирающий за своё дело, — непонимание. Он изобрёл счастье — маленькое, тёплое, безопасное, без высоты и без глубины. И моргает.

Это не карикатура и не преувеличение. Ты это видишь каждый день, просто оно выглядит нормально, потому что стало нормой. Посмотри, как говорят о жизненном успехе: «нашёл баланс», «не напрягается излишне», «умеет жить», «знает, как расслабиться». Это словарь последнего человека, ставший словарём добродетели.

Беспокойство стало «патологией».

Требование к себе — «самоистязанием».

Неудовлетворённость — «тревожным расстройством».

Тоска по высокому — «инфантилизмом», «неумением принять реальность».

Психология сделала для мещанского счастья то, что прежде могло сделать только богословие: объявила его нормой и дала ему язык самооправдания.

Я хочу сказать тебе нечто, что противоречит всему, чему тебя учит наша эпоха: беспокойство — это признак жизни, а не болезнь.

Тоска по тому, чего нет, по тому, что выше, по тому, чего ты ещё не достиг, — это не симптом, который нужно лечить. Это дыхание духа.

Святой Августин — один из немногих людей в истории, понявших механику человеческой души с точностью, которой позавидовал бы любой психолог, — написал в начале своей исповеди фразу, которую я перечитываю каждый раз, когда мне угрожает мещанское счастье:

«Ты создал нас для Себя — и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе».

Заметь: не «пока не найдёт удовольствие», не «пока не достигнет баланса», не «пока не оптимизирует распорядок дня».

Покой — не в комфорте и не в умеренности. Он будет в другом месте. И пока ты не там, беспокойство твоё есть не болезнь, а навигатор.

Мещанское счастье — это счастье человека, отключившего навигатор и решившего, что раз машина едет без проблем, значит, всё в порядке.

Она едет.

Но куда?

Теперь хочу сказать о том, что делает это счастье особенно опасным для тех, кто рядом с ним.

Порок разрушает прежде всего самого порочного или тех, кого он непосредственно задевает. Мещанское счастье действует иначе: оно излучает. Оно создаёт вокруг себя особый климат, атмосферу, в которой все порывы постепенно гасятся, все вопросы теряют срочность, все тревоги кажутся преувеличением.

Человек мещанского счастья никого не разрушает намеренно. Он просто существует так, что рядом с ним существовать иначе становится странным. Он — живое доказательство того, что можно жить без высоты, и жить вполне сносно.

Это заражает.

Именно поэтому мне было не по себе в том саду. Не потому что мой приятель плохой человек. Он хороший человек. Именно поэтому мне было не по себе. Хороший человек и совершенно спокойный. Ничто не тревожит. Всё устроено. Горизонт закрыт не стеной, а туманом, таким привычным, что он давно перестал отличаться от неба.

Я скажу тебе, как выглядит это счастье изнутри — насколько я могу это знать.

Оно не ощущается как потеря. Оно ощущается как усталость, которая прошла. Как решённый вопрос. Как выдох после долгого напряжения.

Человек однажды перестал задавать вопросы и почувствовал облегчение. Это облегчение он принял за ответ. С тех пор вопросы кажутся ему признаком незрелости, ведь он уже пережил эту стадию, уже через неё прошёл, уже выдохнул. Он смотрит на твоё беспокойство с тем особым снисхождением, которое хуже презрения:

— Ты ещё молодой, это пройдёт.

Есть особая порода людей, которые говорят «это пройдёт» обо всём, что требует усилия: о любви, о вере, о призвании, о творчестве. Не из злобы. Из искреннего сочувствия. Им и правда кажется, что они делятся опытом. Они

пережили беспокойство и потому знают, что оно пройдёт. Им в голову не приходит, что они пережили его неправильно: не пройдя сквозь него, а обходя. И в этом — последняя степень опасности мещанского счастья: оно считает себя мудростью. Оно учит. Оно передаётся из поколения в поколение с лучшими намерениями. Родители, которые хотят уберечь детей от страдания, передают им в наследство анестезию.

Что же делать?

Прежде всего — не бояться беспокойства. Оно — дыхание живой души.

Я не говорю: ищи страдания ради страдания. Это другая крайность, столь же бессмысленная. Я говорю: если ты чувствуешь тревогу о чём-то важном — о том, кем ты становишься, о том, что ты делаешь или не делаешь со своей жизнью, о том, насколько ты честен с собой, — не торопись эту тревогу заглушить. Не тянись сразу за тем, что её уберёт. Посиди с ней. Спроси её, о чём она. Очень часто она знает что-то, что ты предпочитаешь не знать.

Второе: следи за тем, что ты называешь отдыхом.

Отдых — это восстановление для чего-то. Когда отдых превращается в цель сам по себе, в постоянное состояние, в идеал, — это уже не отдых. Это капитуляция, одетая в пижаму.

Третье, и это самое трудное: научись различать покой высокий и покой низкий.

Покой высокий — это то, о чём писал Святой Августин: не отсутствие тревоги, а присутствие чего-то настолько большего, что тревога просто перестаёт иметь то же значение. Это покой человека, который нашёл. А не того, кто прекратил искать. В нём есть тишина, но живая, внимательная, готовая.

Покой низкий — это отсутствие беспокойства, достигнутое ценой отсутствия вопросов. Анестезия.

Снаружи они могут выглядеть похоже. Внутри это противоположные состояния, как живая вода и стоячая: обе тихи, но одна течёт, а другая тухнет.

Мой приятель в саду был счастлив. Я не сомневаюсь в этом. Я сомневаюсь в другом: знал ли он хотя бы однажды то счастье, которое больше его счастья? Помнит ли он ещё, что такое бывает? Или улыбка, с которой он сказал «зачем себя насиловать», стала уже окончательным ответом на все вопросы, которые он когда-то задавал?

Блудный сын, возвращаясь домой в рубище, был ближе к отцу, чем старший брат, стоящий снаружи с безупречной репутацией и закрытым сердцем. Не потому что грех лучше добродетели. А потому что он помнил, что есть куда возвращаться. В нём осталась живая рана, и именно эта рана была дверью.

Не теряй этой памяти. Не заделывай эту рану слишком быстро. Она дороже любого комфорта.

Твой отец

ПИСЬМО V

О человеке без формы.

О внутреннем стержне и его отсутствии, об агрессивном конформизме, как маске пустоты, о том, что значит знать, кем ты являешься и что за этим стоит.

Прага, октябрь

Мой дорогой мальчик,

Я хочу рассказать тебе об одном человеке, которого знаю уже много лет — достаточно, чтобы наблюдать несколько полных циклов его преобразований.

Когда мы познакомились, он был убеждённым христианином консервативного толка: ходил на воскресные службы, говорил о традиции, о корнях, о необходимости иерархии в семье и обществе. Говорил искренне, и я не сомневался.

Потом что-то случилось — я не знаю точно что: возможно, развод, или смена среды, или несколько неудачных разговоров с людьми из церкви, — и он стал убеждённым агностиком с привкусом антиклерикализма. Это тоже было искренне.

Потом пришло увлечение йогой и «духовными практиками» — без религии, но с медитациями и ретритами.

Потом, когда новая жена оказалась из левой активистской среды, он стал говорить о структурном неравенстве и социальной справедливости с тем же огнём, с которым прежде говорил о необходимости традиции.

Сейчас, насколько я понимаю, он увлечён криптовалютами и анархизмом.

Каждое из этих превращений было полным. Он не лицемерил. Он не притворялся. В каждом новом состоянии он был так же убеждён и так же последователен, как в предыдущем.

Именно это меня и пугало — не непоследовательность, а полнота каждой версии. Как будто предыдущий человек не менялся, а стирался и переписывался заново. Без остатка.

Именно об этом — о человеке без остатка — я хочу написать тебе сегодня.

Есть слово, которое в старых системах мысли обозначало нечто сложное, и которое я буду использовать в переносном, метафизическом смысле: форма.

Не внешний облик, а внутренняя структура, которая делает вещь собой, а не чем-то другим.

Кувшин имеет форму, которая позволяет ему держать воду.

Дерево имеет форму, которая определяет, как оно растёт.

Человек имеет — или не имеет — внутреннюю форму, которая определяет, кем он является вне зависимости от того, в каком контексте находится.

Внутренняя форма — это не жёсткость и не негибкость. Человек с формой может меняться, учиться, пересматривать взгляды, но в этом изменении есть узнаваемый субъект, который меняется. Есть «он» до и «он» после — и между ними есть нить.

Это и называется характером в самом глубоком смысле слова.

Человек без формы тоже меняется, но в его изменениях нет субъекта. Меняется не он, меняется контейнер, в который заливают новое содержание.

Откуда берётся внутренняя форма?

Это вопрос, на который у меня есть несколько ответов — и ни один из них не является лёгким.

Первый ответ: форма строится через решения, которые что-то стоили.

Не через декларации — через решения, в которых ты от чего-то отказался.

Ты отказался от удобной лжи, потому что солгать было бы проще.

Ты отказался от выгодного предложения, потому что оно требовало от тебя чего-то, что ты не готов был продать.

Ты остался в ситуации, из которой можно было выйти, потому что твоё присутствие в ней имело значение.

Каждый такой выбор оставляет в тебе след — не моральный сертификат, а именно след, форму. Как мышца, которую упражняли. Как дерево, которое выросло вопреки ветру и именно поэтому стоит прямо.

Второй ответ: форма даётся через принадлежность к чему-то, что больше тебя.

К традиции, к семье в глубоком смысле, к вере, к призванию, к делу, которое ты считаешь своим не потому, что оно выгодно, а потому что оно твоё.

Человек, принадлежащий к чему-то подлинному, знает, кем он является, потому что знает, чьим он является.

Это звучит почти богословски, и не случайно: именно в этом смысле я пишу об аристократии Духа как о сыновстве, а не о достижении. Сын знает, кто он, но не потому, что заработал это знание, а потому, что оно дано ему в отношении.

Третий ответ — самый неудобный: форма даётся через то, чего ты не делаешь.

Через «нет», которое ты говоришь снова и снова, даже когда за «да» платили бы больше.

Через вещи, которые ты не продаёшь, не высмеиваешь, не предаёшь ради аплодисментов.

У человека с формой есть то, что я называю необращаемым ядром: то, что остаётся собой при любом давлении.

Это не фанатизм. Фанатик как раз и есть человек без формы, у которого одна идея заняла всё пространство внутри, потому что больше ничего не было.

Необращаемое ядро — не идея. Это то, что ты есть.

Теперь о том, как выглядит его отсутствие.

Человек без внутренней формы не ощущается пустым, по крайней мере снаружи. Он часто производит впечатление очень живого, очень адаптивного, очень разностороннего. Он умеет быть своим в любой компании. Он легко перенимает язык собеседника, его интересы, его ценности, и делает это не из лицемерия, а потому что заполняется тем, что рядом, как сосуд заполняется жидкостью, которую в него льют.

В этом есть что-то поверхностно привлекательное: с ним легко, он не спорит, он не создаёт напряжения, он всегда немного отражает тебя самого, а людям обычно нравится смотреть в зеркало.

Но проводи с ним время наедине, или понаблюдай за ним в нескольких разных компаниях подряд, и ты заметишь нечто тревожное.

В разных контекстах это разные люди.

Не просто разные стороны одного человека — это бывает у всех, и это нормально.

Именно разные люди.

С разными убеждениями, разными ценностями, разным юмором, разным отношением к одним и тем же вещам.

А если застать его в одиночестве, в момент, когда некого отражать, — в нём обнаруживается что-то похожее на тихую панику. Он немедленно тянется к телефону, к экрану, к звуку, к любому внешнему наполнению. Тишина и одиночество для него невыносимы, но не потому, что он интроверт или экстраверт, а потому, что наедине с собой он не находит там себя. Там пусто.

Одиночество — главный тест на наличие формы.

Не уединение как привилегия и отдых, а подлинное одиночество: когда нет никого, чьё мнение нужно учитывать, чьего одобрения нужно добиваться, чьи ценности можно принять во временное пользование.

Что остаётся?

Если что-то остаётся — у тебя есть форма.

Если ничего — ты узнал о себе нечто важное, и лучше узнать это сейчас, чем через двадцать лет.

Теперь о самом парадоксальном проявлении человека без формы — о том, которое обманывает почти всегда.

Можно было бы ожидать, что человек без внутреннего стержня будет беспечным нарушителем правил, анархистом, человеком без принципов. Иногда — да. Но куда чаще происходит обратное.

Человек без формы становится яростным исполнителем норм. Он читит правила с тем особым рвением, которое выдаёт человека, не имеющего ничего, кроме правил. Он следит за тем, кто как одет, кто как говорит, кто нарушил неписаный кодекс данной группы. Он первым указывает на несоответствие. Он самый громкий защитник конформизма, и именно потому, что конформизм для него не ограничение, а опора.

Правила заменяют ему то, что у людей с формой находится внутри.

Это и называется агрессивным конформизмом.

Когда нет внутреннего стержня, то его заменяет внешний каркас. И чем тоньше стенки сосуда, тем важнее, чтобы в него не ударяли: любое нарушение нормы воспринимается как сущностная угроза, потому что под угрозой не просто правило, а под угрозой единственная конструкция, которая удерживает пустоту.

Здесь я хочу ввести ещё одно различие — между формой и заостенелостью, потому что их часто путают, и эта путаница дорого стоит.

Заостеневший человек — это человек, у которого одна форма, и она не гнётся. Он знает несколько истин и держится за них так крепко, что они превращаются в клетку. Он не развивается. Он сжимается. С годами его мир становится всё уже, защита — всё толще, круг допустимого — всё меньше.

Это не то, о чём я говорю.

Человек с подлинной формой — гибок, потому что укоренён.

Дерево с глубокими корнями гнётся под бурей и не ломается.

Дерево без корней стоит прямо в тихую погоду и падает при первом ветре.

Подлинная форма позволяет меняться, не теряя себя. Она позволяет ошибаться и признавать ошибки, не рассыпаясь. Она позволяет встречать людей, которые думают иначе, и не нуждаться в том, чтобы немедленно стать ими или уничтожить их.

Мой знакомый, о котором я писал в начале, прошёл через христианство, агностицизм, духовный поиск, левый активизм и анархизм, и ни один из этих опытов ничего в нём не оставил, потому что он ни разу не позволил ни одному из них обойтись с ним всерьёз.

Он брал из каждой традиции язык и общество, но не требование.

А именно требование и формирует.

Именно оно и есть то, что люди называют «насилием над собой» и что на самом деле является единственным способом стать собой.

Подлинная традиция — будь то религиозная, художественная, интеллектуальная или ремесленная — всегда предъявляет к тебе требование.

Она говорит:

— Вот что значит делать это хорошо.

— Вот что значит жить этим всерьёз.

— Вот цена.

Её нельзя пройти, взяв только приятное и оставив трудное, потому что тогда ты берёшь не традицию, а её видимость, декорацию.

Человек, который берёт из религии чувство общности, но не аскезу;

из философии — словарь, но не дисциплину мысли;

из искусства — эстетику, но не требование к собственной жизни;

из дружбы — поддержку, но не честность, которая иногда ранит, —

такой человек проходит сквозь всё и остаётся нетронутым.

Гладким.

Без формы.

Теперь о том, что, на мой взгляд, стоит за всем этим и что связывает эту тему с аристократией Духа.

Когда я говорю об аристократии Духа — о подлинном благородстве как сыновстве, а не достижении, — то я говорю о том, что форму человеку даёт не собственное усилие только, а встреча с Тем, Кто выше его.

Это звучит богословски и является таковым. Но это не значит, что об этом нельзя говорить в небогословских терминах.

Скажу иначе: форма приходит сверху.

Это значит: она приходит из чего-то, что превышает тебя, что не является продуктом твоих желаний и не меняется вместе с твоими настроениями. Она приходит из встречи с тем, что больше тебя, и что обращается с тобой достаточно серьёзно, чтобы что-то от тебя потребовать.

Именно поэтому люди, прошедшие через подлинный религиозный опыт, через настоящую любовь, через серьёзное горе, через ответственность за жизнь другого человека, — как правило, приобретают форму, которой не было прежде.

Не потому, что они стали лучше в моральном смысле.

А потому, что с ними произошло что-то, что их оформило. Что-то вошло в них и оставило след, который уже нельзя стереть, не стерев часть себя.

Это и есть то, о чём говорит христианская традиция как об «образе Божиим».

Не метафора, не комплимент — существенное утверждение.

В тебя при рождении вложена форма. Не как данность, которую нужно только сохранить, а как возможность, которую нужно реализовать через свободный ответ.

Хам, в самом глубоком смысле, — это человек, который эту форму заглушил.

Не уничтожил — заглушил, засыпал, заложил слоями удобства, переименований и бесконечной адаптации.

Как не стать им?

Я дам тебе несколько конкретных ориентиров. Не правил, а вопросов, которые стоит задавать себе регулярно.

Первый: есть ли у тебя что-то, чего ты не сделаешь вне зависимости от вознаграждения? Не потому, что боишься последствий, а потому, что это противоречит тому, кем ты являешься?

Если ответ «нет» или «я не знаю» — это важная информация о состоянии твоей формы.

Второй: меняются ли твои убеждения под давлением аргументов или под давлением социального контекста?

Это принципиальное различие.

Первое — рост.

Второе — отсутствие формы.

Ты можешь изменить мнение о чём угодно, но стоит знать, почему ты его меняешь: потому что тебя убедили или потому, что иначе было неловко.

Третий: можешь ли ты провести вечер в полном одиночестве? Без телефона, без экрана, без звука, и при этом не ощущать тревоги, а ощущать своё собственное присутствие?

Если нет, то это не значит, что ты плохой человек. Это значит, что тебе есть над чем работать.

Четвёртый: есть ли в твоей жизни что-то, чему ты принадлежишь, но не потому, что это выгодно, модно или социально одобряемо, а потому, что это твоё, и ты это знаешь независимо от чужого мнения?

Традиция, призвание, отношение, вера — что угодно, но что-то, что формирует тебя, а не только использует.

Мой знакомый, вероятно, снова сменит мировоззрение через несколько лет.

Не из злого умысла.

Просто потому, что нет ничего, что удерживало бы его в любом из них достаточно долго, чтобы оно оставило след.

И я думаю, что ему с этим очень одиноко.

Хотя он, скорее всего, не использует этот термин для того, что чувствует.

Для него это просто называется «новые горизонты».

Человек без формы не знает, что он без формы.

Это и есть главная трудность.

Твой отец

ПИСЬМО VI

О феллах, или как умирают цивилизации и что остаётся.

О диагнозе современному миру, о жизни в руинах чужого величия и о том, чем отличается тот, кто несёт огонь, от того, кто греется у его остатков.

Рим, август

Я пишу тебе из Рима.

Сегодня утром я прошёл мимо Колизея. Не внутрь, просто мимо. Стоял и смотрел минут пятнадцать. Рядом фотографировались туристы, продавали сувениры, проезжали скутеры. Один молодой человек в наушниках сделал селфи на фоне арки, даже не повернув голову в её сторону. Телефон вперёд, арка сзади, лицо крупным планом. И пошёл дальше.

Я не осуждаю его. Но я думал о нём весь день.

Немецкий историк культуры написал в начале XX века книгу, которую тогда восприняли как пессимистический манифест, а я считаю одним из самых честных диагнозов, когда-либо поставленных нашей цивилизации. Он разделил два понятия, которые мы привыкли смешивать: культуру и цивилизацию.

Культура — это живое: она рождается из единого духовного порыва народа, она создаёт форму в архитектуре, в религии, в праве, в философии, в искусстве. И эта форма несёт в себе смысл, понятный тем, кто в неё вживлён.

Цивилизация — это то, что остаётся, когда живой дух иссяк, а технический скелет ещё стоит. Дороги проложены. Акведуки работают. Законы записаны. Колизей стоит. Но того, кто всё это создал, — его больше нет. Есть инфраструктура без духа, который её породил.

Последних людей этого перехода он назвал феллахами — арабским словом, означающим просто «земледелец», «тот, кто обрабатывает землю». Не варвар, пришедший разрушить. Не завоеватель. Просто человек, живущий в руинах чужого величия, использующий то, что осталось, не понимая, что это руины. Для него Колизей — просто большой камень рядом с домом. Для него латинское

право — просто порядок, по которому распределяют воду. Для него мозаики в базиликах — просто украшения. Он ни в чём не виноват. Он просто живёт после.

Вот что меня остановило у арки: молодой человек с наушниками — феллах. Не потому что он груб или необразован. Возможно, он очень образован. Но то, мимо чего он прошёл, для него не существует как послание. Колизей не говорит с ним. Он не слышит его, но не потому что глух, а потому что нет органа, которым это слышат. Этот орган либо не развился, либо атрофировался.

Феллах не тоскует по тому, чего не знал. Это его главная характеристика и главная трагедия. Он не чувствует потери, потому что для него нечего терять: он родился уже после. Великая культура, создавшая то, в руинах чего он живёт, закончилась до него, и он не несёт за это никакой личной ответственности. Он просто человек позднего времени. Человек после.

Но вот что важно: феллахом можно быть посреди живой ещё цивилизации. Феллашество — это не только историческое состояние. Это состояние духа. Человек, который вырос в великой культурной традиции — религиозной, художественной, интеллектуальной, — и живёт в ней, использует её язык, её институты, её праздники, её символы, но не слышит, что они говорят. Он причащается, но не знает, к чему прикасается. Он читает классику, но как учебный текст, не как живое слово, обращённое к нему. Он стоит перед фреской Андрея Рублёва и видит только технику. Он поёт народную песню и думает о сохранении культурного наследия, а не о том, о чём эта песня.

Это и есть феллах среди живых.

Я хочу, чтобы ты понял одну вещь, которую трудно принять: цивилизации умирают не от варваров. Варвары приходят потом, когда уже всё кончено. Цивилизации умирают изнутри, когда люди перестают понимать, что именно они хранят. Когда форма продолжает существовать, но дух, который её породил, уже не живёт в тех, кто её использует. Когда церкви стоят, службы идут, книги издаются, музеи открыты, но всё это уже мавзолей, а не живой организм.

Можно жить в мавзолее очень долго, не замечая, что это мавзолей.

Что здесь делать?

Первое и главное: спрашивать себя, слышишь ли ты то, мимо чего проходишь.

Не «правильно ли я ценю культурное наследие» — это мёртвый вопрос.

А говорит ли это что-то тебе?

Обращается ли к тебе?

Требует ли чего-то от тебя?

Если фреска, текст, здание, ритуал или слово требуют от тебя чего-то, меняют тебя, оставляют след, — значит, ты не феллах перед ними.

Если нет, то значит, ты проходишь мимо, делая селфи.

Второе: помни, что хранение традиции — не музейное дело.

Музей сохраняет форму.

Живая традиция сохраняет огонь.

Форму можно передать архивисту.

Огонь передаётся только от живого к живому. Только от человека, в котором он горит, к человеку, который готов его принять.

Это значит, что для того, чтобы традиция жила, нужны люди, которые несут её не как экспонат, а как нечто, стоящее им жизни.

Не хранители — носители.

Один философ-традиционалист, которому принадлежит, пожалуй, самый суровый диагноз нашей эпохи, писал, что в конце каждого цикла остаётся малый остаток — небольшая группа тех, кто не дал прерваться цепи передачи. Не для того чтобы победить эпоху. Это невозможно. Но чтобы то, что живёт, дожило до следующего восхода.

Это скромная и при этом совершенно героическая позиция: не революция, не реставрация, а хранение огня в самую тёмную часть ночи.

Я не предлагаю тебе позу пессимиста, оплакивающего упадок. Это тоже разновидность феллашества, только сентиментальная: человек, который знает, что потеряно, но не несёт ничего сам. Оплакивать Рим, стоя у Колизея и ничем не горя, — это тоже способ пройти мимо, только с печальным лицом вместо селфи.

Настоящий ответ на феллашество — не ностальгия и не протест.

Настоящий ответ — это когда в тебе что-то живёт.

Когда ты несёшь в себе нечто, переданное тебе теми, кто нёс это до тебя, и несёшь это не как груз и не как музейный экспонат, а как живое.

Когда оно в тебе дышит, требует от тебя, формирует тебя, обязывает тебя.

В христианской традиции это называется преемством. Не просто передача формулы, а передача жизни. Живой огонь, который горел в тех, кто был до тебя, и должен гореть в тебе, но не потому что так положено, а потому что ты его принял и он тебя изменил.

Молодой человек у Колизея пройдёт мимо ещё тысячи памятников, и ни один из них с ним не заговорит.

Не потому что они немые.

Потому что он не слышит.

Это не его вина, но это его судьба, если он ничего не изменит.

Твоя задача — слышать. Быть тем, с кем говорят мёртвые. Быть живым достаточно для того, чтобы они тебе что-то передали.

Это и есть единственная настоящая антитеза всему феллашеству: не жить после, а жить так, чтобы что-то продолжалось через тебя.

Твой отец

ПИСЬМО VII

***О восстании масс, или что происходит, когда хам
получает власть.***

*О том, как падают государства традиции, о русском феврале и октябре как
лабораторном опыте истории, и о том, почему хам у власти — это не начало, а
конец.*

Санкт-Петербург (или то, что от него осталось), ноябрь.

Мой дорогой мальчик,

Я пишу тебе из города, который сменил три имени за сто лет. Каждая смена имени была симптомом, а не причиной.

Санкт-Петербург стал Петроградом в 1914 году — из патриотического жеста, из желания убрать немецкое звучание в военное время. Мелочь, казалось бы.

Но в 1924-м он стал Ленинградом, и это было уже не жест — это было уничтожение. Город, носящий имя своего основателя, переименовали в честь человека, который этот порядок разрушил.

Потом, в 1991-м, имя вернули, но город, которому оно принадлежало, вернуть было уже нельзя.

Форма вернулась.

Дух — нет.

Я хочу поговорить с тобой о том, что произошло с Россией в 1917 году, но не как историк, а как человек, пытающийся понять природу хамства в его наиболее полном историческом воплощении. Потому что то, что случилось тогда, — это лабораторный опыт невиданной чистоты: единственный раз в новейшей истории, когда восстание масс было не метафорой, а буквальным фактом, и когда его последствия можно наблюдать в деталях — с документами, с биографиями, с архивами.

Испанский философ, написавший «Восстание масс» в 1930 году — уже после того, как эксперимент начался, но ещё до того, как его итоги стали

окончательными, — определил человека-массу не через происхождение и не через бедность. Он определил его через отношение к требованию.

Человек-масса — тот, кто никогда не предъявлял к себе требований и искренне убеждён, что этого и не нужно. Что мир обязан ему уже тем фактом, что он в нём существует. Что его желания имеют право на немедленное удовлетворение. Что те, кто говорит о различии между людьми, — враги, которых нужно устранить.

Восстание масс — это не революция бедных против богатых. Это революция Homo Vulgaris против самого принципа, что бывает что-то, достойное уважения.

Россия 1917 года показала это с жестокостью учебного пособия.

Начнём с Февраля, потому что его часто забывают. Его затмевает Октябрь.

Февраль — это восстание масс в его наиболее чистой форме: стихийное, без вождей, без программы, без ясной цели.

Солдаты отказались стрелять в толпу.

Толпа вошла во дворцы.

Александр Керенский произносил речи.

Временное правительство издавало указы.

Всё выглядело как рождение демократии — свободная Россия, наконец освободившаяся от самодержавия, вставшая вровень с Европой.

Но посмотри, что происходило одновременно, пока произносились речи.

В усадьбах жгли библиотеки — не ради тепла, хотя было холодно, а потому что книги принадлежали «им».

В имениях разбивали рояли — музыкальные инструменты, на которых никто не умел ни играть, ни ценить, но которые были символом того мира, который нужно было уничтожить.

Убивали офицеров — не за конкретные преступления, а за погоны. За то, что носили что-то, обозначающее различие.

В деревнях делили землю — и тут же выясняли, что делить некому, потому что те, кто умел её обрабатывать правильно, уже бежали или были убиты.

Хам получил то, что хотел, и немедленно уничтожил условия, при которых это имело смысл.

Это структурный закон восстания масс, который воспроизводится в истории с монотонностью природного явления:

хам не хочет того, чем обладает аристократ Духа.

Он хочет уничтожить самого аристократа и то, что делает его аристократом.

Не «дай мне это тоже», а «этого не должно существовать».

Именно поэтому жгли библиотеки, а не читали книги.

Именно поэтому разбивали рояли, а не учились играть.

Именно поэтому убивали людей с образованием, а не получали образование.

Уравнивание шло вниз, а не вверх.

Оно всегда идёт вниз, потому что вниз проще и быстрее, а *ressentiment*, как я тебе писал, не хочет подниматься сам — он хочет, чтобы никто не поднимался.

Октябрь был другим.

Он был организован.

Владимир Ульянов (Ленин) понимал природу масс лучше, чем Александр Керенский, именно потому, что не питал иллюзий: он знал, что масса — это инструмент, а не субъект истории.

Партия — авангард — это профессиональные революционеры, которые знают, чего хочет масса, лучше самой массы.

Это циничная, но точная механика.

Большевики использовали восстание масс как таран и направили его туда, куда нужно было им, а не массе.

Что случилось потом, то история, которую ты знаешь.

Но я хочу остановиться на нескольких деталях, которые обычно проходят мимо в учебниках, потому что они слишком неудобны для любой из сторон.

Первая деталь: уничтожение было системным и направленным прежде всего против формы — в том смысле, который я объяснял тебе в прошлом письме.

Расстреливали не просто «буржуев», а расстреливали священников, учителей, врачей, офицеров, художников, философов.

Всех, кто был носителем традиции в живом смысле — не как музейный хранитель, а как человек, в котором что-то горело.

Архиепископа Андроника Пермского закопали живым.

Профессоров Петроградского университета расстреливали за то, что читали лекции по античной философии.

Монахов топили в прорубах.

Это не было случайной жестокостью войны. Это была целенаправленная работа по уничтожению людей с формой, потому что именно они представляли угрозу для власти, которая строилась на бесформенности масс.

Вторая деталь: многие из тех, кто поначалу принял революцию с энтузиазмом, — интеллигенция, художники, поэты — вскоре обнаружили, что произошло нечто противоположное освобождению.

Александр Блок написал «Двенадцать» в 1918 году, восторженно, с христологическим образом Христа во главе красноармейцев.

В 1921-м он умер — не от пули, а от того, что называл «отсутствием воздуха».

Он дожил до понимания.

Владимир Маяковский застрелился в 1930-м.

Анна Ахматова выжила и написала «Реквием», который двадцать лет не могла записать на бумагу, только держала в памяти.

Марина Цветаева вернулась из эмиграции и повесилась через два года.

Это не случайная серия личных трагедий. Это уничтожение носителей культуры.

Третья деталь — самая важная для нашего разговора:

советский эксперимент не закончился в 1991 году.

Он закончился как государственная форма, но не как антропологический тип.

Homo Sovieticus, человек, воспитанный семью десятками годами систематического уничтожения вертикали, никуда не делся, когда упал флаг.

Напротив: он остался в большинстве.

Демонтировали институты, но не тип человека, которого они производили.

Рынок пришёл, и Homo Sovieticus встретил его не как свободный человек, встречающий свободу, а как приспособленец, встретивший новый порядок: взял от него то, что можно взять немедленно, и отверг то, что требует долгого труда и внутренней формы.

Именно поэтому постсоветское пространство производит такой особый тип хамства — не грубого, не невежественного, а именно хамства власти без достоинства, богатства без культуры, силы без чести.

Номенклатурный хам советской эпохи стал олигархическим хамом девяностых, стал государственным хамом нового века.

Лица менялись — антропологический тип оставался.

Библиотеки больше не жгли — просто перестали читать.

Рояли больше не разбивали — просто перестали слышать.

Эффект тот же, метод тише.

Я не хочу, чтобы из этого письма у тебя сложилось впечатление, будто восстание масс — это сугубо русская история или сугубо левая.

Это было бы удобно, но неверно.

Испанец, написавший «Восстание масс», смотрел на Европу в целом и видел тот же процесс повсюду, только в разных скоростях и формах.

Бенито Муссолини пришёл к власти раньше Адольфа Гитлера, и тоже через массу, только через другую её разновидность.

Французская революция 1789 года была первым полным опытом: гильотина работала с такой же систематичностью против людей с формой.

Оноре де Мирабо, который сам был революционером, в ужасе писал, что «революция пожирает своих детей», не понимая, что это не случайность, а структурный закон:

хам, получивший власть, первым делом уничтожает тех, кто привёл его к власти, потому что они имеют форму, а форма невыносима для того, у кого её нет.

Что остаётся?

Остаётся то, что всегда остаётся после прохождения волны: те, кто нёс огонь и не дал ему погаснуть.

Философский пароход 1922 года — высылка русской интеллигенции из советской России — был, при всём своём трагизме, ещё и спасением: Николай

Бердяев, Семён Франк, Иван Ильин, Николай Лосский, Георгий Флоровский оказались в Европе и продолжили там то, что было прервано в России.

Берлин, Прага, Париж стали хранилищами русской мысли.

Это не победа.

Это выживание огня.

Это то самое, о чём я писал в прошлом письме: малый остаток, хранящий цепь преемства через самую тёмную часть ночи.

История показывает, что хам не последнее слово.

Он громкое слово. Возможно, самое громкое в определённую эпоху.

Но не последнее.

Греческая культура прошла сквозь македонское завоевание, сквозь римское поглощение, сквозь варварские нашествия, и то, что она несла, дожило до Возрождения и живёт до сих пор.

Русская религиозная философия, уничтоженная в России, выросла в эмиграции и вернулась.

Пусть и частично, пусть и не в то общество, которое готово её услышать.

Огонь продолжается теми, кто его несёт.

Твоя задача — не оплакивать то, что было уничтожено.

Это законно и человечно — скорбеть о потерях.

Но скорбь без продолжения есть ещё одна форма хамства: человек, который знает, что потеряно, но ничего не несёт.

Твоя задача — быть тем, в ком что-то из утраченного продолжается.

Читать тех, кого убили за то, что они писали.

Думать так, как думали те, кого вычеркнули из учебников.

Хранить то, что пытались уничтожить, не как музейный экспонат, а как живое.

Когда хам получает власть, он первым делом переименовывает города.

Потому что имя — это память.

А память — это единственное, чего он не может вынести.

Санкт-Петербург снова называется Санкт-Петербургом.

Но это только начало разговора, а не его конец.

Твой отец

ПИСЬМО VIII

О равенстве, или почему хам выбирает его вместо свободы.

О самом успешном лозунге в истории, о том, чего он на самом деле требует, о различии между равенством перед Богом и равенством перед толпой и о том, почему свобода всегда аристократична.

Париж, июль — в годовщину того, чего лучше бы не было.

Мой дорогой мальчик,

Я пишу тебе из Парижа, в июле, и за окном триколор.

Сегодня годовщина взятия Бастилии — день, который французы отмечают с фейерверками и военным парадом, и в котором зашифрована одна из самых успешных исторических подмен, какие только знала западная цивилизация.

Liberté, égalité, fraternité — свобода, равенство, братство.

Три слова.

Из них первое и третье могут существовать вместе.

Первое и второе — не могут.

Но именно их ставят рядом уже два с половиной века, и именно это сочетание определило политику, культуру и нравственность нашего времени так глубоко, что большинство людей не могут даже помыслить, что здесь есть противоречие.

Сегодня я хочу говорить с тобой об этом противоречии.

Говорить долго, подробно, без торопливости.

Потому что это, пожалуй, самый важный из всех теоретических разговоров, которые нам нужно иметь.

Если ты поймёшь природу этого противоречия, то ты поймёшь большую часть того, что происходит вокруг тебя каждый день.

Равенство, которого нет в природе

Начнём с очевидного, которое почему-то принято замалчивать: равенства в природе не существует.

Это не жестокое консервативное мнение, а наблюдение.

Нет двух людей с одинаковыми способностями, одинаковым мужеством, одинаковой волей, одинаковой глубиной ума, одинаковым художественным чутьём, одинаковой способностью к состраданию.

Нет двух народов с одинаковой историей, одинаковой культурной плотностью, одинаковыми институтами.

Нет двух эпох с одинаковым духовным потенциалом.

Люди рождаются разными, и это различие не случайно и не несправедливо.

Это сущностный факт.

Традиция, в которой я думаю и которую я тебе передаю, говорит об этом прямо: в доме Отца обителей много.

Иерархия Царства — не несправедливость, а порядок, в котором каждый занимает то место, которого достиг или которое получил по дару.

Различие — это не проблема, которую нужно решить.

Это условие того, чтобы вообще было что-то, а не ровное ничто.

Откуда же тогда идея равенства и почему она так привлекательна?

Она идёт из двух совершенно разных источников, которые исторически смешались и произвели нечто, не похожее ни на один из них.

Первый источник — христианский, и он подлинный.

Равенство перед Богом: каждая человеческая душа бесконечно драгоценна в очах Творца вне зависимости от происхождения, богатства, способностей, сословия.

Раб и философ, царь и нищий — перед Судьёй Небесным они предстанут одинаково: как души, не как социальные функции.

Это было революционным утверждением в античном мире, где ценность человека прямо определялась его местом в социальной иерархии.

Но христианство сказала: нет — за каждым человеком стоит нечто, что не измеряется социальной шкалой.

Это и есть то, что я называл «образом Божиим» в тебе: достоинство, которое не даётся заслугами и не отнимается бесчестием.

Но обрати внимание: это равенство достоинства, не есть равенство способностей, не равенство ролей, не равенство результатов.

Апостол Павел писал о теле, которое состоит из разных членов, и именно разность членов делает тело живым.

«Если бы всё тело было глазом, где было бы слышание?»

Равенство христианское — это равенство ценности при различии функции.

Это не уравнивание. Это признание достоинства за каждым при сохранении иерархии даров.

Второй источник — революционный, и он не христианский, хотя пользуется христианским словарём.

Равенство как политический лозунг возникло из *ressentiment*, из того самого механизма, о котором я писал тебе в третьем письме.

Человек, который не может подняться сам, формулирует требование, чтобы никто не поднимался.

Или, мягче: чтобы поднятость не имела значения.

Или, ещё мягче, в современной версии: чтобы любое выражение различия воспринималось как оскорбление тех, кто ниже.

Это и есть политическое равенство в его революционной форме: не «дай мне то же достоинство», а «уничтожь само различие».

Австрийский мыслитель Эрик фон Кюнелт-Леддин, один из немногих в XX веке, кто решился сказать об этом прямо и с полной ответственностью, написал книгу с провокационным названием, которую стоит читать как антидот к любому политическому учебнику.

Его центральный тезис: демократия и свобода — не синонимы.

Более того: в определённых условиях они прямые антагонисты.

Демократия есть власть большинства.

Свобода есть защита личности, в том числе от большинства.

Когда большинство состоит из Homo Vulgaris, а в нашу эпоху это именно так, «власть народа» становится тиранией посредственности, осуществляемой от имени всех и против каждого, кто выделяется.

Он прослеживал историческую цепочку с ужасающей чёткостью:

Афины казнили Сократа демократическим голосованием.

Иерусалим демократически потребовал распять Иисуса Христа и отпустить Варавву.

Якобинский террор во Франции осуществлялся от имени народа и во имя равенства.

Большевистская революция — тоже.

Адольф Гитлер пришёл к власти через выборы.

Каждый раз механизм один и тот же: масса, вооружённая лозунгом равенства, уничтожает тех, кто выше.

И называет это справедливостью.

Что выбирает хам и почему

Теперь — о самом главном.

Почему хам выбирает равенство, а не свободу?

Ответ прост, и в этой простоте есть что-то безжалостное: потому что свобода требует.

Равенство — освобождает от требования.

Свобода в подлинном смысле, о котором я писал прежде подробно, — это не право делать всё, что угодно.

Это способность желать правильного и осуществлять его.

Это свобода сына, а не раба, свобода, которая предполагает зрелость, ответственность, способность нести последствия своих решений.

Свобода в этом смысле аристократична по природе: она требует внутренней формы, требует самодисциплины, требует готовности признавать различия, в том числе когда ты находишься ниже по какой-либо шкале.

Быть свободным — это значит признать, что существуют люди умнее тебя, и учиться у них.

Что существуют люди мужественнее тебя, и равняться на них.

Что существуют вещи, которые ты делаешь хуже других, и что это не оскорбление, а информация для роста.

Свобода предполагает смирение перед реальностью, и это смирение есть условие роста.

Хам не хочет этого смирения.

Не потому что он злой, а потому что ему больно.

Признать, что кто-то выше тебя в чём-то существенном, — это боль.

Признать, что ты сам несёшь ответственность за то, кем ты являешься, — это ещё большая боль.

Признать, что свобода требует работы, а не только декларации, — невыносимо.

Равенство снимает эту боль одним движением.

Если все равны, то нет никого выше.

Если нет никого выше, то нечему завидовать.

Если нечему завидовать, то не нужно ни к чему стремиться.

Если не нужно стремиться, то не нужно и работать над собой.

Равенство — это анестезия для *ressentiment*.

Оно превращает ненависть к тем, кто выше, в политическую программу, и эта программа всегда находит аудиторию, потому что боль от различия есть у всех.

Эрик фон Кюнелт-Леддин называл это «эгалитарной манией» и показывал, как она исторически воспроизводится в разных формах, всегда с одним структурным результатом: уничтожение тех, кто выделяется.

Сначала уничтожение символическое — через отмену титулов, через осмеяние традиции, через запрет на выражение различия.

Потом уничтожение культурное — через образование, которое больше не передаёт ничего, а только выравнивает.

Потом, в крайних случаях, буквальное: французская гильотина, русский расстрел, камбоджийские поля смерти, где убивали людей в очках, потому что

очки были признаком образования, а образование было признаком того, что человек не равен остальным.

Это не преувеличение. Это не риторика.

Это задокументированная история XX века — самого эгалитарного и самого кровавого из всех, что знало человечество.

Связь не случайна.

Три вида равенства: различие, которое всё меняет

Но я не хочу, чтобы из этого письма ты сделал вывод, будто я против равенства вообще.

Это была бы ошибкой и, если честно, интеллектуальной трусостью, попыткой уйти от сложности.

Нужно различать три вещи, которые называются одним словом, и именно это смешение производит половину путаницы в современном политическом мышлении.

Первое — равенство достоинства.

Каждый человек как таковой, вне зависимости от способностей, происхождения, достижений, несёт в себе образ Божий и потому заслуживает уважения к своей личности.

Это не подлежит обсуждению.

Это не вопрос политики.

Это сущностный факт, признанный христианской традицией и ни разу не отменённый ею по существу.

Человека нельзя уничтожить, унижить, лишить достоинства только на основании того, что он занимает низкое место в какой-либо иерархии.

Аристократия Духа никогда не означала презрения к тем, кто ниже.

Иисус Христос омывал ноги ученикам.

Это и есть аристократия Духа в её предельном выражении: наивысшая власть на коленях.

Второе — равенство перед законом.

Один закон для всех, независимо от происхождения, богатства, связей.

Это не равенство способностей, это равенство правил.

Это принцип, который западная цивилизация с трудом вырабатывала столетиями и который является одним из подлинных её достижений.

Он говорит: богатый и бедный отвечают перед одним и тем же судьёй по одним и тем же нормам.

Власть имущий не может приобрести себе другое правосудие.

Это благородное и необходимое равенство, и именно его постоянно нарушают те самые режимы, которые громче всего говорят о равенстве.

Третье — равенство результатов.

Это то, чего хочет хам.

Не одни правила для всех, а одни результаты для всех.

Не равная возможность подняться, а запрет на то, чтобы кто-то поднялся выше.

Именно это равенство несовместимо со свободой, потому что для его осуществления необходима власть, которая постоянно вмешивается и принудительно уравнивает.

Равенство результатов требует тирании и всегда её получает.

Без исключений.

Ты будешь встречать это в самых разных формах, от официальной политики до разговоров за столом.

Научись различать, какое именно равенство имеется в виду.

Первые два — законны и необходимы.

Третье — яд, упакованный в добродетельную обёртку.

Свобода как бремя и как дар

Теперь — о свободе.

О том, почему хам её не хочет.

Сёрен Кьеркегор — датский философ XIX века, один из самых честных исследователей человеческой души из всех, кого я знаю, — писал о «страхе свободы».

Не о страхе несвободы, а о страхе именно свободы.

Потому что свобода — это бремя.

Это означает: ты несёшь ответственность за то, кем ты являешься.

Нельзя сказать: «меня так воспитали».

Ты взрослый, у тебя было время пересмотреть воспитание.

Нельзя сказать: «меня так вынудили обстоятельства».

Обстоятельства давят на всех, но не все реагируют одинаково.

Нельзя сказать: «я жертва системы».

В определённом смысле мы все жертвы системы, но именно свободный человек не позволяет системе быть единственным его определением.

Это тяжело.

Это так тяжело, что Фёдор Достоевский написал об этом целый трактат, вложив его в уста Великого Инквизитора в разговоре с Иисусом Христом.

Инквизитор говорит: люди не хотят свободы.

Ты дал им свободу, а они хотят хлеба.

Ты предложил им выбор, а они хотят, чтобы за них выбрали.

Ты принёс им бремя быть людьми, а они хотят быть счастливыми детьми под мудрым управлением.

И Инквизитор объявляет, что Церковь взяла на себя задачу исправить то, что Иисус Христос сделал неправильно: дать людям не свободу, а счастье.

Хлеб и зрелища.

Тайну и авторитет.

Покой без выбора.

Фёдор Достоевский вложил в уста Инквизитора самый соблазнительный аргумент против свободы, и он не дал ему прямого опровержения.

Потому что прямого опровержения нет.

Есть только Иисус Христос, который молча целует старика в лоб и уходит.

Это и есть ответ: не аргумент, а присутствие.

Не доказательство, а свидетельство.

Свобода не доказывается — она переживается теми, кто её принял.

Хам не принял.

Он отдал свою свободу в обмен на снятие ответственности и получил за это равенство.

Равенство как индульгенция: я не хуже других, потому что других нет.

Нет высоты, нет и глубины.

Нет требования, нет и вины.

Нет иерархии, нет и падения.

Всё ровно.

Всё одинаково.

«Мы изобрели счастье» — и моргает.

Тирания большинства и защита личности

Теперь о политическом измерении, потому что то, о чём я говорю, имеет прямые последствия для того, как устроены общества.

Алексис де Токвиль — французский аристократ, который в 1830-х годах поехал в Америку и написал о ней книгу, поражающую своей провидческой точностью даже сегодня, — предупреждал о том, что он назвал «мягким деспотизмом» демократии.

Не грубое насилие, не концентрационные лагеря, а нечто куда более изощрённое: общество, в котором власть большинства так полно охватывает все стороны жизни, что личность постепенно перестаёт думать иначе, чем думают все.

Не потому что ей запрещают, а потому что иначе думать становится социально невозможным.

Осмеяние, исключение, невидимость.

И это эффективнее тюрьмы.

Тюрьма создаёт мучеников.

Осмеяние создаёт молчаливых конформистов.

Алексис де Токвиль писал это за тридцать лет до того, как появились современные средства массовой информации.

Представь, что бы он написал сегодня, когда алгоритм знает о тебе больше, чем ты сам, и может сделать твою мысль невидимой нажатием кнопки.

Когда «общественное мнение» формируется несколькими платформами, принадлежащими нескольким людям.

Когда «голос народа», это на самом деле совокупность реакций, отфильтрованных через систему, созданную для максимизации вовлечённости, а не для поиска истины.

Вот что происходит, когда хам получает инструменты власти:

он не создаёт тирана с явным лицом, но он создаёт тиранию без лица.

Тиранию большинства, которое само не знает, что является тираном, потому что убеждено в собственной праведности.

Это самая устойчивая из всех форм несвободы, потому что у неё нет адреса, по которому можно протестовать.

Эрик фон Кюнелт-Леддин называл это «демократическим тоталитаризмом», и это не оксюморон.

Тоталитаризм — это не обязательно диктатор в мундире.

Это система, в которой нет пространства, свободного от политического контроля.

Тоталитаризм советский осуществлялся через коммунистический партийный аппарат.

Тоталитаризм демократический осуществляется через культурное давление, через контроль над языком, через механизм социального исключения тех, кто думает иначе.

В одном случае тебя расстреливают за инакомыслие.

В другом — тебя просто перестают слышать, нанимать, приглашать, печатать.

Метод тише — результат тот же: пространство свободной мысли сжимается.

Равенство и братство: почему они не одно и то же

Я хочу сказать ещё об одном — о третьем слове французского лозунга, которое обычно забывают.

О братстве.

Братство — это подлинная идея.

Она есть в Евангелии, она есть в традиции, она есть в лучших моментах человеческой истории.

Братство — это любовь, которая связывает людей не потому, что они равны, а потому, что они разные члены одного тела.

Братство отца и сына — не равенство, а отношение.

Братство учителя и ученика — не равенство, а передача.

Братство во Христе — не горизонтальное выравнивание, а вертикальная встреча, в которой все причастны одному и тому же Источнику и потому связаны друг с другом.

Подлинное братство возможно только при признании различия.

Я могу любить тебя именно потому, что ты другой, а не потому, что ты такой же, как я.

Любовь к тому, кто в точности как ты, — это нарциссизм, а не любовь.

Настоящая любовь преодолевает различие.

Не отменяет его.

Революционное равенство уничтожает условия братства, объявляя различие несправедливостью.

В мире, где все должны быть равны, у любви нет объекта, потому что любовь всегда направлена к конкретному, единственному, неповторимому.

К тому, кто именно этот, а не другой.

Уравнивание убивает личность, а вместе с ней убивает и возможность подлинной любви.

Остаётся только солидарность — безликая, функциональная, направленная не к человеку, а к категории.

Именно поэтому самые эгалитарные общества в истории были, как правило, и самыми холодными:

советские коммунальные квартиры, где все формально равны и никто никому не доверяет;

маоистские деревни, где доносят на родителей во имя революционного братства;

современные корпоративные офисы, где все на «ты» и называют друг друга по имени и никто никого не знает.

Что значит быть свободным в несвободную эпоху

Подхожу к тому, ради чего писал всё это письмо.

Ты живёшь в эпоху, когда лозунг равенства является единственным публично допустимым политическим языком.

Любое утверждение различия, будь то интеллектуальное, духовное, культурное или нравственное, воспринимается как агрессия против тех, кто «ниже».

Любое указание на иерархию — как попытка эксплуатации.

Любое требование к себе — как нарциссизм или, хуже, как привилегия.

Это не случайность и не временное помешательство.

Это логический итог двухсот пятидесяти лет торжества третьего вида равенства над первыми двумя.

Что в этой ситуации делать человеку, который понимает, о чём я говорю?

Первое: не путать равенство достоинства с равенством результатов.

Уважай достоинство каждого человека и при этом не притворяйся, что все одинаковы в способностях, воле и духовной высоте.

Эта честность, а не жестокость.

Это условие того, чтобы вообще что-то значило.

Если всё одинаково, то ничто не значит ничего.

Второе: береги своё право думать иначе.

Не из вызова и не из желания провокации, а потому что самостоятельная мысль — первый признак того, что в тебе есть личность, а не просто набор коллективных рефлексов.

В эпоху «мягкого деспотизма» самый революционный акт — думать самому.

Это не означает думать против всех.

Это означает думать от себя, а не из-за давления среды.

Третье: не бойся называть различие различием.

Один человек лучше разбирается в математике.

Другой — мужественнее в трудных ситуациях.

Третий — глубже чувствует музыку.

Четвёртый — честнее в обстоятельствах, когда солгать было бы безопаснее.

Называть это вслух — не высокомерие.

Высокомерие — это думать, что ты сам стоишь выше по всем шкалам сразу и навсегда.

Различение — это просто точность.

Точность — это уважение к реальности.

Четвёртое, и самое трудное: прими, что свобода есть бремя.

Прими, что никто не несёт за тебя ответственности за то, кем ты являешься.

Это не значит, что обстоятельства не важны.

Они важны.

Это не значит, что несправедливость не существует.

Она существует.

Но свободный человек — тот, кто не позволяет ни обстоятельствам, ни несправедливости быть окончательным словом о нём самом.

Кто говорит: при всём том, что было, — вот кем я выбрал быть.

Это и есть то, что в христианской традиции называется свободой воли, но не в философски-схоластическом смысле, а в самом живом: способность в любой момент повернуться.

Но повернуться не в сторону, а против прежнего направления.

Как блудный сын в притче: он «пришёл в себя» и повернул назад, к отцу.

Не потому что ситуация изменилась.

Не потому что кто-то его заставил.

А потому что в нём оставалась способность в один момент спросить себя: туда или не туда?

Я иду не туда.

И пойти иначе.

Способность, которую хам упраздняет добровольно, в обмен на освобождение от ответственности.

Пятое: помни, что братство возможно только между свободными.

Между людьми, которые выбрали быть рядом, а не теми, кого система объявила равными и поставила в одну очередь.

Подлинная любовь, подлинная дружба, подлинное сообщество — это всегда избирательно.

Не в смысле высокомерного отбора, а в смысле личной встречи с конкретным, единственным, неповторимым.

Масса не умеет любить. Она умеет только сбиваться в кучу, но не друг к другу.

Без лица.

Без выбора.

Без встречи.

Французский триколор за окном. Оркестр играет «Марсельезу».

Всё очень красиво.

Всё очень громко.

Под это можно не думать, и в этом, подозреваю, и есть его главная функция.

Но ты думай.

Даже когда громко.

Твой отец



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Машины хамства и кто их производит.

ПИСЬМО IX

О культурной промышленности, или что они делают с твоим вкусом.

О фабрике, производящей потребителей, о разнице между культурой и её имитацией, о том, почему стандартизация опаснее цензуры и как отличить живое от manufactured.

Лос-Анджелес, без числа

Мой дорогой мальчик,

Я пишу тебе из города, который является, возможно, самым честным городом в мире, в том смысле, что он не притворяется быть чем-то, чем не является.

Нью-Йорк притворяется интеллектуальной столицей.

Лондон притворяется аристократическим.

Париж притворяется хранителем цивилизации.

Лос-Анджелес не притворяется ничем: он прямо говорит тебе, что является фабрикой грёз, производящей продукт для продажи.

Здесь делают кино, музыку, образы, желания, и продают их всему миру с такой эффективностью, что большинство людей в разных концах земли давно уже думают чужими словами, мечтают чужими снами и называют это своей культурой.

Я приехал сюда по делу и каждый день хожу по этому городу и думаю о двух немцах, которые оказались здесь в эмиграции в сороковые годы XX века и написали здесь, в этом же городе, книгу о том, что они видят вокруг.

Один был музыкальным критиком и философом.

Другой — социологом.

Оба принадлежали к традиции, которую принято называть Франкфуртской школой, что означает примерно следующее: люди, воспитанные марксистской

мыслью, но достаточно умные, чтобы заметить, что Карл Маркс объяснил не всё, и достаточно честные, чтобы об этом написать.

Книга называлась «Диалектика Просвещения», и в ней была глава, которая называлась просто: «Культурная индустрия».

Эта глава — один из самых точных диагнозов того, что произошло с культурой в XX веке.

И с тех пор стало только хуже.

Их центральный тезис я перескажу своими словами, потому что у них он написан языком академической философии, который я, честно говоря, нахожу излишне тяжёлым для того, что они хотят сказать.

А хотят они сказать вот что.

Подлинная культура всегда делалась людьми, которые отвечали на что-то настоящее в себе и в своём времени.

Гомер пел о том, что пережил его народ, или о том, что этот народ считал подлинным в человеческой судьбе.

Данте написал «Божественную комедию», потому что ему нужно было что-то понять о природе греха, спасения и любви, и это понимание требовало тридцати лет работы и всей силы его интеллекта.

Иоганн Себастьян Бах писал кантаты для конкретного богослужения в конкретном городе, но писал их так, как будто это был последний день творения и Бог слушает.

Уильям Шекспир делал театр для лондонской публики, которая пришла поглазеть, и при этом создавал персонажей, которые через четыреста лет говорят о тебе больше, чем ты сам знаешь о себе.

Культурная индустрия делает другое.

Она начинает не с вопроса «Что нужно сказать?», а с вопроса «Что купят?».

Это не просто коммерческий прагматизм, это иная сущность производства.

Продукт культурной индустрии создаётся под известного потребителя, под измеренный спрос, под протестированный на фокус-группах отклик.

Он не обращается к тебе.

Он подстраивается под тебя.

Вернее: под статистическую модель тебя, под усреднённый профиль твоей аудитории, под то, что с наибольшей вероятностью вызовет «положительную эмоциональную реакцию» и «желание приобрести».

Разница между этими двумя подходами — это разница между человеком, который говорит тебе правду, и человеком, который говорит тебе то, что ты хочешь услышать.

Первый иногда неприятен, часто труден, порой непонятен с первого раза.

Второй всегда приятен, всегда понятен, всегда оставляет тебя довольным, ровно потому что не требует ничего.

Культурная индустрия производит второй тип сообщений в промышленных масштабах.

Но есть в их анализе кое-что, что поначалу кажется парадоксом, а при ближайшем рассмотрении оказывается самым точным наблюдением.

Культурная индустрия не производит единообразие через запрет разнообразия.

Она производит его через видимость разнообразия.

В кинотеатре сто залов, и в каждом свой фильм.

На стриминговых сервисах миллионы позиций.

В музыкальных магазинах тысячи жанров и субжанров.

Кажется: огромный выбор, невиданная свобода.

Но посмотри глубже и обнаружишь, что при всём внешнем разнообразии все эти продукты построены по одним и тем же структурным законам: тем же нарративным аркам, тем же эмоциональным ритмам, той же финальной удовлетворённостью, тем же отсутствием настоящего вызова.

Форма разная — матрица одна.

Это не заговор и не злой умысел.

Это просто логика производства: то, что работает, воспроизводится.

То, что не работает, то есть то, что требует усилия от потребителя, отсеивается.

Результат: ты выбираешь между сотнями вещей, которые в сущности говорят тебе одно и то же.

Ты чувствуешь себя свободным потребителем и при этом движешься строго в рамках коридора, проложенного для тебя.

Это и есть одномерность, о которой писал другой немецкий мыслитель из той же традиции: не отсутствие выбора — отсутствие выбора за пределами одного измерения.

Длина и ширина есть.

Высоты нет.

Теперь я хочу поговорить о том, что это делает с твоим вкусом, потому что это самое важное практическое следствие из всего сказанного.

Вкус — это не набор предпочтений.

Вкус — это орган восприятия.

Как зрение или слух, только направленный на качество, на подлинность, на различение живого от мёртвого, глубокого от поверхностного.

На то, что требует от тебя — в отличие от того, что требует только твоих денег.

Этот орган, как и любой другой, развивается через упражнение и атрофируется через неупотребление.

Культурная индустрия систематически атрофирует этот орган.

Не потому что она ставит такую цель, а потому что атрофированный потребитель выгоднее развитого.

Человек с развитым вкусом требователен: он замечает фальшь, он не удовлетворяется суррогатом, он готов ждать и искать настоящее.

Он неудобный клиент.

Человек с атрофированным вкусом потребляет всё предложенное с одинаковым аппетитом и просит добавки.

Он идеальный клиент.

Механизм атрофии прост: тебя постоянно кормят вещами, которые дают немедленное удовлетворение, не требуя никаких усилий.

Мозг, как любая система, оптимизирует: зачем искать то, что труднее, если вот здесь легко и приятно?

Постепенно ты теряешь способность выносить то, что требует усилия.

Книга, которая не захватывает с первой страницы, — «скучная».

Музыка, которая не даёт немедленного эмоционального отклика, — «непонятная».

Фильм, в котором нет экшена каждые десять минут, — «затянутый».

Разговор, в котором нужно думать, — «занудный».

Это не личная слабость.

Это результат многолетней тренировки потребления без усилия.

Промышленность сделала своё дело.

Как это распознать в себе?

Один тест, который я применяю регулярно и который всякий раз говорит мне что-то неприятное: попробуй провести два часа с чем-то, что изначально кажется трудным — книгой, которую рекомендовали умные люди, но которая не даётся сразу; музыкой, в которую нужно войти; фильмом, который требует терпения.

Если через двадцать минут ты тянешься к телефону, то это не скука.

Это атрофия, работающая в режиме реального времени.

Скука — это богатое состояние: она означает, что ты с собой, что внешняя стимуляция отключена, что ты в состоянии принять то, что предложит тишина.

Современная «скука» — это тревога отмены: ломка от отсутствия стимула.

Второй тест: заметь, как ты относишься к вещам, которые тебе сначала не понравились, но которые со временем открылись иначе.

Есть ли в твоей жизни такие?

Книга, которую ты перечитал и обнаружил там то, чего не видел в первый раз?

Музыка, которая казалась шумом, но постепенно стала необходимостью?

Человек, который казался скучным и всё-таки оказался глубоким?

Если таких случаев нет вовсе, то это симптом.

Культурная индустрия создаёт вещи, которые при повторном потреблении не открывают ничего нового, потому что в них нет глубины, которую можно открыть.

Только первое впечатление.

Только немедленная реакция.

После которой — следующий продукт.

Третий тест — самый жёсткий: когда ты в последний раз испытывал при встрече с произведением искусства — книгой, фильмом, музыкой, картиной — что-то, что я бы назвал «неудобным расширением»?

Ощущение, что что-то в тебе сдвинулось, но не потому, что тебе было приятно, а потому, что тебе показали что-то, что ты не мог не признать, хотя оно тебя и беспокоило?

Великое искусство всегда делает это.

Оно не успокаивает — оно расширяет.

Оно показывает тебе больше, чем ты видел.

И за это больше иногда приходится платить беспокойством.

Продукт культурной индустрии этого не делает никогда.

Он успокаивает.

Он подтверждает.

Он говорит: ты правильно думаешь, правильно чувствуешь, правильно живёшь.

Ты молодец.

Вот тебе ещё один эпизод.

Теперь о том, что делать.

Не в виде программы аскезы и не в виде запрета на всё популярное.

Это была бы снобистская глупость и, что важнее, неправда: в массовой культуре бывают вещи подлинные, как и в высокой бывают вещи мёртвые.

Критерий не происхождение — критерий требование.

Требуется ли это что-то от тебя?

Оставляет ли след?

Первое практическое правило: различай потребление и встречу.

Потребление — это когда ты используешь произведение для заполнения времени или для получения приятного ощущения.

Встреча — это когда произведение обращается к тебе и ты отвечаешь.

Потребление можно делать пассивно.

Встреча требует присутствия.

Не каждое взаимодействие с культурой должно быть встречей, это нереалистично и утомительно.

Но если встреч нет совсем, то это уже диагноз.

Второе: намеренно включай в свою жизнь вещи, которые не дают немедленного удовлетворения.

Не из аскезы, но из тренировки органа.

Так же, как ты тренируешь тело: не каждый день, не через боль ради боли, но систематически.

Один сложный роман в месяц.

Один концерт серьёзной музыки в квартал.

Один фильм, который требует внимания, а не только зрения.

Один разговор, в котором ты не знаешь заранее, к чему придёшь.

Третье: следи за тем, чьи рекомендации ты принимаешь.

Алгоритм рекомендует тебе то, что похоже на то, что ты уже смотрел.

И это, по определению, движение по кругу, а не вперёд.

Живой человек, которому ты доверяешь и чей вкус тебя удивляет, может направить тебя туда, куда ты сам бы не пошёл.

Это и есть передача культуры в живом смысле: не через базу данных, а через свидетельство.

Четвёртое, и это важнее всего остального: помни, что подлинная культура обращается к тебе как к человеку, а не как к потребителю.

Это различие, которое можно почувствовать, если орган не совсем атрофирован.

Когда что-то обращается к тебе как к человеку, оно предполагает в тебе глубину, ум, способность к сложному чувству, готовность быть изменённым.

Когда что-то обращается к тебе как к потребителю, оно предполагает только платёжеспособность и наличие свободного времени.

Культурная индустрия обращается ко второму, и в этом есть что-то, что я могу назвать только тихим оскорблением человеческого достоинства.

Не принимай его.

Ты создан для большего, чем потреблять.

Один из двух немцев, о которых я говорил в начале, музыкант и философ, писал под конец жизни, что сопротивление культурной индустрии есть не политический акт и не эстетическое снобство.

Это акт сохранения самого себя.

Способность слышать то, что не предназначено для массового уха.

Способность находить значение там, где индустрия не запланировала никакого значения.

Способность оставаться субъектом, а не только точкой в рекламной аудитории.

В этом он был прав.

Даже если в остальном его теория несовершенна — в этом он был совершенно прав.

Твой отец

ПИСЬМО X

О китче, или как отличить чувство от его имитации.

О Kitschmensch, о слезах без обязательства, о сентиментальности как духовной болезни и о том, почему подлинное переживание всегда неудобно.

Мюнхен, декабрь — в сезон, когда китч достигает своего апогея.

Мой дорогой мальчик,

Декабрь в Европе — месяц, когда китч торжествует открыто и всенародно, и никто не стыдится.

Рождественские ярмарки с одинаковыми деревянными игрушками и запахом глинтвейна, скроенным из химического концентрата.

Витрины, в которых электрические свечи имитируют настоящие настолько старательно, что уже не важно, что они ненастоящие.

Песни, которые все знают и никто не слышит.

Открытки с заснеженными домиками, внутри которых никто никогда не жил.

Фильмы, в которых люди плачут от счастья в финале — всегда в финале, всегда от счастья, всегда одинаково.

И миллионы людей смотрят на это всё и чувствуют что-то тёплое.

Искренне чувствуют, я не сомневаюсь.

И называют это праздником.

Я не против праздника.

Я за него.

Но я хочу поговорить с тобой о разнице между праздником и его муляжом.

Между чувством и его имитацией.

Между слезой, которая что-то значит, и слезой, которая приятна именно потому, что ничего не значит.

Это разговор о китче.

И это один из самых важных разговоров, которые мне нужно с тобой иметь, потому что китч есть главная эстетическая болезнь нашего времени: он маскируется под чувствительность и доброту, и именно эта маскировка делает его опасным.

Что такое китч в точном смысле

Слово пришло из немецкого, из мюнхенской торговли живописью XIX века: так называли дешёвые картины, сделанные быстро и на продажу, изображавшие то, что заведомо понравится.

Альпийские закаты.

Плачущих детей.

Котят в корзинах.

Трогательные семейные сцены.

Ничего плохого в котятках нет, плохо другое: картина делалась не для того, чтобы что-то сказать, а для того, чтобы понравиться.

Не из внутренней необходимости — из расчёта на отклик.

С тех пор слово расширилось до культурного диагноза.

Один умный англичанин — философ и эстет, написавший о культуре и её упадке с такой болью, какая бывает только у людей, которые действительно любят то, о чём пишут, — дал определение, которое я считаю лучшим из всех.

Китч, сказал он, это не плохой вкус.

Это эмоциональный суррогат: он предлагает ощущение глубины, не давая самой глубины.

Он предлагает переживание без того, что за это переживание положено заплатить.

Позволь развернуть это определение, потому что в нём — всё.

Подлинное переживание — это встреча с великим искусством, с настоящей любовью, с живым горем, с прикосновением к сакральному, которое всегда требует от тебя чего-то.

Оно меняет тебя.

Оно обязывает тебя.

Оно предъявляет счёт.

Ты не можешь прочитать «Братьев Карамазовых» всерьёз и остаться тем же человеком.

Ты не можешь по-настоящему полюбить кого-то и не стать уязвимым.

Ты не можешь пережить настоящее горе и не узнать о себе и о мире нечто, чего не знал прежде.

Настоящее переживание расширяет тебя, и это расширение болезненно, потому что расширение всегда сначала разрыв, и только потом новое пространство.

Китч имитирует это переживание без разрыва.

Он даёт тебе слёзы — настоящие слёзы, тёплые, физиологически реальные, но без того, что за слёзы положено платить.

Ты плачешь над сериалом — и через час забыл.

Ты умиляешься рекламе страховой компании с дедушкой и внуком — и идёшь покупать страховку.

Ты поёшь рождественскую песню и чувствуешь «причастность к чему-то большому», и это «большое» не требует от тебя ничего изменить в своей жизни.

Чувство было.

Чувство прошло.

Ты тот же.

Это и есть главный признак китча: он не оставляет следов.

Или, точнее: он оставляет один след — приятное ощущение собственной чувствительности.

«Я так остро всё чувствую».

«Меня трогают простые вещи».

«Я умею ценить маленькие радости жизни».

Это не чувствительность, это самолюбование с помощью готовых эмоций.

Китч позволяет тебе думать о себе как о человеке богатого внутреннего мира, не имея такового.

Это его главная услуга и его главный яд.

Kitschmensch — портрет

Тот же английский философ ввёл термин, который мне кажется незаменимым: Kitschmensch.

Китч-человек.

Хам эстетический.

Попробую нарисовать его портрет так, чтобы ты узнал его и, что важнее, узнал его в себе, когда он там появляется.

Kitschmensch сентиментален.

Это ключевое слово, и оно требует разъяснения, потому что сентиментальность часто путают с чувствительностью, а это противоположные вещи.

Чувствительный человек — это тот, чьи чувства откликаются на реальное.

Его трогает конкретное: этот человек, это горе, эта красота.

Его отклик пропорционален тому, что произошло, и направлен на то, что произошло.

После отклика что-то меняется в нём, в ситуации, в отношении.

Сентиментальный человек — это тот, чьи чувства откликаются на образ реального, специально сконструированный для того, чтобы вызвать именно этот отклик.

Его трогают не люди — их образы.

Не горе — его изображение.

Не красота — её сигнал.

И этот отклик ни к чему не обязывает, ничего не меняет.

Он самодостаточен.

Слеза над сериалом о детях с онкологией, и при этом ни рубля не пожертвовано, ни минуты не потрачено на реального больного ребёнка.

Слеза была настоящей.

Но она не была о реальном ребёнке.

Она была о приятном ощущении собственной способности плакать.

Один ирландский поэт написал фразу, которую я запомнил навсегда:

Сентиментальный человек — это человек, желающий иметь роскошь эмоции без необходимости платить за неё что-либо.

Это формула, которую нужно выучить наизусть.

Kitschmensch умиляется животным и равнодушен к людям рядом.

Он плачет над документальным фильмом об экологии и никогда не думает о том, как живёт его сосед.

Он любит «человечество» и не выносит конкретных людей.

Он «переживает» за жертв далёкой трагедии в новостях и раздражается, когда близкий человек требует его внимания здесь и сейчас.

Далёкое и абстрактное всегда трогает больше, чем близкое и конкретное, именно потому что далёкое не предъявляет счёта.

Kitschmensch обожает «трогательные истории».

Историю о том, как незнакомец помог старушке перейти дорогу, и об этом сняли ролик, и он набрал миллион просмотров.

Историю о собаке, которая ждала хозяина.

Историю о ребёнке, который что-то сказал мудрое.

Эти истории реальны, но Kitschmensch потребляет их не для того, чтобы что-то сделать, а для того, чтобы почувствовать.

Почувствовать и поделиться, чтобы другие тоже почувствовали и знали, что он почувствовал.

Публичность чувства важна: она является доказательством наличия чувства.

Kitschmensch не может переживать в одиночестве.

Ему нужны свидетели его переживания.

Китч и сакральное — самое опасное

Теперь о том, где китч становится по-настоящему опасным.

Не в рождественских ярмарках и не в плачущих над сериалами.

Это всё невинно, хотя и симптоматично.

Опасно там, где китч проникает в сферу сакрального.

Религиозный китч — это, пожалуй, наиболее разрушительная его форма.

Потому что религиозное переживание по природе своей есть встреча с тем, что абсолютно превышает тебя, с тем, что требует от тебя не просто слезы, а изменения всей жизни, пересмотра всех приоритетов, готовности умереть для старого себя и родиться заново.

Это самое требовательное из всех переживаний.

И именно поэтому его так легко подменить имитацией, которая даёт тепло без огня.

Посмотри на то, что массовая религиозность предлагает сегодня в качестве духовного переживания.

Музыка, специально написанная для того, чтобы вызвать «подъём» — с нарастающей динамикой, с хором, с тем особым эмоциональным *crescendo*, которое физиологически неотличимо от того, что вызывает хорошая эстрадная песня.

Проповеди, которые говорят тебе именно то, что ты хочешь услышать — что ты любим, что всё будет хорошо, что Бог на твоей стороне, что твои желания священы.

Образы, тщательно подобранные для максимального «вдохновения» — закаты, дети, объятия, свет в конце туннеля.

Всё это производит чувство.

Всё это оставляет человека довольным собой.

Всё это не предъявляет ни одного требования, которое было бы по-настоящему трудным.

Подлинная религиозная традиция всегда делала противоположное.

Она начинала с того, что ты не такой, каким должен быть, и это не мягкое «но всё равно любим», а серьёзное и требующее ответа утверждение.

Она давала не тепло, а огонь, который одно сжигает, другое очищает.

Она требовала аскезы.

Не как самоцели, но как условия того, чтобы вообще услышать нечто, кроме собственного шума.

Великие мистики описывали встречу с Богом не как эмоциональный подъём, а как опустошение, тьму, «ночь души», потому что подлинная встреча с абсолютным выжигает всё, что не является настоящим.

Китч этого не предлагает, и именно поэтому он так популярен в религиозной сфере.

Один богослов XX века писал, что мы живём в эпоху «дешёвой благодати» — благодати без покаяния, прощения без изменения, принадлежности без цены.

Это религиозный китч в его богословской формулировке.

Чувство близости к Богу без того, чтобы Бог что-то в тебе изменил.

Тепло без огня.

Слеза без следа.

Я говорю тебе это не для того, чтобы сделать тебя циником в отношении религиозного чувства.

Религиозное чувство реально, и оно может быть подлинным.

Но именно потому, что оно реально, его подмена так разрушительна.

Потому что человек, получивший имитацию встречи с Богом и принявший её за настоящую, думает, что он пришёл, но остаётся на месте.

Китч политический — ещё один портрет

Политический китч работает по той же схеме и в нашу эпоху достиг невиданного масштаба, потому что получил идеальные инструменты: социальные сети, мемы, хэштеги, «движения» с логотипами.

Политический китч — это когда сложная реальность заменяется простым образом, вызывающим правильные чувства.

Когда вместо понимания предлагается идентификация.

Когда вместо мысли — жест.

Когда вместо действия — публичная декларация чувства.

Ты видел это тысячу раз.

Трагедия где-то в мире, и тут же аватарки с флагами, хэштеги, рамки на фотографиях.

Люди искренне «поддерживают».

Они действительно чувствуют что-то.

Им важно, чтобы другие знали, что они чувствуют.

Через неделю — следующая трагедия, следующий флаг.

Предыдущая забыта, не потому что люди бессердечны, а потому что они потребляли не трагедию, а своё переживание трагедии.

А оно удовлетворено и исчерпано.

Это называется «слактивизм» в современном жаргоне — активизм без действия, только с ощущением.

Но это старая болезнь с новым интерфейсом.

Kitschmensch всегда предпочитал красивый жест реальному усилию.

Просто сейчас красивый жест стал возможен нажатием одной кнопки, и его аудитория выросла с нескольких знакомых до нескольких тысяч.

Политический китч опасен не только тем, что заменяет действие жестом.

Он опасен тем, что делает сложное простым и при этом убеждает тебя, что ты всё понял.

Мир делится на хороших и плохих, своих и чужих, жертв и угнетателей, и эта схема даёт немедленное эмоциональное удовлетворение, потому что ты знаешь, на чьей ты стороне, ты чувствуешь себя праведным, тебе не нужно думать дальше.

Это и есть китч в применении к политике: готовая эмоциональная схема, избавляющая от труда понимания.

Различение: как отличить подлинное от суррогата

Теперь о том, как различать.

Потому что я не хочу, чтобы это письмо оставило тебя в состоянии подозрительности ко всем собственным чувствам.

Это было бы другой крайностью, столь же далёкой от истины.

Чувства реальны.

Слёзы реальны.

Умиление реально.

Вопрос не в том, настоящие ли они физиологически, а в том, к чему они относятся и что за ними следует.

Первый критерий: изменило ли это тебя?

Не «понравилось ли тебе», а изменило ли?

Книга, фильм, музыка, проповедь, разговор — всё, что претендует на статус культурного или духовного переживания.

Если после этого что-то в тебе сдвинулось, пусть немного, пусть только как вопрос, который ты не мог не задать себе, — это был живой опыт.

Если ты вернулся к исходному состоянию без остатка — скорее всего, это был китч.

Независимо от того, насколько сильным было ощущение в момент.

Второй критерий: предъявило ли это тебе требование?

Не пожелало тебе добра, а потребовало от тебя чего-то.

Изменить отношение.

Пересмотреть выбор.

Взять обязательство.

Встретить кого-то.

Признать что-то в себе, что было бы удобнее не признавать.

Подлинное произведение или подлинный духовный опыт всегда делает это, потому что они обращаются к тебе как к субъекту, способному отвечать.

Китч не требует ничего.

Он только предлагает.

Третий критерий — самый тонкий: было ли в этом что-то неудобное?

Великое искусство почти всегда содержит элемент, который мешает, который не даёт тебе успокоиться, остаться в своём привычном мнении о себе и о мире.

Трагедия не кончается хорошо.

Персонаж, которому ты сочувствуешь, оказывается неправ.

Красота соседствует с ужасом.

Истина говорится устами того, кого ты не любишь.

Китч этого никогда не делает.

Он всегда гладкий, всегда даёт разрешение, всегда в конце тебе хорошо.

Даже если в конце плачут, то это правильные слёзы, которые правильно заканчиваются.

Четвёртый критерий: хочется ли тебе к этому вернуться и открывает ли это что-то новое при возвращении?

Китч при повторении быстро истощается, потому что в нём нет глубины, которую можно открывать слоями.

Великое произведение при каждом новом обращении показывает что-то, чего ты не видел прежде, потому что оно содержит больше, чем ты способен увидеть за один раз.

Это и есть критерий глубины: не «нравится ли снова», а «открывает ли новое».

Пятый критерий: связаны ли слёзы с чем-то реальным?

Умиление над сценой в фильме — и готов ли ты сделать что-то похожее в реальной жизни?

Не обязательно то же самое, но что-то, требующее сравнимого усилия?

Если между чувством и действием нет никакой связи — это сентиментальность.

Если связь есть — даже если действие ещё только намерение — это начало подлинного переживания.

О том, можно ли любить несовершенное

Последнее, что мне важно сказать, потому что я чувствую, что ты можешь прочесть это письмо как требование абсолютной серьёзности и отказа от всего лёгкого.

Это было бы неправильным прочтением.

Радость бывает лёгкой, и это не китч.

Смех бывает немедленным, и это не китч.

Простая красота: закат, ребёнок, хорошо испечённый хлеб, первый снег, трогает без сложности и без требования, и это нормально, это часть жизни, это дар, который не нужно анализировать.

Китч — это не простота.

Это сконструированная псевдоглубина.

Это не радость, а имитация возвышенного.

Это не лёгкость, а отказ от трудного под видом чувствительности.

Рождественская ярмарка может быть местом настоящей радости, если ты пришёл туда с живым человеком и вам хорошо вместе.

Или местом китча, если ты пришёл туда за ощущением «праздничного настроения», сконструированным специально для тебя маркетинговым отделом.

Разница не в ярмарке — в тебе.

В том, с чем ты пришёл.

В том, на что ты откликаешься — на реальное или на его образ.

Именно это имел в виду тот английский философ, когда говорил о культуре как о религиозном акте.

Не в том смысле, что нужно ходить на концерты классической музыки вместо церкви.

А в том, что подлинная встреча с красотой, как и подлинная встреча с Богом, требует от тебя присутствия.

Не потребления.

Не управления собственными ощущениями.

А присутствия — открытого, незащищённого, готового быть изменённым.

Вот чего китч не допускает никогда: присутствия.

Потому что присутствие — это риск.

А китч продаёт именно безопасность: ощущение без риска, глубину без бездны, встречу без другого.

Декабрь за окном.

Глинтвейн пахнет хорошо.

Рождество настоящее, если ты знаешь, что празднуешь, и это знание что-то в тебе делает.

Если не знаешь — это просто красиво пахнущий декабрь с огнями.

Твой отец

ПИСЬМО XI

О спектакле, или почему всё стало представлением.

О жизни, превратившейся в изображение самой себя, о разнице между существованием и его трансляцией — и о том, что происходит с человеком, который живёт для камеры.

Венеция, февраль — в карнавал.

Мой дорогой мальчик,

Есть один город в мире, который честнее всех остальных говорит о природе нашей эпохи, и говорит это уже несколько столетий, просто мы только недавно начали его понимать.

Это Венеция.

Город, построенный на воде, то есть буквально на том, что не является твёрдой почвой.

Город, главный праздник которого — карнавал: несколько дней в году, когда все надевают маски и притворяются кем-то другим, и это считается не ложью, а традицией.

Город, который сам является своей собственной декорацией: его дворцы отражаются в каналах, и отражение иногда красивее оригинала.

Город, который тонет медленно, неотвратимо, и продолжает при этом продавать билеты на свой закат.

Я приехал сюда в феврале, в самый карнавал, и хожу по площади Сан-Марко среди людей в масках и плащах, и наблюдаю одно и то же:

люди фотографируют друг друга в масках.

Люди фотографируют маски без людей.

Люди фотографируют своё отражение в масках.

Люди фотографируют, как другие люди фотографируют маски.

Никто не смотрит на город.

Все смотрят в экраны.

Карнавал, задуманный как живое переживание, превратился в производство контента о карнавале.

Представление о представлении.

Изображение изображения.

Это и есть то, о чём я хочу написать тебе сегодня.

Не о Венеции.

О структуре реальности, в которой ты живёшь.

О мире, в котором жизнь всё больше становится изображением жизни.

О спектакле.

Что такое спектакль и кто это понял первым

В 1967 году, за год до того, как Париж взорвался студенческими баррикадами, и в этом совпадении есть что-то говорящее, французский мыслитель и провокатор опубликовал небольшую книгу, написанную в жанре философских тезисов.

Он был человеком крайне левых взглядов, радикальным критиком капитализма, бунтарём против всего, что казалось ему ложью буржуазной цивилизации.

Я не разделяю его политических выводов — они завели его, как и многих тогда, в тупик революционного романтизма.

Но его диагноз — один из самых точных, какие когда-либо ставились нашей эпохе.

И этот диагноз с каждым годом звучит всё менее как теория и всё более как буквальное описание того, что происходит.

Книга называлась «Общество спектакля».

Её центральное утверждение можно сформулировать одной фразой, которую я парафразирую:

вся жизнь в обществах, где господствуют современные условия производства, предстаёт как необъятное скопление зрелищ.

Всё, что раньше переживалось непосредственно, отныне отстранилось и стало представлением.

Позволь развернуть это, потому что в сжатом виде это звучит как абстракция, а я хочу, чтобы ты почувствовал, о чём речь, на конкретном.

Раньше, не в смысле «в лучшие времена», а просто хронологически раньше, человек ел еду, потому что был голоден.

Теперь он фотографирует еду перед тем, как есть.

Раньше человек путешествовал, чтобы увидеть место.

Теперь он путешествует, чтобы сфотографировать себя в месте и показать другим, что он там был.

Раньше человек переживал момент.

Теперь он документирует момент для последующего просмотра и при этом пропускает сам момент.

Раньше человек любил.

Теперь он «находится в отношениях», что является, в том числе, социальным статусом, требующим публичного подтверждения.

Раньше человек горевал.

Теперь он публично скорбит с правильными словами, в правильном формате, получая правильное количество знаков сочувствия.

Раньше человек верил.

Теперь он демонстрирует принадлежность к верующим, что является социальной идентичностью, а не обязательно живым опытом.

Спектакль — это не ложь и не притворство в обычном смысле.

Спектакль — это когда изображение реальности заняло место самой реальности.

Когда жить и показывать, что живёшь, стало одним и тем же.

Когда подлинность опыта стала измеряться количеством свидетелей.

Зритель и актёр в одном лице

Тот французский мыслитель различал два момента истории спектакля.

Первый — когда общество производит зрелища для потребления: кино, телевидение, реклама, политические церемонии.

Зритель пассивен, он сидит и смотрит.

Между ним и спектаклем есть дистанция — экран, сцена, расстояние.

Второй момент — когда эта дистанция исчезает.

Когда каждый человек становится одновременно и актёром, и зрителем собственного спектакля.

Когда жизнь организуется не изнутри, из потребностей, из смысла, из призвания, а снаружи: из того, как она будет выглядеть.

Именно это произошло с появлением социальных сетей.

Он не мог этого предвидеть в 1967-м, но написал об этом с такой точностью, что его книга читается сегодня как пророчество, уже сбывшееся.

Посмотри на то, что происходит с человеком, который живёт в логике спектакля.

Он просыпается, и первое, что он делает, — проверяет, что произошло в его отсутствие на тех сценах, где разворачивается его жизнь.

Он завтракает, и если завтрак красив, фотографирует.

Он идёт на прогулку и выбирает маршрут, в том числе по тому, как он будет выглядеть на фотографии.

Он встречается с людьми, и часть его внимания всегда занята тем, как эта встреча может быть рассказана.

Он переживает что-то важное и почти одновременно начинает формулировать, как он об этом напишет.

Он достигает чего-то, и ощущение достижения неполно, пока оно не признано публично.

Это не лицемерие.

Это структурная трансформация опыта.

Человек в обществе спектакля не притворяется, что живёт.

Он действительно живёт.

Но его жизнь организована вокруг своего изображения так глубоко, что изображение и жизнь уже не различаются.

Он не актёр, играющий роль, — он человек, у которого нет «за кулисами».

Вся жизнь — сцена.

Круглосуточно.

Без антракта.

И вот здесь — самое важное последствие, о котором редко говорят.

Когда нет «за кулисами», нет и субъекта, который живёт за кулисами.

Нет внутреннего пространства, в котором ты являешься собой не для кого-то, а просто для себя.

А это пространство, как я писал тебе в письме о человеке без формы, есть единственное место, где строится что-то настоящее.

Где принимаются подлинные решения.

Где происходит работа над собой.

Где возможна встреча с тем, что требует от тебя, а не аплодирует тебе.

Спектакль уничтожает это пространство, но не принудительно, а соблазнительно.

Он предлагает взамен нечто очень приятное: постоянное внимание, постоянное подтверждение, постоянное ощущение, что ты существуешь, потому что тебя видят.

Видят — значит, есть.

Не видят — страшно.

Маска, приросшая к лицу

Один немецкий социолог первой половины XX века, человек, изучавший социальные взаимодействия с такой дотошностью, что иногда кажется, будто он жил не в университете, а за стеклом, наблюдая за людьми как за насекомыми, разработал теорию о том, что вся социальная жизнь есть перформанс.

Что каждый человек постоянно управляет впечатлением, которое он производит, выбирает, что показать, что скрыть, как себя подать.

Это не обязательно сознательно и не обязательно нечестно, это просто структура социального бытия.

Мы всегда немного актёры перед другими.

Это наблюдение было верным, и при этом оно описывало нормальное состояние, при котором человек знал разницу между своей ролью и собой.

За ролью был кто-то, кто роль играл.

Маска была маской, и под ней было лицо.

Спектакль нашей эпохи сделал следующий шаг: маска приросла к лицу.

Человек перестал знать, где роль, а где он сам.

Не потому что он лжец, а потому что непрерывность перформанса была такова, что «за кулисами» постепенно исчезло.

Нет момента, когда снимаешь маску, потому что нет момента, когда нет аудитории.

Телефон всегда с тобой.

Сеть всегда включена.

Зрители всегда потенциально присутствуют.

Я знаю людей, молодых людей, что важно, которые не могут есть без того, чтобы не сфотографировать еду.

Не потому что им нужна фотография, а потому что приём пищи без фотографии ощущается как неполный.

Как будто он не совсем произошёл, если его не зафиксировали.

Я знаю людей, которые во время путешествия думают главным образом о том, какие фотографии они привезут.

Место само по себе — второстепенно.

Доказательство пребывания в месте — первостепенно.

Я знаю людей, которые в момент личного кризиса первым делом открывают телефон — не чтобы позвонить кому-то, кто поможет, а чтобы написать об этом в сети.

Переживание без трансляции кажется им неполноценным.

Это и есть маска, приросшая к лицу.

Это и есть то, что происходит с человеком, всю жизнь прожившим в спектакле.

Что за этим стоит: сущность пустоты

Теперь о том, что, на мой взгляд, стоит за этим на более глубоком уровне.

Человек создан для встречи.

Не для трансляции — для встречи.

Встреча предполагает двух субъектов: тебя и другого.

Она предполагает, что ты приходишь к другому не как исполнитель, а как ты сам — со всей своей неопределённостью, уязвимостью, неоднозначностью.

Встреча рискованна, потому что ты не контролируешь, как тебя воспримут.

Она не имеет гарантированного результата.

Она может изменить тебя, а изменение всегда страшно.

Спектакль — это антивстреча.

Это односторонняя трансляция себя в пространство, населённое не субъектами, а аудиторией.

Аудитория безопаснее, чем другой человек: она реагирует лайками и комментариями, а не живым непредсказуемым присутствием.

Она не задаёт вопросов, которые тебя ломают.

Она не говорит тебе того, что ты не хочешь слышать.

Она не требует от тебя присутствия — только контента.

Именно поэтому люди, живущие в логике спектакля, часто жалуются на одиночество при огромном количестве подписчиков, «друзей», лайков.

Одиночество не лечится количеством зрителей.

Оно лечится только встречей, а встреча требует выхода из спектакля.

Требует снятия маски.

Той, что уже приросла.

И это больно.

Жан Бодрийяр — французский философ, писавший о симулякрах и гиперреальности с той же мрачной точностью, с какой патологоанатом описывает вскрытие, — говорил о том, что в конце концов изображение перестаёт отсылать к какой-либо реальности.

Оно становится самодостаточным.

Знак без означаемого.

Образ без оригинала.

Жизнь, изображающая жизнь, без жизни, которую изображает.

Это звучит абстрактно, но посмотри на человека, который провёл несколько лет в интенсивном онлайн-существовании и постепенно перестал знать, что он думает без помощи ленты, что чувствует без подсказки тренда, кем является без аудитории.

Это и есть живой симулякр.

Это человек, у которого изображение себя съело самого себя.

Как выйти из спектакля практически

Я не предлагаю тебе удалить все аккаунты и уйти в монастырь.

Это было бы и нереалистично, и в каком-то смысле бессмысленно: монастырь, в который уходят из спектакля, а не из любви к тому, что там, — это просто другая декорация.

Спектакль можно устроить и там.

Я предлагаю тебе несколько конкретных вещей.

Не правил, а практик, которые постепенно восстанавливают пространство «за кулисами».

Первое: регулярно делай что-то без свидетелей и специально не документируй.

Не потому что это секрет.

Просто потому что это только твоё.

Прочитанная книга, о которой ты никому не говоришь.

Прогулка без фотографий.

Разговор, который ты не пересказываешь.

Переживание, которое остаётся внутри.

Это восстанавливает ощущение внутреннего пространства — пространства, которое не является сценой.

Второе: задай себе вопрос о любом публичном жесте — о посте, об истории, о фотографии, до того как сделать его:

для кого это?

Что именно я хочу этим сказать?

Это выражение чего-то, что есть во мне, или это управление впечатлением?

Оба ответа допустимы, но их нужно различать.

Управление впечатлением — нормальная часть социального существования.

Но когда оно становится единственным режимом, это уже не социальность, это спектакль.

Третье: периодически проверяй, есть ли у тебя мнения и чувства, которые ты не транслируешь, но не потому что они постыдны, а потому что они твои.

Потому что не всё, что ты думаешь и чувствуешь, предназначено для аудитории.

Человек с внутренним пространством имеет такие мнения и чувства — много.

Человек без него транслирует всё или не имеет ничего, что не было бы предназначено для трансляции.

Четвёртое, и самое важное: ищи встречи, а не аудитории.

Разговор с одним человеком, который действительно тебя слышит и которому ты действительно отвечаешь — без телефона, без отвлечений, без управления впечатлением, — стоит больше тысячи просмотров.

Это не сентиментальный совет, это сущестное утверждение.

Встреча строит тебя.

Спектакль тебя потребляет.

Пятое: время от времени спрашивай себя — кем бы ты был, если бы тебя никто не видел?

Если бы не было никакой аудитории, ни реальной, ни потенциальной?

Что бы ты делал?

Как бы ты жил?

Что было бы важно?

Ответ на этот вопрос — это ты.

Всё остальное — это роль.

Карнавал в Венеции заканчивается в Пепельную среду.

В этот день маски снимают, надевают чёрное, и священник рисует крест из пепла на лбу каждого, кто приходит: *memento mori*.

Помни, что ты умрёшь.

Это не противоположность карнавала, это его смысл.

Карнавал существует, чтобы было что снять.

Маска существует, чтобы под ней было лицо.

Спектакль существует, или должен существовать, чтобы за ним была жизнь.

Когда спектакль становится жизнью, Пепельная среда теряет смысл.

Потому что некому снимать маску.

Потому что маска — это всё, что есть.

Не позволяй этому случиться с тобой.

Твой отец

ПИСЬМО XII

О власти, или как система производит послушных людей.

О Мишеле Фуко, о паноптикуме, о власти без лица и о том, как из тебя делают субъекта прежде, чем ты успеваешь стать личностью.

Где-то между аэропортами, март.

Мой дорогой мальчик,

Я пишу тебе в самолёте, между двумя континентами, в том особом состоянии подвешенности, которое бывает только на высоте десять тысяч метров: ни там, ни здесь, вне обычных координат.

Это хорошее состояние для разговора о власти, потому что именно тогда, когда привычный порядок на время не действует, его хорошо видно.

За несколько часов до посадки в аэропорту я прошёл через то, что стало привычной и потому невидимой последовательностью: сканер, паспортный контроль, проверка багажа, жидкости в прозрачный пакет, снять ремень, снять обувь, поставить портфель, раскинуть руки, пройти, взять вещи, спасибо, следующий.

Тысячи людей проделывают это каждый день — молча, организованно, в полном согласии.

Никто не протестует.

Никто не задаёт вопросов.

Все знают, что нужно делать, и делают это с той особой автоматичностью, которая отличает усвоенную норму от подчинения приказу.

Именно это меня и занимает.

Не то, что в аэропорту проверяют безопасность — это разумно.

А то, насколько легко, незаметно и полно человек встраивается в систему контроля, если эта система достаточно давно существует и достаточно убедительно обоснована.

Как послушание становится второй природой.

Как норма становится невидимой именно потому, что работает.

Мишель Фуко и паноптикум

Французский философ, умерший в 1984 году и оставивший после себя несколько книг, которые изменили то, как мы понимаем связь между знанием и властью, между тем, что считается истиной, и тем, кто имеет право эту истину устанавливать, описал механизм, который я считаю одним из важнейших ключей к пониманию современного мира.

Он взял в качестве отправной точки архитектурный проект XVIII века: тюрьму, спроектированную английским философом-утилитаристом.

Тюрьма называлась паноптикум — «всевидящая».

Идея была проста и гениальна в своей жестокости: круглое здание с камерами по периметру и центральной башней надзирателя в середине.

Из башни можно видеть каждую камеру.

Из камер башни не видно — только силуэт.

Заклѳчѳнный никогда не знает, смотрят на него в данный момент или нет.

Именно это незнание и является механизмом власти: не нужно за тобой следить — достаточно, чтобы ты не был уверен, что за тобой не следят.

Неопределѳнность работает надежнее присутствия.

Философ показал, что паноптикум — это не только тюремная архитектура.

Это принцип, пронизывающий всю современную систему производства послушных людей.

Школа, больница, армия, завод, психиатрическая клиника — все они устроены по принципу, при котором индивидуум находится под постоянным потенциальным взглядом, постепенно усваивает нормативные требования к себе и начинает сам надзирать за собой.

Власть, достигшая совершенства, делает внешний надзор излишним: заключённый сам становится своим тюремщиком.

Это звучит мрачно и является таковым.

Но то, что делает этот анализ особенно важным, это не сам механизм, а его следствие: власть работает не через запрет, а через производство.

Она производит определённый тип субъекта, человека, который думает о себе в терминах, предложенных властью, оценивает себя по критериям, установленным властью, ощущает вину именно за то, за что власть предписывает ощущать вину, и стремится именно к тому, к чему власть предписывает стремиться.

Этот человек несвободен, но не чувствует себя несвободным.

Он просто такой, какой он есть.

Он убеждён, что его желания, его самооценка, его представления о нормальном — его собственные.

Вот что означает «производство субъектов».

Не принуждение извне, а формирование изнутри.

Тюрьма без решёток, потому что решётки стали частью внутренней архитектуры.

Производство согласия

Американский лингвист и политический мыслитель, которого одни считают совестью западной интеллигенции, другие — занудным моралистом, а я считаю

человеком с редкой способностью называть вещи своими именами там, где это неудобно, описал тот же механизм применительно к медиа и политике.

Его термин: «производство согласия».

Идея проста: в обществе, где нельзя использовать прямое принуждение — расстрелять за неправильное мнение, закрыть за инакомыслие, — власть использует более тонкий инструмент: формирование рамки.

Не «думай вот это», а «думай в пределах вот этого».

Не цензура контента — цензура возможных вопросов.

Медиа, образование, культурные институты работают не как инструменты пропаганды в грубом смысле.

Они работают как инструменты, определяющие, что является разумным, что является крайностью, что достойно обсуждения, что является само собой разумеющимся.

Человек, думающий внутри этой рамки, убеждён, что думает свободно, потому что внутри рамки есть пространство для разных мнений.

Он не видит рамки.

Он видит только то, что внутри.

Соединив Мишеля Фуко и этого американца, получаешь полную картину:

система производит субъектов (Фуко) и производит их согласие (американец).

Первый описывает уровень тела и идентичности — как система формирует то, кем ты себя считаешь.

Второй описывает уровень политического мышления — как система формирует то, что ты считаешь возможным и разумным.

Вместе они описывают механизм, который работает без тирана с явным лицом.

Без приказа.

Без принуждения, которое можно назвать и оспорить.

Власть рассеяна.

Она в институциях, в языке, в том, что считается нормальным, в критериях, по которым ты оцениваешь себя каждый день.

Самый тонкий уровень: власть над желанием

Но есть третий уровень, который оба мыслителя затронули, но не развернули полностью, и который я считаю самым важным для нашего разговора.

Самая глубокая власть — не та, что запрещает. И не та, что формирует мнения. Самая глубокая власть — та, что формирует желания.

Та, что определяет, чего ты хочешь, прежде чем ты успел спросить себя, хочешь ли ты этого.

Культурная индустрия, о которой я писал в прошлых письмах, работает именно на этом уровне.

Она не говорит тебе: купи это.

Она создаёт образ человека, у которого это есть, и этот образ становится тем, кем ты хочешь быть.

Она не навязывает тебе желание прямо, она создаёт среду, в которой это желание возникает «само собой», как естественное следствие того, кем ты являешься и кем хочешь стать.

Социальные сети являются самым совершенным на сегодня инструментом этой власти.

Алгоритм не говорит тебе, что думать.

Он наблюдает за тем, на что ты реагируешь, и показывает тебе больше этого.

Постепенно он создаёт твой профиль, не как внешнее описание, а как активную силу, формирующую то, что ты видишь, а значит, и то, о чём ты думаешь, а значит, и то, кем ты постепенно становишься.

Паноптикум XVIII века требовал архитектуры и надзирателей.

Паноптикум XXI века — это телефон в твоём кармане, который знает о тебе больше, чем ты сам, и использует это знание для того, чтобы ты оставался именно таким — предсказуемым, управляемым, потребляющим.

Философ написал о паноптикуме как об архитектуре.

Если бы он был жив сегодня, он написал бы о смартфоне.

Как не быть продуктом системы практически

Теперь о том, что с этим делать.

Потому что я понимаю, что описанное мной звучит как тотальная ловушка, и если оставить разговор здесь, это будет нечестно.

Ловушка не тотальная.

Система формирует, но не определяет окончательно.

Иначе не было бы людей, которые выходят за её пределы.

Иначе не было бы самого Мишеля Фуко, который был сформирован той же системой, которую описал и оспорил.

Иначе не было бы тебя, читающего это письмо, что само по себе уже шаг за рамку.

Первое: называй рамку.

Самый простой и самый действенный способ ослабить власть рамки — увидеть её.

Задавай вопрос не только «что я думаю об этом», но «какие вопросы я не задаю» и «что кажется мне само собой разумеющимся и почему».

Само собой разумеющееся — это всегда продукт чьей-то работы.

Оно не само собой.

Его кто-то разумел.

Второе: замечай, откуда пришли твои желания.

Не в параноидальном смысле, а в честном.

Когда ты чего-то хочешь: этого хочешь ты лично или навязанный образ тебя, которому это должно хотеться?

Это разграничение не всегда возможно провести чётко — но сам навык его проводить уже возвращает тебе часть суверенитета над собственной жизнью.

Третье: культивируй желания, которые система не производит.

Желание понимать что-то трудное.

Желание сидеть в тишине.

Желание быть неудобным собеседником, который задаёт вопросы вместо того, чтобы подтверждать.

Желание делать что-то хорошо, но не для того, чтобы это заметили, а потому что это требует от тебя максимума.

Эти желания система не производит, потому что они не конвертируются в потребление.

Именно поэтому они ценны.

Четвёртое, и самое важное, и богословское по природе, хотя я могу сформулировать его и без богословия:

помни, что ты не являешься продуктом системы окончательно.

В тебе есть нечто, что предшествует любой системе и не является её результатом.

Назови это образом Божиим, или личностью в метафизическом смысле, или просто тем фактом, что ты можешь смотреть на систему изнутри и видеть её как систему, то есть как нечто, у чего есть границы.

Эта способность — смотреть на клетку изнутри и называть её клеткой — и есть признак того, что ты не ограничен ею полностью.

Тюрьма без решёток работает только до тех пор, пока ты не знаешь, что ты в тюрьме.

Когда знаешь — ты уже не совсем внутри.

Самолёт идёт на снижение.

Скоро приземлимся, и я снова войду в обычные координаты.

Паспортный контроль, сканер, штамп.

Система примет меня обратно — аккуратно, привычно, без видимого принуждения.

Я пройду через всё это.

Но я знаю, что происходит.

И это не мало.

Твой отец

ПИСЬМО XIII

О телевизоре и телефоне, или как развлечение убивает мышление.

О масс-медиа как послании, о том, что экран делает с самой способностью думать, и почему это страшнее любой цензуры.

Нью-Йорк, воскресенье.

Мой дорогой мальчик,

В 1985 году американский медиакритик опубликовал книгу с названием, которое я считаю одним из самых точных диагнозов нашей эпохи: «Забавляя себя до смерти».

Он был профессором в Нью-Йорке, человеком умным и тревожным, и тревога его была вполне конкретной: телевидение, которое к тому времени стало главным средством информации американской жизни, не просто показывает плохой контент — оно меняет саму структуру того, как люди думают.

Меняет не содержание мышления, а его форму.

И делает это тихо, постепенно, пока никто не замечает, что что-то изменилось, потому что изменился именно орган, которым это замечают.

Он умер в 2003 году и не увидел смартфона.

Если бы увидел, думаю, он написал бы другую книгу.

С тем же названием, но каждое слово в нём стало бы тяжелее.

Я хочу поговорить с тобой о том, что делают с мышлением экраны.

Не о конкретном контенте, плохом или хорошем, вредном или полезном.

А о самом факте экрана.

О том, что происходит с умом человека, большую часть бодрствующего времени смотрящего в светящийся прямоугольник.

Масс-медиа и послание

Канадский философ масс-медиа, работавший в 1960-х и считавшийся в своё время пророком и чудаком одновременно, сказал фразу, ставшую знаменитой и при этом до сих пор не вполне понятой:

«Масс-медиа есть послание».

Не содержание передачи — сам факт телевидения.

Не то, что говорят по телефону — сам факт телефона.

Форма коммуникации формирует то, что через неё можно сказать, и то, как это воспринимается, независимо от содержания.

Нью-йоркский профессор развернул эту мысль в применении к телевидению с такой дотошностью, что его книга читается как медицинское исследование болезни, которую пациент не замечает именно потому, что болен.

Телевидение, утверждал он, является принципиально развлекательным масс-медиа, не потому что плохие люди решили делать развлекательный контент, а потому что его структура не допускает ничего другого.

Телевизионный образ мгновенен.

Он не требует времени на обработку.

Он апеллирует к эмоции, а не к аргументу.

Он существует в потоке — один образ сменяет другой, и связь между ними не обязательна.

Новости о голоде в Африке, реклама шампуня, репортаж с биржи, сериал, серьёзное интервью с политиком.

Всё это в одном потоке, всё это с одинаковой интонацией «а теперь вот это».

Форма уравнивает содержание.

Серьёзное становится развлечением, не потому что его так подают, а потому что масс-медиа не позволяют ему быть иным.

Когда политика подаётся в формате телевизионного шоу, она становится шоу.

Не в метафорическом, а в буквальном смысле: критерии, по которым оценивают политику, становятся критериями шоу.

Харизма важнее аргумента.

Образ важнее биографии.

Удержание внимания важнее последовательности.

Именно поэтому телевизионная эра породила новый тип политика — не государственного мужа, а шоумена.

Не потому что избиратели плохие.

А потому что телевидение не позволяет увидеть ничего другого.

Что происходит с мозгом

Теперь о том, что происходит с самой способностью мыслить при длительном воздействии экранных масс-медиа.

Здесь я опираюсь не только на нью-йоркского профессора, но и на то, что мы знаем сегодня о работе мозга, а знаем несравнимо больше, чем знали в 1985-м.

Мышление, в том смысле, в котором оно делает человека человеком: способность удерживать сложную идею во времени, прослеживать цепочку рассуждений, замечать противоречие, менять позицию под давлением аргумента, формулировать нечто, чего раньше не было сформулировано, — это навык.

Как физическая мышца, он развивается через упражнение и атрофируется через неупотребление.

Это упражнение требует одного условия, которое экранные масс-медиа систематически разрушают: длительного непрерывного внимания.

Нельзя думать по-настоящему, если каждые несколько секунд внимание переключается.

Нельзя удержать сложную идею, если мозг приучен к потоку коротких стимулов.

Нельзя прийти к выводу, если путь к нему прерывается уведомлением, другим видео, другим постом.

Мозг — орган, оптимизирующий свою работу под то, что требуется.

Если от него требуется длительное сосредоточение на одном, то он развивает эту способность.

Если от него требуется быстрое переключение между множеством коротких стимулов, то он оптимизирует именно это.

И постепенно становится неспособен к первому, но не потому что оно стало невозможным, а потому что перестало быть нужным.

Именно это происходит с человеком, проводящим основную часть времени в потоке контента.

Его мозг становится превосходным инструментом для быстрого потребления коротких стимулов и плохим инструментом для медленного мышления.

Это не его вина.

Это результат тренировки.

Нью-йоркский профессор написал об этом применительно к телевидению сорок лет назад.

Телевидение давало средний видеоклип длиной несколько минут и средний рекламный ролик длиной тридцать секунд.

Сегодня средняя длина видео в наиболее популярных форматах — пятнадцать секунд.

Мы движемся не в том направлении, и движемся быстро.

Есть ещё одно следствие, о котором говорят реже:

когда мышление атрофируется, то его место занимает что-то другое.

Не пустота, потому что пустота невыносима и мозг её не допускает.

Место мышления занимает реакция.

Быстрая, эмоциональная, нерелексивная.

Ты видишь и у тебя немедленно есть мнение.

Ты слышишь и у тебя немедленно есть позиция.

Не потому что ты думал, а потому что у тебя сработал усвоенный шаблон.

Мнение без мышления — это именно то, что производит телевидение, и то, что доводит до совершенства смартфон.

Человек, живущий в этом режиме, убеждён, что у него есть взгляды, потому что у него есть реакции.

Он не понимает, что реакция и взгляд — разные вещи.

Взгляд строится.

Реакция случается.

Взгляд можно оспорить, потому что за ним есть аргументы.

Реакцию нельзя оспорить, потому что за ней нет ничего, кроме ощущения.

Телефон как тотальное масс-медиа

Всё, что я сказал о телевидении, верно для смартфона, но в степени, которую профессор из Нью-Йорка не мог себе представить.

Потому что телевизор стоял в гостиной и работал несколько часов в день.

Смартфон же — в кармане круглосуточно.

Телевизор был пассивным.

Ты смотрел.

Смартфон интерактивен.

Ты реагируешь, публикуешь, комментируешь, оцениваешь, создаёшь.

Это иллюзия активности, потому что всё это происходит внутри структуры, созданной другими и оптимизированной не для твоего развития, а для твоего вовлечения.

Телевизор не знал тебя.

Смартфон знает лучше, чем большинство людей в твоей жизни.

Он знает, на что ты реагируешь, что тебя задерживает, что заставляет листать дальше, что вызывает злость, что вызывает зависть, что вызывает удовлетворение.

И использует это знание с одной целью: чтобы ты оставался внутри как можно дольше.

Потому что твоё внимание — это товар, который продаётся рекламодателям.

Каждая минута твоего внимания имеет цену.

Именно поэтому дизайн этих систем оптимизируется не под твоё благо, а под твою вовлечённость.

Это разные вещи.

Порой противоположные.

Один из людей, создававших эти системы изнутри и впоследствии публично от них отрёкшийся, бывший специалист по этике дизайна одной из крупнейших технологических компаний, сказал фразу, которую я запомнил:

«Горстка людей в Кремниевой долине принимает решения, от которых зависит, о чём думает миллиард человек».

Это не конспирология, это просто описание факта.

Те, кто создаёт ленту, решают, что в ней появляется.

Те, кто настраивает алгоритм, решают, что ты видишь.

Те, кто проектирует уведомления, решают, когда тебя прерывают.

Ты внутри чужой архитектуры и принимаешь её за собственное сознание.

Прибавь к этому одно наблюдение, которое я считаю самым важным из всего, что мы знаем о воздействии экранов на мышление:

смартфон разрушает не только способность думать длинно.

Он разрушает способность быть наедине с собой.

А именно наедине с собой, в тишине, без стимулов, без повестки рождаются оригинальные мысли.

Именно там ты задаёшь себе вопросы, которые никто другой не задаст.

Именно там происходит работа, которую нельзя делегировать ни алгоритму, ни учителю, ни советчику.

Работа по превращению опыта в понимание.

Если это пространство постоянно заполнено — оно перестаёт существовать.

И вместе с ним перестаёт существовать та часть тебя, которая жила только там.

Что это значит для способности верить, любить и думать

Здесь я хочу сказать нечто, что может показаться неожиданным.

Деградация мышления, производимая экранными масс-медиа, бьёт не только по интеллекту.

Она бьёт по способности к вере, к любви и к нравственной жизни, потому что все три требуют того же, что требует мышление: длительного, сосредоточенного, непрерывного внимания.

Вера — не набор утверждений, которые ты принял.

Вера — живые отношения с тем, что больше тебя.

Отношения требуют времени, внимания, готовности оставаться в присутствии даже тогда, когда это неудобно, неинтересно, не даёт немедленного результата.

Молитва — это противоположность прокрутке содержимого на экране смартфона.

Она требует от тебя оставаться в одном месте, с одним содержанием, без переключения именно тогда, когда всё в тебе хочет переключиться.

Именно поэтому она трудна, и именно поэтому она формирует то, что прокрутка разрушает.

Любовь — не чувство, которое случилось.

Любовь — внимание, направленное на конкретного человека.

Полное, длительное, готовое принять скуку, трудность, непохожесть.

Человек, приученный к постоянному переключению внимания, не умеет любить в этом смысле, не потому что не хочет, а потому что у него нет необходимого инструмента.

Его внимание работает вспышками.

Любовь требует луча.

Нравственная жизнь — это способность замедлиться перед выбором достаточно надолго, чтобы спросить: что здесь правильно?

Не что выгодно, не что удобно, не что немедленно приятно, а что правильно.

Этот вопрос требует паузы.

Экранные масс-медиа системно уничтожают паузу.

Они оптимизируют скорость реакции, а не глубину рефлексии.

Как не дать этому убить твой ум

Несколько конкретных вещей, но не режим аскезы, а практика сопротивления.

Первое и самое важное: верни себе право на скуку.

Скука — это не патология и не сигнал к немедленному развлечению.

Скука — это состояние, в котором внешняя стимуляция отключена и ум предоставлен сам себе.

Именно в этом состоянии, при длительном пребывании в нём, начинают происходить вещи, которые не происходят никогда при постоянном потоке стимулов: ум начинает видеть связи, формулировать вопросы, приходить к пониманиям.

Это не метафора.

Это буквально то, что происходит в мозге при отсутствии внешней нагрузки.

Называется «режим умолчания».

Именно он является источником творчества, самопознания и подлинной мысли.

Не убивай его уведомлением каждый раз, когда он начинается.

Второе: читай длинное.

Не потому что длинное лучше короткого само по себе, а потому что чтение длинного текста, требующего удержания нити на протяжении часов, тренирует именно ту способность, которую экраны разрушают.

Один роман в месяц, прочитанный с полным вниманием, без параллельного просмотра смартфона, без остановки на каждой интересной цитате для немедленного репоста, стоит больше, чем сотня статей, проглоченных в ленте.

Третье: имей время без экрана ежедневно.

Не в виде наказания — в виде гигиены.

Утро до первого взгляда на телефон.

Или вечер после последнего.

Или прогулка без наушников и без экрана.

Это время не потерянное.

Это время, в которое происходит то, что не может произойти иначе.

Четвёртое: различай потребление и мышление.

Читать новости — не мышление.

Смотреть видео — не мышление.

Даже читать умные тексты — не обязательно мышление, если ты потребляешь их пассивно.

Мышление — когда ты берёшь прочитанное и делаешь с ним что-то: возражаешь, соглашаешься и объясняешь почему, применяешь к конкретной ситуации, соединяешь с чем-то другим, записываешь собственную формулировку.

Именно поэтому письмо в любой форме есть лучший инструмент мышления из всех существующих.

Оно требует от тебя сформулировать.

А формулирование — это не запись готовой мысли.

Это её рождение.

Пятое: помни, что внимание — это не только психологический ресурс. Это нравственная категория.

То, чему ты уделяешь внимание, становится частью тебя.

То, чем ты занимаешь свой ум ежедневно, формирует то, каким человеком ты становишься.

Нью-йоркский профессор был прав:

мы забавляем себя до смерти.

Не биологической — духовной.

До смерти способности думать, сомневаться, удивляться, верить, любить.

Всего того, что делает человека человеком, а не потребителем контента.

Телевизор стоит в гостиной. Телефон — в кармане.

Выключить первый было просто: встал и нажал кнопку.

Со вторым сложнее.

Он не просто в кармане.

Он уже частично в голове.

Именно поэтому работа по его ограничению — это не технический вопрос.

Это вопрос о том, кем ты хочешь быть.

И это — единственный вопрос, который всегда стоит задавать.

Твой отец

ПИСЬМО XIV

О мифах повседневности, или как реклама формирует твои желания.

О натурализации искусственного, о том, как рекламный образ становится картиной мира и почему самая опасная ложь та, которая выглядит как очевидность.

Париж, май — в городе, где реклама стала искусством, а искусство стало рекламой.

Мой дорогой мальчик,

В 1957 году французский критик и семиотик, человек редкостной способности видеть то, что спрятано на самом виду, опубликовал небольшую книгу, которую назвал «Мифологии».

В неё вошли короткие эссе о борьбе, о маргарине, о новом «Ситроене», о рекламе мыла для стирки, о детских игрушках, о туристических путеводителях.

Каждое эссе было анализом какого-нибудь привычного, повседневного, «незначительного» явления, и каждое показывало, как внутри этого явления спрятан миф: система значений, которая выдаёт себя за природу.

Это была революционная идея, и при этом описывала нечто, что мы переживаем каждый день, просто не замечаем.

Миф, утверждал он, это не выдумка и не сказка.

Миф — это то, что превращает историческое в природное.

То, что было кем-то создано, когда-то введено, в чьих-то интересах сформировано и стало выглядеть как само собой разумеющееся, как «просто то, как оно есть».

Именно об этом я хочу написать тебе сегодня.

О механизме, который работает в рекламе, в политическом языке, в новостях, в дизайне городской среды — повсюду, где кто-то хочет, чтобы ты думал и желал определённым образом, не осознавая, что тебя к этому подводят.

Как работает миф

Позволь начать с конкретного примера, потому что абстрактный анализ здесь менее убедителен, чем наглядная демонстрация.

Реклама стирального порошка — один из разборов того самого французского критика.

На поверхности — просто информация о продукте: порошок такой-то отстирывает лучше.

Но посмотри глубже.

Реклама показывает чистое бельё, и это бельё несёт в себе образ: чистота как ценность, как достижение, как признак правильной жизни.

Чистота ребёнка — это забота матери.

Забота матери — это любовь.

Любовь — это семья.

Семья — это основа всего.

Всё это не сказано прямо, это показано через образ белого листа на ветру.

И этот образ работает не как аргумент, требующий обдумывания, а как миф, вызывающий немедленное узнавание.

Да, именно так.

Конечно.

Это правильно.

Никто не сказал тебе, что связь между этим порошком и правильной жизнью — конструкция.

Что кто-то сидел в офисе и специально подбирал образы, которые вызовут именно этот набор ассоциаций.

Что концепция «заботливой матери» была намеренно использована для продажи химического продукта.

Тебе не сказали.

Тебе показали.

И показанное стало частью твоего представления о правильной жизни так же незаметно, как грамматика родного языка становится частью твоего мышления: ты пользуешься ею, не зная её правил.

Это и есть натурализация.

Превращение конструкта в природу.

Превращение исторического (кто-то это придумал в определённый момент в определённых целях) в естественное (это просто то, как оно есть).

Архитектура рекламного мифа

Современная реклама работает значительно тоньше, чем реклама 1957 года.

Она научилась у того самого критика и у его последователей.

Она больше не говорит тебе: «купи это, потому что это хорошо».

Она говорит тебе:

— «купи это, потому что люди вроде тебя именно это и покупают»,

— «купи это, потому что это означает, кем ты являешься»,

— «купи это, потому что это поможет тебе стать тем, кем ты на самом деле хочешь быть».

Это уже не реклама продукта.

Это реклама идентичности.

Продукт является символом, через который ты приобретаешь принадлежность к определённому образу человека.

Ты не покупаешь кроссовки, но ты покупаешь принадлежность к культуре, которую эти кроссовки обозначают.

Ты не покупаешь кофе в определённой кофейне, но ты покупаешь образ человека, который знает правильный кофе.

Ты не покупаешь электромобиль, но ты покупаешь принадлежность к людям, которые думают о будущем.

Жан Бодрийяр — французский философ, которого я упоминал в письме о спектакле, — назвал это «потреблением знаков»: люди покупают не вещи, а значения, которые вещи несут.

Это не новое наблюдение.

Роскошь всегда была знаком статуса.

Новое в том, что теперь каждая покупка, даже самая мелкая, стала символической.

Марка шампуня говорит о тебе что-то.

Марка кофе говорит.

Марка телефона говорит.

Одежда, в которой ты ходишь в спортзал, говорит.

Даже способ упаковки продуктов, которые ты выбираешь в супермаркете, говорит о твоих ценностях, о твоей идентичности, о том, к какой группе людей ты принадлежишь.

Это значит, что весь процесс потребления превратился в процесс самопредъявления.

Ты не просто покупаешь нужное, но ты постоянно говоришь миру (и себе), кем являешься, через то, что покупаешь.

И за этим говорением стоит вся мощь рекламной индустрии, тщательно конструирующей смыслы, которые ты будешь воспроизводить каждый раз, когда сделаешь «свободный» выбор на полке супермаркета.

Мифология успеха — самый мощный миф нашей эпохи

Но реклама — это только верхний слой.

Под ней находятся мифы куда более мощные, потому что они уже не воспринимаются как реклама.

Они воспринимаются как очевидности.

Как здравый смысл.

Как то, с чем согласны все нормальные люди.

Самый мощный из них — миф об успехе.

Успех в нашей культуре имеет вполне конкретные признаки, которые настолько очевидны, что их почти никто не замечает как конструкт:

деньги, видимость, влияние, молодость тела, правильный партнёр, правильное жильё, правильный досуг.

Этот набор не является вечным.

Он сформировался в XX веке, в послевоенную эпоху потребительского общества и был тщательно закреплён рекламой, кино, журналами и, позже, социальными сетями.

Но он настолько полно вошёл в культуру, что большинство людей не могут помыслить иного образа успеха.

Или помыслить его могут, но стыдятся: это кажется наивным, нереалистичным, «не от мира сего».

Посмотри на то, что этот миф делает с жизнью.

Человек просыпается в тридцать лет или в сорок и понимает, что живёт жизнью, которую он выбрал не потому, что это его жизнь, а потому что это была правильная жизнь по стандартам среды.

Он получил нужный диплом, потому что это диплом, который «открывает двери».

Он работает в нужной индустрии, потому что она «престижна».

Он живёт в нужном районе, потому что это «статусно».

Он ведёт нужный образ жизни, потому что именно этот образ жизни транслируется как достойный.

И вот он просыпается в тридцать или в сорок и не может ответить на вопрос:
а я хотел этого?

Именно этого, а не того, что положено хотеть?

Это и есть работа мифа:

ты живёшь внутри него и думаешь, что проживаешь свою жизнь.

Тот же французский критик заметил, что миф работает именно через то, что кажется естественным.

Если тебе нужно объяснять, почему что-то хорошо, то это уже не миф, это аргумент.

Миф работает тогда, когда объяснение не нужно.

Когда ты просто знаешь, знаешь так, как знаешь, что небо голубое.

Молодость — хорошо.

Богатство — хорошо.

Видимость — хорошо.

Разнообразие — хорошо.

Рост — хорошо.

Это не аргументы.

Это очевидности.

Но очевидности, которые кто-то очень тщательно строил.

Политический миф, или когда реклама становится властью

Реклама работает с желаниями.

Политический миф работает с реальностью, или вернее, с тем, что ты принимаешь за реальность.

Политический язык нашей эпохи насквозь мифологичен — и правый, и левый, и либеральный, и консервативный.

Каждая политическая сила производит свой набор образов, в которых исторические конструкты выдаются за природу.

«Прогресс» — очевидно хорош, потому что он прогресс.

«Традиция» — очевидно ценна, потому что она традиция.

«Народ» — безусловно мудр.

«Элита» — безусловно продажна.

«Рынок» — естественно эффективен.

«Государство» — неизбежно бюрократично.

Ни одно из этих утверждений не является само собой разумеющимся.

Каждое является результатом долгой работы по производству «очевидного».

Именно поэтому политическая дискуссия в нашу эпоху так часто является не столкновением аргументов, сколько столкновением мифов:

люди не спорят о фактах и выводах — они живут в принципиально разных картинах мира, каждая из которых кажется её носителю очевидной реальностью, а не конструктом.

Договориться невозможно, но не потому что люди злонамеренны, а потому что они говорят из разных мифологических систем и не знают об этом.

Как распознать миф и что с ним делать

Инструмент критика состоит не в том, чтобы разрушить все мифы — это невозможно и не нужно.

Мы живём в языке, который является мифологическим по природе: образы, метафоры, очевидности — необходимая часть человеческого существования.

Нельзя мыслить только в чистых понятиях, из которых изъята всякая смысловая нагрузка.

Инструмент состоит в другом:

в способности замечать, когда историческое выдаёт себя за природное.

Когда конструкт притворяется очевидностью.

Когда чьи-то интересы прячутся за «здравым смыслом».

Первый признак мифа: он не терпит вопроса «почему именно так?»

Попробуй задать этот вопрос к любой очевидности, и ты либо получишь растерянность («ну, это же очевидно»), либо агрессию (потому что вопрос воспринимается как покушение на реальность), либо, если тебе повезло с собеседником, начало настоящего разговора.

Вопрос «почему именно так, а не иначе?» — это первый инструмент демифологизации.

Второй признак: миф всегда работает через образ, а не через аргумент.

Образ действует на тебя прежде, чем ты успел подумать.

Ты видишь — и уже знаешь, как к этому относиться.

Замедлись в этом «уже знаю» и спроси:

откуда я это знаю?

Что именно в этом образе сформировало моё немедленное знание?

Кто создал этот образ и для чего?

Третий признак: миф всегда говорит что-то о том, кем тебе следует быть, что тебе следует хотеть, как тебе следует жить.

И говорит это так, как будто это не предписание, а описание.

Не «ты должен хотеть этого», а «все нормальные люди хотят именно этого».

Не «правильная жизнь выглядит так», а «успешная жизнь выглядит так», и успех здесь работает как эквивалент правильности.

Задай себе вопрос:

а кто решил, что это успех?

В чьих интересах было именно так определить это слово?

Четвёртый, и самый трудный: замечай, когда твои собственные желания являются продуктом мифа.

Не «его желания ложные, а мои настоящие» — это было бы самонадеянностью.

Все мы живём внутри мифологических систем и не можем полностью выйти из них.

Но разница между человеком, живущим внутри мифа бессознательно, и человеком, живущим в нём с осознанием, — огромная.

Первый является объектом.

Второй — субъектом, который видит рамку и может, по крайней мере, задать вопрос: а что за ней?

Один практический навык, который я рекомендую:

когда ты чего-то очень хочешь, особенно чего-то, что является статусным, видимым, социально одобряемым, остановись на секунду и спроси:

это я хочу или образ меня, которому это должно хотеться?

Это не значит, что твое желание ненастоящее, если оно совпадает с тем, чего «все хотят».

Но это значит, что стоит проверить.

Потому что желание, прошедшее проверку и оставшееся желанием, — твое.

А желание, которое никогда не проверялось, может оказаться чужим, просто въехавшим в тебя на красивом образе.

Миф и подлинное желание

Последнее, что я хочу сказать, о том, что стоит за всем этим разговором на уровне, который мне важнее всего.

Реклама работает потому, что у человека есть желания.

Настоящие, глубокие, существенные желания —

желание смысла, принадлежности, признания, любви, бессмертия в каком-то смысле.

Реклама не создаёт эти желания.

Она перехватывает их.

Она говорит:

— вот предмет, который даст тебе то, чего ты на самом деле хочешь.

Купи — и будешь принят.

Купи — и будешь любим.

Купи — и будешь жить правильно.

Купи — и смерть не так страшна, потому что ты оставишь след.

Это грандиозная подмена, и она работает именно потому, что апеллирует к настоящему.

Желание смысла — настоящее.

Желание принадлежности — настоящее.

Желание любви — настоящее.

Но предмет потребления не может их удовлетворить.

Не потому что он плохой, а потому что он предмет потребления, а желания, которые он обещает удовлетворить, требуют другого:

отношений, роста, веры, бескорыстного действия, встречи с тем, что больше тебя.

Именно поэтому потребление не насыщает, и именно на этом ненасыщении строится вся экономика.

Ты купил — и не получил того, что обещало изображение.

Но не потому что купил не то, а потому что купил.

Следующая покупка обещает то же самое — ты снова веришь.

Это не глупость.

Это подлинное желание, направленное в ложное русло с огромным профессионализмом.

Святой Августин, о котором я говорил в письме о мещанском счастье, сказал об этом точнее, чем кто-либо другой, и сказал это полторы тысячи лет назад, когда не было ни телевизора, ни смартфона, ни стриминга, ни алгоритмов:

«Сердце человека беспокойно, пока не успокоится в Боге».

Реклама — это индустрия, построенная на эксплуатации этого беспокойства.

Она не может его утолить, но она умеет предлагать заменители с такой убедительностью, что человек снова и снова принимает замену за оригинал.

Задача — видеть это.

Не для того, чтобы перестать покупать всё подряд.

Это не аскетизм ради аскетизма.

А для того, чтобы знать, чего ты на самом деле хочешь.

Потому что когда ты знаешь — заменитель теряет власть.

Не сразу, не навсегда, не полностью, но теряет.

Это и есть то, что тот французский критик называл «демифологизацией»:

не уничтожение мифа, а его разоблачение.

Увидеть сконструированное как сконструированное и тогда, по крайней мере, выбирать осознанно, а не просто воспроизводить чужую систему значений как свою собственную жизнь.

Париж за окном.

Реклама на каждом углу.

Красивая.

Убедительная.

Обещающая именно то, чего ты хочешь.

Знай, чего ты хочешь на самом деле, и тогда она не сможет тебя обмануть.

Твой отец



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Цифровой хам, как новейший тип.

ПИСЬМО XV

О соцсетях, или как алгоритм стал твоим духовником.

О том, кто теперь отвечает на вопрос «кто я такой», о замене совести алгоритмом, о исповеди публичной вместо тайной и о том, что теряется, когда духовное руководство переходит к машине.

Монастырь на границе, тишина.

Мой дорогой мальчик,

Я пишу тебе из необычного места — небольшого монастыря в горах, куда я приехал на несколько дней просто чтобы помолчать.

Здесь нет интернета намеренно.

И это не случайное неудобство, а принципиальное устройство.

Монахи знают, что они делают: они знают, что определённые вещи происходят только в тишине и только без того, чтобы кто-то смотрел.

Первые два дня я чувствовал что-то похожее на тревогу — привычку проверять, обновлять, смотреть, что произошло в моё отсутствие.

На третий день тревога прошла.

И в тишине, которая открылась, я стал думать о том, о чём пишу тебе сейчас.

В христианской традиции есть институт, который в разных формах существовал во всех великих религиях мира, — духовный наставник.

Старец. Духовник.

Человек, которому ты доверяешь руководство своей внутренней жизнью, но не потому, что он обладает властью над тобой, а потому, что он дальше прошёл по пути, который ты только начинаешь, и потому, что он видит тебя.

Не образ тебя, а тебя.

Видит твои слабости без осуждения и твои силы без лести.

Говорит тебе правду, которую ты не хочешь слышать.

Молчит, когда слова были бы лишними.

Помогает тебе различить в себе самом, что от Бога, что от мира, что от тебя самого в худшем смысле.

Это был один из самых ценных институтов, которые когда-либо существовали в человеческой культуре.

И сегодня он почти полностью вытеснен другим институтом, который выполняет ту же функцию, но иначе, с иными целями и с иными последствиями.

Этот институт называется алгоритм социальных сетей.

Я понимаю, что это звучит как преувеличение.

Позволь объяснить, почему это не так.

Что делает духовник и что делает алгоритм

Духовник отвечает на три фундаментальных вопроса, которые человек задаёт себе на протяжении всей жизни: «Кто я такой?», «Что я должен делать?», «Куда я иду?».

Эти вопросы не риторические.

Они практические.

Ответы на них определяют, как ты живёшь каждый день: как относишься к себе, к другим, к своим решениям, к своим ошибкам.

Традиционный духовник отвечал на эти вопросы из глубины традиции, из личного духовного опыта и из знания тебя как конкретного человека.

Его ответы могли быть неудобными.

Они требовали от тебя чего-то.

Они не подстраивались под твои ожидания, они говорили тебе правду, даже когда правда была горькой.

Алгоритм тоже отвечает на эти три вопроса, но по-другому.

Кто ты такой?

Ты тот, кто лайкает вот это и пролистывает вот то.

Ты — совокупность твоих реакций, твоих задержек, твоих кликов.

Алгоритм строит твой профиль, модель тебя, с точностью, которая иногда пугает самих его создателей.

И эта модель начинает обратно влиять на тебя: ты видишь контент, подобранный для «такого человека, как ты», и постепенно становишься ещё более похожим на эту модель.

Алгоритм создаёт нового тебя — того, которого он собрал из твоих же данных.

Это замкнутый круг идентичности, из которого трудно выйти, потому что ты не видишь его границ.

Что ты должен делать?

То, что делают люди вроде тебя.

Алгоритм показывает тебе не то, что правильно или что важно, а то, что близко к тому, что ты уже делал.

Это не руководство к росту, это руководство к воспроизведению.

Духовник мог сказать тебе: «Иди туда, куда тебе страшно».

Алгоритм говорит: «Оставайся там, где тебе привычно».

Куда ты идёшь?

В том направлении, в котором движется твоя лента.

Которая движется туда, куда нужно рекламодателям, которые платят за твое внимание.

Которые платят именно за то, чтобы ты оставался внутри.

Это не направление роста, не направление к смыслу, не направление к Богу.

Это направление максимальной вовлечённости, что является синонимом максимальной управляемости.

Исповедь публичная и исповедь тайная

В христианской традиции исповедь — таинство тайное.

Ты говоришь о себе правду в присутствии священника, и это присутствие важно, потому что слово, сказанное вслух другому человеку, имеет иную силу, чем слово, сказанное только себе.

Но это тайна.

Никто, кроме тебя и Бога, не знает.

Именно эта тайна создаёт условие для подлинной честности: ты можешь сказать самое страшное, самое стыдное, самое неприглядное, и это не станет частью твоей публичной идентичности.

Ты свободен быть честным именно потому, что это не зрелище.

Социальные сети предлагают нечто структурно противоположное: публичное самопредъявление.

Ты говоришь о себе, но не всё и не честно.

Ты говоришь то, что хочешь, чтобы о тебе знали.

То, что тебя покажет в выгодном свете.

То, что вызовет нужную реакцию.

И ты получаешь обратную связь — немедленную, измеримую, в виде лайков, комментариев, репостов.

Эта обратная связь становится новым критерием самооценки:

не «кем я являюсь на самом деле», а «как меня воспринимают».

Это замена исповеди самопрезентацией.

Замена честности перед Богом — управлением репутацией перед аудиторией.

Замена тайны — спектаклем.

Замена роста — одобрением.

И вот что важно понять:

оба процесса работают с одним и тем же исходным материалом — с твоей потребностью быть увиденным, признанным, принятым.

Эта потребность настоящая и глубокая.

Духовная традиция говорит: она удовлетворяется в отношении с Богом, который видит тебя насквозь и принимает тебя не потому, что ты показал Ему лучшую версию себя, а потому, что Он знает тебя до дна.

Социальные сети говорят: она удовлетворяется лайком.

Это не то же самое.

Но это быстрее, привычнее и не требует ничего, кроме хорошей фотографии.

Направление формирования: духовник и алгоритм

Духовный наставник в традиции работал на увеличение твоей свободы — внутренней свободы.

Его задача была не сделать тебя удобным членом общества, не закрепить в тебе то, что уже есть, а помочь тебе освободиться от того, что тебя держит: от

страха, от привычного греха, от ложного образа себя, от зависимости от чужого мнения.

Парадоксально, но духовное руководство делало тебя менее предсказуемым и менее управляемым, потому что свободный человек труднее поддается манипуляции.

Алгоритм работает в противоположном направлении.

Его задача — предсказуемость.

Он хочет знать тебя настолько хорошо, чтобы предсказать твою следующую реакцию и поместить перед тобой именно тот стимул, который вызовет нужный отклик.

Чем точнее он тебя знает, тем более управляемым ты становишься.

Управляемость — не злой умысел: это просто экономическая необходимость.

Предсказуемый пользователь — прибыльный пользователь.

Свободный пользователь — непредсказуемый.

Непредсказуемый — неудобный.

Это значит, что алгоритм системно работает против свободы, но не из ненависти к ней, а из равнодушия к ней.

Свобода просто не входит в список его оптимизируемых параметров.

Что теряется: безмолвие и различие

В монастыре, где я сейчас нахожусь, утро начинается в четыре часа утра.

Монахи встают, идут в церковь, стоят в темноте и поют.

Не потому, что им весело, но потому, что это их правило.

Потому, что это то время и то состояние, в котором происходит нечто, что не происходит в другое время и в другом состоянии.

Великая традиция христианского исихазма — молчаливчества — говорит о том, что подлинное самопознание происходит только в безмолвии.

Не потому, что молчание само по себе ценно, а потому, что в шуме невозможно услышать то, что тихо.

Голос совести — тих.

Голос призвания — тих.

Голос Бога — тих, если верить Илии, который искал Бога в буре и огне, а нашёл в тихом дыхании.

Шум заглушает тихое, и мы начинаем думать, что тихого нет, потому что его не слышно.

Социальные сети — это машина производства шума.

Не злонамеренно.

Структурно.

Тишина не монетизируется.

Безмолвие не производит вовлечённости.

Различение — медленный, внутренний, невидимый снаружи процесс, который не конвертируется в контент.

Поэтому система производит противоположное: скорость, реакцию, внешнее, видимое, немедленное.

Способность различения — это способность отличать в себе движения, идущие от Бога, от движений, идущих от страха, тщеславия, привычки или внешнего давления.

Это самая тонкая и самая необходимая из всех духовных способностей, потому что без неё невозможно принять ни одного по-настоящему важного решения.

Она развивается медленно, в тишине, через долгое внимание к себе, и разрушается быстро, в шуме, через привычку реагировать вместо того, чтобы различать.

Человек, потерявший способность к различению, не может ответить на вопрос, что он на самом деле хочет, потому что он не слышит себя за шумом.

Он следует самому громкому.

Самому настойчивому.

Самому убедительному изображению.

И называет это своим выбором.

Как вернуть себе духовное руководство

Я не говорю тебе удалить все аккаунты и найти старца в монастыре.

Хотя старца в монастыре — рекомендую, если такой найдётся.

Я говорю о нескольких конкретных вещах, которые восстанавливают то, что алгоритм разрушает.

Первое: культивируй тишину намеренно.

Не как наказание, а как практику.

Двадцать минут утром без телефона до того, как ты открыл ленту.

Это время не для продуктивности и не для медитации в современном смысле слова.

Это время, в котором ты можешь услышать себя.

Что в тебе есть до того, как тебе показали, что должно быть.

Второе: веди дневник или что-то функционально ему подобное.

Не для публикации.

Для себя.

Запись, которую никто не увидит, работает иначе, чем пост в сети: ты не управляешь впечатлением — ты пытаешься понять.

Это и есть форма самопознания, недоступная в публичном пространстве.

Дневник — это исповедь без отпущения, но иногда именно процесс высказывания правды себе важнее отпущения.

Третье: ищи живого собеседника для важных внутренних вопросов.

Не в комментариях.

В реальной встрече с конкретным человеком, которому ты доверяешь и который готов говорить с тобой честно.

Это не обязательно священник или психолог.

Это может быть друг, старший человек, наставник.

Кто угодно, кто знает тебя и не заинтересован в твоём одобрении.

Такой человек редок и именно поэтому ценен.

Четвёртое: регулярно задавай себе вопрос, который алгоритм никогда не задаст:

кем бы я был без этого?

Что во мне осталось бы, если бы убрать всё, что сформировано внешним давлением, одобрением, страхом исключения?

Что является моим, в смысле «данным мне от рождения» или «выращенным в подлинном опыте», а что является продуктом системы?

Граница никогда не будет чёткой.

Но сам навык задавать этот вопрос постепенно возвращает тебе авторство собственной жизни.

Пятое, богословское по природе, но скажу его обычными словами:

помни, что ты видим кем-то, кто видит тебя полностью и принимает тебя не за лайки.

Это утверждение требует веры, и я не могу доказать его аргументом.

Но если оно истинно, то оно полностью меняет отношение к потребности в чужом одобрении.

Потребность в признании не исчезает, но она находит то, что может её настоящему удовлетворить.

И тогда лайк остаётся просто лайком — приятным, но не определяющим.

Монахи здесь встают в четыре часа утра не потому, что они мазохисты.

Они встают потому, что знают: есть нечто, что происходит только в это время и в этом состоянии.

И это нечто важнее сна.

Важнее удобства.

Важнее того, как это выглядит снаружи, а снаружи это выглядит странно, я понимаю.

Алгоритм никогда не скажет тебе встать в четыре часа утра.

Он скажет тебе посмотреть ещё одно видео.

Ещё один пост.

Ещё одну историю.

Ещё немного.

Знай, кто твой духовник. И выбери его сам.

Твой отец

ПИСЬМО XVI

***О надзоре, или что они знают о тебе и как это
используется.***

О надзорном капитализме, о поведенческих фьючерсах, об асимметрии знания как новой форме власти и о том, почему это не паранойя, а точное описание экономики, в которой ты живёшь.

Лондон, туманное утро.

Мой дорогой мальчик,

Позволь начать с одного конкретного момента, который случился несколько месяцев назад и который я не могу забыть.

Я разговаривал с другом — вживую, за столом, без телефонов.

Мы говорили о том, что он планирует поехать в Швейцарию.

Ни один из нас не брал телефон в руки во время разговора.

Через несколько часов, когда я всё-таки открыл одно из приложений, первое, что я увидел, была реклама авиабилетов в Цюрих и предложения гостиниц в Лугано.

Я провёл следующие полчаса, пытаюсь понять, как это произошло.

Телефон лежал рядом, возможно, микрофон был активен.

Возможно, совпадение.

Возможно, алгоритм вычислил это из косвенных признаков: из того, что мой друг недавно искал Швейцарию, а наши устройства связаны геолокацией.

Точного ответа у меня нет.

Но у меня есть ощущение, и оно точнее любого технического объяснения:

система знает обо мне больше, чем я ей говорил.

И использует это знание прежде, чем я успел это осознать.

Вот об этом письмо.

Не о паранойе, а о точном описании того, как устроена экономика, в которой ты живёшь.

Потому что то, что происходит, имеет имя и логику.

И понять их необходимо не для того, чтобы в ужасе закрыться от мира, а для того, чтобы жить в нём с открытыми глазами.

Что такое надзорный капитализм

Американский учёный — женщина, посвятившая последние двадцать лет жизни изучению того, как крупнейшие технологические компании используют данные о людях, — дала этому явлению имя, которое я считаю лучшим из всех предложенных: надзорный капитализм.

Её книга с этим названием вышла в 2019 году и является самым подробным и самым тревожным документом о природе цифровой экономики, который я читал.

Надзорный капитализм, в её определении, — это экономическая логика, при которой человеческий опыт является сырьём, извлекаемым без нашего ведома и согласия, превращаемым в поведенческие данные, из которых производятся предсказания о нашем будущем поведении и продаваемым рекламодателям, которые платят за точность этих предсказаний.

Позволь разобрать это определение по частям, потому что каждое слово здесь важно.

«Человеческий опыт как сырьё»

Это означает, что всё, что ты делаешь онлайн, является производственным материалом.

Не только то, что ты публикуешь сознательно, но каждое твое движение в системе.

Как долго ты задержался на определённом изображении.

На каком слове остановился.

Как быстро пролистнул.

Во сколько ты зашёл.

Из какого места.

После чего.

Перед чем.

Это не метаданные в невинном смысле.

Это картография твоей психики, составляемая в реальном времени.

«Без нашего ведома и согласия»

Формально согласие дано: ты нажал «принять условия использования», не читая их.

Но реальное согласие невозможно там, где другая сторона обладает несравнимо большими знаниями о том, что происходит, чем ты.

Это асимметрия, делающая любое «согласие» фиктивным.

Ты не понимаешь, от чего отказываешься, когда нажимаешь «принять».

«Поведенческие данные»

Это не просто информация о тебе.

Это информация, позволяющая предсказать, что ты сделаешь дальше.

Когда купишь.

На что среагируешь.

Что тебя убедит.

Что тебя напугает.

Что тебя соблазнит.

Предсказательная точность — это товар.

Чем точнее система может предсказать твоё поведение, тем дороже она продаётся рекламодателям.

«Поведенческие фьючерсы»

Термин учёной, который я нахожу самым точным и самым жутким.

Фьючерс — это контракт на покупку чего-то в будущем по цене, установленной сейчас.

Поведенческий фьючерс — это продажа твоего будущего поведения.

Твои действия через неделю, через месяц, через год уже сейчас являются товаром на рынке.

Ты ещё не сделал этого, а кто-то уже на это купил.

Это не метафора.

Это буквальное описание бизнес-модели крупнейших технологических компаний мира.

Что именно они знают

Позволь сделать это конкретным, потому что абстракция здесь скрывает то, что должно быть видимым.

Они знают, когда ты просыпаешься, — по времени первого обращения к телефону.

Они знают, как ты себя чувствуешь утром, — по характеру первых поисков и первых взаимодействий: тревожный человек ведёт себя иначе, чем спокойный.

Они знают, когда ты находишься на работе, когда дома, когда в дороге, — по геолокации и паттернам использования.

Они знают, с кем ты общаешься и насколько эти отношения важны для тебя, — по частоте и характеру коммуникации.

Они знают, что тебя беспокоит, — по поисковым запросам в три часа ночи.

Они знают, о чём ты мечтаешь, — по тому, на чём ты задерживаешься дольше всего.

Они знают, на что ты уязвим, — по тому, какие образы вызывают у тебя реакцию, которую ты пытаешься скрыть даже от себя.

Они знают тебя лучше, чем большинство людей в твоей жизни.

Возможно, лучше, чем ты сам знаешь себя в определённых отношениях.

Потому что ты не всегда честен с собой.

А поведение — честно.

Поведение не лжёт так, как лгут слова и мысли.

И система читает поведение с точностью, недоступной никакому психологу, никакому другу, никакому духовнику.

Это знание используется для одной цели:

чтобы ты делал именно то, что выгодно системе.

Покупал.

Оставался внутри.

Реагировал.

Вовлекался.

И желательно делал это снова и снова, с нарастающей интенсивностью.

Модификация поведения — не метафора

Здесь необходимо сказать нечто, что звучит жёстко, но является точным описанием того, что происходит.

Цель надзорного капитализма — не только предсказать твоё поведение.

Цель — его изменить.

В нужном направлении.

Это называется «модификация поведения», и именно за это платят рекламодатели: не за то, что им расскажут о тебе, а за то, что тебя подтолкнут к нужному действию.

Инструменты модификации поведения разрабатывались десятилетиями в академической психологии, в основном в контексте работы с зависимостями и с нежелательным поведением.

Системы переменного вознаграждения — когда награда приходит непредсказуемо — производят навязчивое поведение с такой же точностью у голубей Скиннера, у игроков в казино и у пользователей социальных сетей.

Уведомление — это переменное вознаграждение.

Лайк — переменное вознаграждение.

Новый комментарий — переменное вознаграждение.

Система спроектирована так, чтобы ты возвращался снова и снова в ожидании следующего сигнала.

Это не случайное следствие дизайна — это его цель.

Бывший сотрудник одной из крупнейших компаний рассказывал: на внутренних совещаниях метрика вовлечённости называлась «время, потраченное на приложение», и задачей дизайнеров было её максимизировать.

Не «ценность, полученная пользователем», а «время, потраченное пользователем».

Это разные вещи.

Порой противоположные.

Но есть и более тонкий уровень модификации, о котором говорят реже.

Система не только удерживает тебя внутри, но она формирует то, что ты считаешь нормальным.

То, что ты видишь каждый день в своей ленте, постепенно становится тем, что ты считаешь реальным положением дел в мире.

Если твоя лента наполнена тревогой, то и мир кажется тревожным.

Если злостью — мир кажется несправедливым и угрожающим.

Если успехом других — твоя жизнь кажется недостаточной.

Алгоритм знает, что тревога, злость и зависть производят больше вовлечённости, чем радость и спокойствие, и оптимизирует в сторону первых.

Не потому, что хочет сделать тебя несчастным.

Просто потому, что несчастный пользователь проводит больше времени внутри.

Асимметрия знания как новая форма власти

Я хочу остановиться на том, что считаю самым важным политическим измерением всего этого, потому что это касается не только тебя лично, но и природы власти в нашу эпоху.

На протяжении всей истории власть опиралась на монополию на силу или на монополию на информацию.

Тот, кто контролировал армию, или тот, кто контролировал знание, — контролировал и людей.

Просвещение, с его идеей о том, что распространение знания освобождает, было правым (в определённом смысле).

Книгопечатание действительно сломало монополию церкви на интерпретацию текстов.

Интернет действительно демократизировал доступ к информации.

Но произошло нечто, чего Просвещение не предвидело:

возникла новая форма монополии на знание, куда более мощная, чем все предыдущие.

Монополия не на тексты и не на факты, а на знание о конкретных людях.

О тебе.

О каждом.

В масштабе, невозможном ни для одного предыдущего режима.

Советское КГБ, восточногерманская Штази — самые совершенные машины слежки, которые знал двадцатый век, — могли вести детальное наблюдение за несколькими тысячами человек одновременно.

Это требовало огромных ресурсов, армий осведомителей, километров плёнки.

И при этом они знали только то, что люди говорили и делали публично, или то, что им доносили.

Они не знали, что человек думает в три часа ночи.

Современная система надзора знает об этом и знает об этом о миллиардах людей одновременно.

Без осведомителей.

Без плёнки.

Люди сами сообщают о себе всё, добровольно, с удовольствием, называя это «пользованием удобным сервисом».

Это качественно новая форма власти, и у неё нет аналогов в истории.

У неё нет лица, к которому можно протестовать.

Нет решения, которое можно оспорить.

Нет момента, когда тебя арестовали, потому что тебя не арестовывают, тебя просто постепенно подталкивают.

Она действует не через запрет, а через формирование, как я писал тебе в письме о власти.

Но в отличие от паноптикума, о котором писал Мишель Фуко, современный надзор не нуждается в архитектуре.

Он в твоём кармане.

И ты за него платишь.

Что значит «тебе нечего скрывать»

Когда речь заходит о приватности и надзоре, почти всегда звучит один аргумент:

«Мне нечего скрывать».

Я хочу разобрать этот аргумент, потому что он является одним из самых эффективных мифов нашей эпохи, одним из тех, которые работают именно потому, что звучат разумно.

«Мне нечего скрывать» предполагает, что приватность — это инструмент сокрытия плохого.

Что честный человек открыт, а скрытный подозрителен.

Это глубокое непонимание того, что такое приватность.

Приватность — это не право прятать постыдное.

Это право на пространство, в котором ты являешься собой без последствий.

Где ты можешь думать незавершённые мысли — те, что ещё не оформились и не готовы быть высказанными.

Где ты можешь делать ошибки без того, чтобы они стали частью твоего постоянного досье.

Где ты можешь меняться, потому что изменение предполагает, что ты был другим, и это «другой» не должен преследовать тебя вечно.

Человек, который говорит «мне нечего скрывать», как правило, имеет в виду: я не совершал преступлений.

Но это не единственное, что защищает приватность.

Она защищает твоё право быть незавершённым.

Право задавать вопросы, не получив ещё ответов.

Право искать, не декларируя заранее, что именно.

Журналист, расследующий коррупцию власти, нуждается в приватности, но не потому, что он делает что-то незаконное.

Свидетель, дающий показания против сильного человека, нуждается в приватности.

Человек, меняющий убеждения, нуждается в приватности.

Влюблённый нуждается в приватности.

Молящийся нуждается в приватности — и именно поэтому исповедь тайная.

Когда приватность исчезает, то исчезает не только возможность скрыть плохое.

Исчезает пространство, в котором происходит подлинная внутренняя жизнь.

И это — гораздо большая потеря, чем кажется.

Что делать — не в смысле технических советов

Я не буду давать тебе список советов о том, какой браузер использовать и как настроить VPN.

Это важно на техническом уровне, но не это главное.

Главное — изменить базовое отношение к тому, что происходит.

Первое: понять, что ты не пользователь бесплатного сервиса.

Ты — продукт.

Когда что-то кажется бесплатным — это значит, что ты платишь чем-то другим.

В данном случае своим вниманием, своими данными и своей управляемостью.

Это честная сделка, только если ты её понимаешь.

Большинство её не понимает.

Второе: помни об асимметрии знания и компенсируй её, насколько возможно.

Читай о том, как работают системы, которыми пользуешься.

Не технические детали — принципы.

Если ты знаешь, как работает алгоритм рекомендаций, то ты видишь его воздействие на себя.

Если не знаешь — ты просто думаешь, что у тебя такие вкусы.

Третье: относись к своим данным как к части себя.

Это не метафора.

Данные о тебе являются частичным описанием тебя.

Ты не обязан раздавать описания себя любому, кто попросит.

У тебя есть право на непрозрачность, но не потому, что тебе есть что скрывать, а потому, что ты не публичный ресурс.

Четвёртое, и это самое важное:

культивируй внутреннюю жизнь, которая не производит данных.

Мысли, которые ты не записываешь в телефон.

Разговоры, которые происходят вживую.

Решения, принятые в тишине без предварительного поиска.

Чувства, которые ты не публикуешь.

Молитва, которую ты не транслируешь.

Это пространство непрозрачности — не укрытие от закона, а укрытие от системы, которая хочет знать о тебе всё.

Именно там — в том, что система не видит, — живёт то, что наиболее подлинно твоё.

Один из отцов-пустынников четвёртого века сказал фразу, которую я помню каждый раз, когда думаю обо всём этом:

«Сиди в своей келье, и твоя келья научит тебя всему».

Он имел в виду буквально: физическое пространство затворничества, уединения, невидимости.

Но я слышу в этом нечто большее:

есть пространство, которое принадлежит только тебе и Богу.

Охраняй его.

Не всё должно быть видимым.

Не всё должно быть данными.

Не всё должно быть измеренным и предсказанным.

Твоя внутренняя жизнь — не рынок.

Не позволяй ей им стать.

Твой отец

ПИСЬМО XVII

О трибализме, или почему ты видишь только своих.

О пузырях фильтров, о поляризации как бизнес-модели, о древнем инстинкте в цифровой упаковке и о том, что значит видеть человека по ту сторону своего племени.

Поезд между двумя городами, февраль.

Мой дорогой мальчик,

Я пишу тебе в поезде, между двумя городами, которые голосуют противоположным образом на каждых выборах последние двадцать лет.

Первый — университетский, либеральный, с кофейнями и велодорожками.

Второй — промышленный, консервативный, с церквями и флагами.

Сто километров между ними.

Жители одного и другого, как правило, никогда не разговаривают, и при этом имеют о друг друге подробные, уверенные и абсолютно неверные представления.

Каждая сторона знает про другую всё — из своей ленты новостей, которая говорит именно то, что подтверждает то, что они и так думали.

Это и есть трибализм нашей эпохи:

не дикарский, не кровный, не территориальный, хотя все эти формы никуда не делись.

Трибализм цифровой: разделение не по реке или горному хребту, а по алгоритму.

По тому, какой контент тебе показывают, по тому, чьи голоса ты слышишь, по тому, какая версия реальности считается в твоей ленте очевидной.

Я хочу написать тебе об этом подробно, потому что трибализм есть одна из тех вещей, которые работают именно потому, что ты их не замечаешь.

Ты не ощущаешь себя живущим в пузыре.

Ты ощущаешь себя живущим в реальности.

Пузырь виден только снаружи.

Или изнутри — если специально искать его границы.

Откуда берётся племя

Начну с эволюционной предыстории, потому что без неё непонятно, почему трибализм такой устойчивый и такой опасный феномен.

Человек — существо принципиально племенное.

Это не метафора и не поверхностное наблюдение.

На протяжении почти всей своей истории — сотен тысяч лет — люди жили небольшими группами, в которых принадлежность к группе буквально означала выживание.

Быть исключённым из племени означало смерть: один против природы, один против хищников, один без еды зимой.

Социальное исключение было буквально смертельным, и мозг это помнит.

Именно поэтому социальное отвержение активирует те же нейронные пути, что и физическая боль.

Именно поэтому мнение группы имеет над нами такую власть.

Это не слабость характера — это биология.

Принадлежность к племени давала не только выживание.

Она давала смысл.

Племя отвечало на вопросы, которые иначе невыносимы: «Кто я?», «Кто мои люди?», «Кто враг?», «Что правильно?».

Это фундаментальные вопросы, на которые у одиночки нет ответов, или ответы болезненно неопределённые.

Племя давало определённую.

Определённость давала покой.

Всё это было функционально, пока племена были маленькими, пока враги были действительно опасными, пока мир был прост настолько, что племенная картина его более или менее описывала.

Потом мир усложнился.

Племена стали народами, народы — государствами, государства переплелись в экономику и культуру.

Реальность стала такой сложной, что никакое простое «свои и чужие» её не описывает.

Но мозг не изменился.

Инстинкт принадлежности не исчез.

Потребность в определённости, в том чтобы знать, кто свой и кто враг, не исчезла.

Она просто ищет новые объекты.

И цифровые платформы предоставили ей объекты с невиданной эффективностью.

Как алгоритм производит племя

Механизм прост.

И именно потому, что прост, он работает так хорошо.

Алгоритм показывает тебе то, на что ты реагируешь: то, что вызывает у тебя реакцию — лайк, комментарий, репост, злость, восхищение.

Реакция — это взаимодействие.

Взаимодействие — это вовлечённость.

Вовлечённость — это деньги.

Что вызывает наибольшую реакцию?

Исследования показывают однозначно:

контент, апеллирующий к групповой идентичности и групповой угрозе.

«Мы» против «они».

«Наши ценности» против «их атаки на наши ценности».

Внешняя группа в качестве злодея, внутренняя группа в качестве жертвы или героя.

Это производит больше кликов, больше комментариев, больше времени в приложении, чем любой другой тип контента: включая позитивный, включая информативный, включая разнообразный.

Алгоритм не знает политики.

Он не имеет идеологических предпочтений.

Он оптимизирует вовлечённость и обнаруживает, что страх и злость производят больше вовлечённости, чем любые другие эмоции.

Это делает его, при всей его нейтральности, мощным двигателем поляризации.

Не потому что кто-то так решит, а потому что это следствие единственной функции, которую он оптимизирует.

Результат:

люди с разными исходными взглядами постепенно видят принципиально разные версии реальности.

Не просто разные интерпретации одних фактов — разные факты.

Разные события.

Разные герои и злодеи.

Разные угрозы.

Один человек видит в своей ленте один набор проблем, другой — другой набор.

И оба убеждены, что видят реальность.

Оба правы в том, что видят реальное, но каждый видит только часть, специально отобранную для максимальной реакции.

Это и называется пузырьм фильтров — термин, введенный активистом и медиакритиком в 2011 году и с тех пор описывающий то, что стало нормой жизни для большинства людей в развитых странах.

Ты не видишь всей ленты.

Ты видишь ленту, отфильтрованную под тебя, под твои реакции, под твой профиль, под то, что удержит тебя внутри.

Что пузырь делает с мышлением

Вот что происходит с человеком, живущим внутри пузыря достаточно долго.

Во-первых, его взгляды радикализируются, но не потому, что он сам движется к крайностям, а потому что алгоритм последовательно показывает ему более заряженные версии того, что ему и так близко.

Умеренный консерватор видит всё более возбуждённый консервативный контент, потому что он на него реагирует.

Умеренный либерал видит всё более гневный либеральный контент.

Постепенно его картина мира смещается не через убеждение, а через насыщение определённым типом образов и нарративов.

Это называется «эффектом воздействия» в социальной психологии: то, с чем ты сталкиваешься часто, начинает казаться нормальным и правильным.

Во-вторых, другая сторона становится не просто несогласной — а непонятной.

Человек, живущий в пузыре, перестаёт понимать, как вообще можно думать иначе.

Не «я с ними не согласен», а «я не понимаю, как они могут быть такими».

Это потому, что он никогда не видит лучшей версии чужих аргументов.

Он видит только карикатуру на неё — специально отобранную для подтверждения его собственных предубеждений.

Алгоритм не показывает тебе умных людей, думающих иначе.

Он показывает тебе глупых или злых людей, думающих иначе, потому что именно это вызывает реакцию.

В-третьих, и это самое опасное: уверенность возрастает по мере того, как информация сужается.

Человек, видящий только ту версию реальности, которая подтверждает его взгляды, становится всё более убеждённым в своей правоте именно потому, что не встречает серьёзного вызова.

Уверенность начинает казаться ему признаком правоты.

На самом деле это признак изоляции.

Один американский социальный психолог, написавший несколько книг о моральной психологии и групповой динамике, провёл десятилетия, изучая, как люди думают о политике и морали, — и пришёл к выводу, который разозлил всех:

каждая сторона политического спектра имеет доступ только к части моральной реальности.

Что правые правы в некоторых вещах, в которых не правы левые.

Что левые правы в некоторых вещах, в которых не правы правые.

Что полная картина требует синтеза, который невозможен внутри пузыря, потому что пузырь по определению показывает только одну часть.

Это вызвало ярость с обеих сторон, что само по себе является подтверждением его тезиса.

Старый трибализм и новый: что общее и что разное

Важно понять, что цифровой трибализм — это новая версия явления, которое существовало всегда, но с несколькими принципиальными отличиями, делающими его значительно опаснее старого.

Старый трибализм был ограничен географией и физическим контактом.

Ты жил в деревне, и твоё племя было твоими соседями.

Даже если ты их ненавидел, ты знал их как людей.

Ты видел, как они переживают, как любят, как горюют.

Полная дегуманизация была затруднена, потому что враг был конкретным человеком с конкретным лицом, с которым ты иногда был вынужден взаимодействовать.

Цифровой трибализм снимает это ограничение.

Враг теперь абстрактен: набор аккаунтов, карикатурное изображение, сконструированное алгоритмом из самых заряженных образцов.

Тебе не нужно с ним сталкиваться лично.

Ты можешь ненавидеть его полностью, никогда не увидев живого человека, разделяющего его взгляды, и тем более не поговорив с ним.

Дегуманизация ускоряется и углубляется именно потому, что нет корректирующего контакта с реальностью.

Второе отличие: старые племена имели внутреннее разнообразие.

Деревня, клан, даже политическая партия старого образца включали людей разных возрастов, разных темпераментов, разных жизненных опытов.

Были умеренные и радикальные, молодые и старые, скептики и энтузиасты.

Это разнообразие производило трение, а трение производило мысль.

Цифровые племена отбираются по признаку максимальной согласованности.

Алгоритм показывает тебе людей, похожих на тебя и ещё более активных, чем ты.

Ты не видишь умеренных представителей своего лагеря.

Ты видишь самых активных, самых убеждённых, самых громких.

Это создаёт иллюзию, что все «свои» думают именно так, — что умеренная позиция является предательством, что компромисс — это слабость.

Потому что в твоей ленте умеренных нет.

Они есть в реальности, и их большинство.

Но алгоритм их не показывает: они не производят достаточно реакции.

Третье отличие, самое важное: старые племена имели лидеров, которые несли ответственность.

Вождь, который привёл племя к катастрофе, платил за это.

Политик, чья политика провалилась, терял власть.

Был механизм обратной связи с реальностью, пусть несовершенный.

У цифрового трибализма нет ответственного субъекта.

Алгоритм не несёт ответственности за поляризацию, которую производит.

Платформа не несёт ответственности за ненависть, которую усиливает.

Рекламодатель не несёт ответственности за то, что купил внимание, заработанное злостью.

Каждый делает своё дело, и никто не отвечает за совокупный результат.

Что делает трибализм с человеком изнутри

Теперь о том, что происходит внутри человека, живущего в трибальной логике.

Потому что это касается тебя лично — не как политической проблемы, а как проблемы твоей души.

Трибализм предлагает человеку нечто, от чего очень трудно отказаться: готовую идентичность с минимальными усилиями.

Ты не должен строить себя сам — мучительно, медленно, через выборы, ошибки и самопознание.

Ты принимаешь пакет: взгляды, ценности, врагов, друзей, словарь, иерархию значимого и незначимого.

Всё включено.

Всё согласованно.

Ты точно знаешь, кто ты, потому что знаешь, к какому племени принадлежишь.

Это огромное облегчение.

И это огромная ловушка.

Потому что пакетная идентичность не является твоей.

Ты не выбрал каждый её элемент из внутренней необходимости.

Ты принял её как условие принадлежности.

А условие принадлежности означает: если ты начнёшь сомневаться в каком-то элементе пакета, то рискуешь принадлежностью к племени.

Это делает мышление внутри племени принципиально опасным занятием.

Не потому что тебя накажут, а потому что ты потеряешь нечто, что заменяло тебе идентичность.

А идентичность — даже ложную — терять страшно.

Именно поэтому трибальный человек так жёстко реагирует на вопросы к своим взглядам.

Это не интеллектуальная горячность.

Это сущностная угроза: вопрос к взглядам воспринимается как вопрос к принадлежности, а значит — к самому существованию.

Второе, что трибализм делает с душой: он делает её мелкой.

Человек, живущий в трибальной логике, постепенно теряет способность к сложным чувствам по отношению к тем, кто «не свои».

Сочувствие сужается до границ племени.

Интерес — тоже.

Любознательность — то особое качество ума, которое делает жизнь богатой, — умирает, когда главный ответ на любой вопрос уже известен:

«Свои правы, чужие неправы».

Великие мыслители, которых я упоминаю в этих письмах, — почти никто из них не был трибальным человеком.

Фридрих Ницше ненавидел немецкий национализм своей эпохи и ругал Рихарда Вагнера за то, что тот ему поддался.

Николай Бердяев был выслан и советской властью, и царской.

Гилберт Честертон спорил с Бернардом Шоу и оставался его другом.

Честность мысли требует способности видеть правду вне зависимости от того, кто её говорит и к какому племени он принадлежит.

Трибализм делает эту способность невозможной.

Чужой как зеркало и как дар

Хочу сказать нечто, что звучит парадоксально, но что я считаю одной из самых важных истин, которые мне удалось понять.

Человек, думающий иначе, чем ты, — не просто носитель неправильных взглядов.

Он — зеркало, которое показывает тебе то, что ты не видишь.

Он имеет опыт, которого у тебя нет.

Он задавал вопросы, которые ты не задавал.

Он пришёл к своим выводам не потому, что глуп или зол, а потому что прошёл другой путь.

И этот путь содержит информацию, недоступную тебе иначе.

Христианская традиция говорит:

каждый человек несёт в себе образ Божий.

Это не поэтическая метафора — это сущностное утверждение, имеющее прямые последствия для того, как ты относишься к людям, которые с тобой не согласны.

Если в каждом человеке есть нечто от Бога, то и в каждом человеке есть нечто, чему ты можешь научиться.

Даже в том, кто думает противоположно.

Даже в том, кто тебя раздражает.

Особенно в том, кто тебя раздражает, потому что раздражение часто означает, что он задел что-то настоящее.

Это не призыв к бесхребетному соглашательству.

Можно и нужно иметь взгляды, отстаивать их, не соглашаться с теми, кто ошибается, говорить это прямо.

Но есть принципиальная разница между тем, кто не соглашается, потому что думал и убедился, и тем, кто не соглашается, потому что «они» по определению неправы.

Один старый английский философ, тот самый, который писал о культуре и китче и о котором я уже упоминал, говорил о важности того, что он называл «разговором цивилизации»: диалогом между разными традициями, в котором каждая сторона учится у другой, не теряя себя.

Противоположность этому разговору — не спор и не война.

Противоположность — монолог.

Когда человек слышит только свой голос, многократно усиленный и отражённый назад из его пузыря.

Монолог не производит мысли.

Он производит громкость.

Как выйти не политически, а духовно

Политические советы здесь малополезны.

Проблема трибализма не решается «правильным» голосованием или «правильной» партией, потому что трибализм — это состояние ума, а не политическая позиция.

Он может быть правым и левым, религиозным и атеистическим, националистическим и космополитическим.

Это не содержание.

Это структура.

Поэтому советы должны быть о структуре.

Первое: намеренно ищи лучшую версию взглядов, с которыми ты не согласен.

Не карикатуру.

Не самых глупых или злых представителей.

Самых умных.

Тех, кого труднее всего опровергнуть.

Если ты не можешь изложить позицию оппонента так, что он сам признал бы:

«Да, это честное описание того, что я думаю», — ты ещё не достаточно знаком с ней, чтобы её отвергнуть.

Второе: замечай момент, когда твоя реакция на человека определяется его племенной принадлежностью, а не тем, что он конкретно сказал. «Это говорит человек из лагеря X, значит, это неправда» — это не мышление.

Это рефлекс.

Правда не имеет партийной принадлежности.

Третье: ищи личного знакомства с людьми по ту сторону твоего пузыря.

Не в интернете.

Лично.

Живой человек, с которым ты выпил кофе, практически не поддаётся полной дегуманизации, даже если его взгляды тебя возмущают.

Лицо сопротивляется карикатуре.

Именно поэтому алгоритм предпочитает аватарки.

Четвёртое: помни, что твоя новостная лента — это не реальность.

Она даже не репрезентативная выборка из реальности.

Это специально отобранный, специально усиленный сигнал, оптимизированный под твою реакцию.

Прежде чем делать выводы о том, «что происходит в мире» или «что думают люди», задай себе вопрос:

я знаю это из ленты или из прямого контакта с реальностью?

Пятое — и самое трудное: будь готов к тому, что ты можешь ошибаться.

Не в смысле «всё относительно», а в смысле:

«мои взгляды формировались в условиях, которые не были нейтральными, и это оставило след, который я не полностью вижу».

Это не самоуничижение.

Это смирение с ограниченностью своих взглядов и готовность признать, что ты можешь ошибаться, — то качество ума, без которого невозможно настоящее познание.

Поезд подъезжает ко второму городу.

Через несколько минут я выйду на перрон и окажусь в месте, которое моя лента никогда не показывает.

Среди людей, которых моя лента не показывает.

С проблемами, которые моя лента считает несуществующими.

Я это люблю.

Это неудобно.

Это иногда раздражает.

Но это — реальность.

Полнее той, что в экране.

Выходи иногда из поезда.

Смотри на людей вокруг.

Они твои братья, даже когда их мнение не совпадает с твоим.

Особенно тогда.

Твой отец

ПИСЬМО XVIII

О внимании — почему его крадут и как его вернуть.

О том, что внимание есть самое человеческое из всего, чем ты располагаешь, о его краже как экономической модели, о внимании как молитве и любви и о том, как вернуть себе способность присутствовать.

Флоренция, рассвет.

Мой дорогой мальчик,

Я проснулся сегодня очень рано, раньше, чем планировал, и вышел на улицу в то время, когда город ещё не проснулся.

Флоренция в пять утра — это не туристический город и не открытка.

Это просто город, в котором тихо и в котором можно идти и смотреть, не оглядываясь ни на кого.

Я шёл по пустым улицам к реке, протекающей через город, и смотрел на воду, на то, как первый свет ложится на неё неправильно — не так, как в путеводителях, а как-то косо, почти неприятно ярко на одном берегу и совсем тёмно на другом.

И я думал: когда я последний раз просто смотрел на воду?

Не фотографировал.

Не думал о том, что напишу об этом.

Просто смотрел.

Не мог вспомнить...

Это и есть то, о чём я хочу написать тебе сегодня.

Не об экранах и не об алгоритмах — хотя они здесь тоже будут.

Об ином: о внимании как таковом.

О том, что оно собой представляет, что с ним происходит, почему его у тебя забирают с такой методичностью и как его вернуть.

Не в смысле продуктивности или «тайм-менеджмента», а в смысле подлинного присутствия в собственной жизни.

Потому что внимание — это не навык и не ресурс в психологическом смысле.

Внимание — это ты сам, направленный куда-то.

Там, где твоё внимание, — там ты.

Где его нет, — тебя нет, даже если твоё тело присутствует.

Что такое внимание в точном смысле

Французский философ и мистик Симона Вейль, умершая в 1943 году в возрасте тридцати четырёх лет от истощения, отчасти добровольного из солидарности с теми, кто голодал под немецкой оккупацией, написала о внимании нечто, что я перечитываю каждый раз, когда чувствую: теряю его.

Она сказала:

внимание — это редчайшая и чистейшая форма щедрости.

Что полностью уделить кому-то своё внимание — значит совершить акт любви.

Что именно через внимание к другому человек получает возможность существовать для тебя в полноте, а не только как функция, как роль, как препятствие или инструмент.

Это звучит почти мистически и является таковым.

Но посмотри на конкретное.

Когда ты разговариваешь с человеком и одновременно держишь в руке телефон, который проверяешь каждые несколько минут, — что происходит с этим человеком?

Он есть перед тобой.

Он говорит что-то.

Но ты делишь своё внимание.

Та часть твоего внимания, что уходит в экран, забирается у него.

Он это чувствует, даже если молчит.

Даже если говорит, что не возражает.

Потому что быть с кем-то наполовину — это тоже форма отсутствия.

Иногда более болезненная, чем полное отсутствие.

Обрати внимание, что самое точное слово для описания заботы в отношениях — это «уделять внимание».

Не «уделять время».

Не «уделять ресурсы».

Внимание.

Мы знаем это интуитивно — и именно поэтому у нас есть это выражение.

Заботиться — значит смотреть.

Видеть.

Присутствовать.

Любовь, в самом глубоком и самом простом её смысле, — есть пристальное внимание к другому.

Не чувство, которое тебя охватило.

Не решение, которое ты принял.

Пристальное, длительное, готовое к скуке и трудности внимание к конкретному человеку.

Именно поэтому любовь требует времени.

Не потому что время само по себе ценно, а потому что внимание нельзя разделить на тысячу объектов и при этом оставить подлинным.

Оно либо есть, либо нет.

Рынок внимания, или как это работает

Теперь о том, почему это внимание систематически крадут.

Всё, что ты потребляешь бесплатно в цифровом мире, — это не подарок.

Это обмен.

Ты получаешь сервис — они получают твоё внимание.

Твоё внимание продаётся рекламодателям.

Чем больше внимания — тем больше денег.

Это простая и полная формула экономики внимания.

Но «экономика внимания» — это не просто метафора для описания того, что происходит онлайн.

Это буквальное описание рынка, на котором торгуют твоим временем и сосредоточенностью.

Один из людей, создававших внутреннюю механику этого рынка и впоследствии ставших его критиками, специалист по этике дизайна, о котором я упоминал в письме о телефоне, сформулировал это так:

каждая технологическая компания нанимает лучших в мире специалистов по поведенческой психологии и платит им миллионы долларов за одно: чтобы они нашли способ удержать твоё внимание на одну секунду дольше.

Одна секунда, умноженная на миллиард пользователей, — это огромные деньги.

Это означает, что силы, работающие против твоего внимания, не случайны и не слабы.

Это не просто «отвлекающие факторы» — это результат многолетней работы выдающихся умов, вооружённых данными о психологии и поведении, которые специально направлены на то, чтобы сделать невозможным именно то, чего я хочу для тебя:

длительное, непрерывное, спокойное присутствие в одном месте, с одним предметом, с одним человеком.

Это неравная борьба, и было бы нечестно с моей стороны не сказать тебе этого прямо.

Ты один.

С твоей стороны — воля, привычки, ограниченный самоконтроль, который истощается к вечеру.

С их стороны — миллиарды долларов, петабайты данных о тебе конкретно и специально разработанные механизмы, апеллирующие к самым древним и самым устойчивым нейронным паттернам.

Но неравная борьба не означает безнадёжную.

Она означает, что нужно воевать умнее — не силой воли в каждый отдельный момент, а изменением условий, в которых приходится бороться.

Что кража внимания делает с человеком

Здесь я хочу сказать нечто, что выходит за рамки психологии, потому что то, что происходит с вниманием в нашу эпоху, имеет последствия, которые я могу описать только в духовных категориях.

Человек, чьё внимание постоянно раздроблено, не может любить в полном смысле слова.

Не потому что он не хочет.

А потому что любовь требует того самого пристального, длительного, готового к скуке внимания, которого у него нет.

Он может испытывать чувство — острое, настоящее, физиологически реальное.

Но удержать это чувство на другом человеке достаточно долго, чтобы оно стало не вспышкой, а отношением, — это требует внимания.

Которое раздроблено.

Человек, чьё внимание постоянно раздроблено, не может молиться в том смысле, в котором молитва является чем-то большим, чем произнесение слов.

Молитва в своей глубине есть то же самое, что и любовь:

пристальное, длительное присутствие перед Богом.

«Господи» — и ты здесь, в этом слове, а не в пяти параллельных потоках мыслей о задачах на завтра и о том, что написали в ленте.

Именно поэтому великие мистики учили:

основа всякой молитвы — это собирание рассеянного ума.

Это было трудно всегда, но никогда не было так систематически и так профессионально разрушаемо, как сейчас.

Человек, чьё внимание постоянно раздроблено, не может думать глубоко — я писал тебе об этом в письме о телефоне.

Но хочу добавить нечто, что тогда не сказал.

Глубокое мышление не просто требует непрерывного внимания.

Оно само по себе является формой присутствия.

Когда ты думаешь по-настоящему, — ты целиком в предмете мысли.

Это похоже на состояние, которое психологи называют «поток» — когда человек полностью погружён в то, что делает, и теряет ощущение времени.

Именно в этом состоянии делается лучшее: лучшие решения, лучшие произведения, лучшее понимание.

Раздроблённое внимание делает «поток» недостижимым, потому что поток требует непрерывности, а каждое уведомление её обрывает.

Наконец, человек, чьё внимание постоянно раздроблено, не может переживать красоту.

Ту красоту, которая меняет.

Поверхностное «красиво» доступно и при раздроблённом внимании — ты видишь красивый закат и немедленно тянешься к телефону.

Но то переживание красоты, о котором писали Фёдор Достоевский, Симона Вейль и Роджер Скрутон, — когда красота открывает тебе нечто о природе реальности, указывает за себя, становится иконой, а не просто изображением, — это требует остановки.

Длительного присутствия перед красивым без попытки его захватить или задокументировать.

Просто быть с ним.

Принять то, что оно тебе говорит.

Внимание как молитва

Та же Симона Вейль написала эссе о внимании и молитве, которое является, на мой взгляд, одним из глубочайших текстов о духовной жизни, написанных в XX веке.

Её центральный тезис:

молитва есть прежде всего внимание.

Внимание в его высшей форме — это и есть молитва, даже если человек не произносит никаких слов и не обращается ни к кому поимённо.

Она объясняла это через метафору школьника, решающего задачу по геометрии.

Задача не поддаётся.

Школьник сидит и смотрит на неё, не понимая, не продвигаясь, просто удерживая внимание.

Это мучительно.

Ум хочет переключиться на что-нибудь другое.

Но школьник остаётся.

Удерживает.

Ждёт.

И в какой-то момент, не по его усилию, а как бы само собой, решение приходит.

Она говорила:

именно такова молитва.

Ты не понимаешь.

Ты не видишь ответа.

Тебе скучно и неудобно.

Но ты остаёшься и смотришь.

Удерживаешь внимание на том, что больше тебя.

И в этом удержании, при всей его мучительности, и происходит то, что происходит в молитве.

Не потому что ты что-то сделал правильно.

Потому что ты был здесь.

Это перевернуло моё понимание молитвы и моё понимание внимания.

Потому что если это правда, то любое подлинное внимание — к человеку, к природе, к музыке, к математической задаче, к собственной совести — имеет молитвенное измерение.

Оно есть форма открытости тому, что больше тебя.

Форма готовности принять то, что придёт, — не по своей воле и не по своему плану.

И тогда кража внимания — это не просто экономическая проблема и не просто психологическая проблема.

Это духовная проблема.

Потому что то, что крадут, — это не просто «время» и не просто «сосредоточенность».

Крадут саму способность быть открытым.

Быть здесь.

Встречать.

Механика кражи (чтобы видеть её в реальном времени)

Я хочу сделать механику кражи внимания настолько конкретной, чтобы ты мог замечать её в момент, когда она происходит.

Первый механизм — прерывание.

Уведомление.

Сигнал.

Вибрация.

Каждое прерывание разрушает не только тот момент, который оно прерывает.

Оно разрушает способность быстро вернуться в состояние полного присутствия.

Исследования показывают:

после прерывания требуется в среднем двадцать три минуты, чтобы полностью вернуться к тому, чем ты занимался.

Двадцать три минуты.

Если уведомления приходят каждые несколько минут, ты никогда не возвращаешься полностью.

Ты всю жизнь живёшь в состоянии неполного присутствия.

Второй механизм — бесконечная лента.

Нет момента завершения.

Традиционные источники информации — книга, фильм, альбом — имели конец.

Ты дочитывал, досматривал, дослушивал.

Конец создавал паузу, в которой можно было что-то осмыслить.

Бесконечная лента конца не имеет.

Она продолжается ровно столько, сколько ты готов смотреть, — и немного дольше.

Следующий стимул всегда готов.

Пауза для осмысления систематически устраняется.

Третий механизм — переменное вознаграждение, о котором я писал в письме о надзоре.

Но хочу добавить одно наблюдение:

переменное вознаграждение работает не только через лайки.

Оно работает через неопределённость в целом.

«Что там дальше?» — это вопрос, на который ум отвечает автоматически, не спрашивая разрешения.

Именно на нём работает каждая прокрутка новостной ленты, каждое «одна минута перед сном».

Четвёртый механизм — самый тонкий и самый разрушительный: условный рефлекс тревоги.

После нескольких лет интенсивного использования смартфона у человека формируется устойчивая ассоциация:

отсутствие телефона в руке — дискомфорт.

Тишина — тревога.

Скука — невыносимость.

Это не слабость воли.

Это условный рефлекс, сформированный тысячами повторений.

Мозг научился: дискомфорт снимается обращением к телефону.

Теперь он требует телефона при первом признаке дискомфорта — прежде чем ты успел осознать, что произошло.

Как вернуть внимание не советами, а пониманием

Я мог бы дать тебе список практик.

И дам, но сначала скажу нечто более важное:

практики работают только тогда, когда ты понимаешь, что восстанавливаешь.

Если ты делаешь «детокс от телефона», потому что это модно или потому что врачи советуют, — это не работает так же, как если ты делаешь это потому, что понимаешь:

речь идёт о способности любить, молиться, думать и присутствовать в своей жизни.

Мотивация из понимания несравнимо сильнее мотивации из совета.

Итак.

Первое и самое важное: верни себе пространство тишины каждый день.

Не медитации в современном смысле.

Не «осознанного дыхания» как техники.

Просто тишины.

Десять минут с утра без телефона, без музыки, без подкаста.

Просто ты и то, что есть внутри.

Это будет мучительно первые несколько дней именно потому, что сработает тот условный рефлекс тревоги, о котором я говорил.

Тревога — это не сигнал опасности.

Это ломка.

Пройди через неё.

За ней — то пространство внутри, которое ты, возможно, давно не посещал.

Второе: отключи все уведомления, которые не являются абсолютно необходимыми.

Не «уменьши».

Отключи!

Звонки от людей, с которыми ты должен быть на связи, — да.

Уведомления социальных сетей, новостных приложений, рекламных сервисов — нет.

Разница между этими двумя категориями огромна:

первые информируют тебя о том, что ты сам решил считать важным.

Вторые прерывают тебя в интересах тех, кто продаёт твоё внимание.

Ты не обязан быть доступен для всех в любой момент.

Это не грубость.

Это самозащита.

Третье: практикуй однозадачность.

Это звучит просто и является невероятно трудным, потому что противоречит всему, что культура говорит тебе о продуктивности.

Культура говорит: многозадачность — это эффективность.

Наука говорит: многозадачности не существует.

Мозг не выполняет несколько задач одновременно, но он быстро переключается между ними.

И каждое переключение стоит когнитивных ресурсов и времени восстановления.

Делай одно — и делай его полностью.

Читаешь — только читаешь.

Разговариваешь — только разговариваешь.

Думаешь — только думаешь.

Это восстанавливает способность к глубине быстрее, чем любая другая практика.

Четвёртое: намеренно тренируй длительное внимание.

Как тренируют мышцу.

Начни с небольшого: двадцать минут чтения без отвлечений.

Потом тридцать.

Потом час.

Это не аскеза.

Это восстановление атрофированной функции.

Когда функция восстановлена, ты начинаешь получать от длительного внимания то, что недоступно при раздроблённом:

настоящее погружение, то самое состояние «потока», в котором делается лучшее и чувствуется живое.

Пятое: регулярно делай что-то, что по природе своей требует присутствия и не допускает параллельного потребления.

Прогулка без наушников.

Приготовление еды с полным вниманием к тому, что делаешь.

Разговор с одним человеком без телефона на столе.

Молитва.

Это не «выключение из мира».

Это практика присутствия в нём.

Именно такие моменты, накопленные годами, строят человека, способного любить, думать и верить по-настоящему.

Шестое — и это богословское, но скажу его напоследок, потому что оно фундирует всё остальное:

помни, что внимание есть образ Богоподобия.

Бог, как Его описывает христианская традиция, есть совершенное внимание к каждому существу — внимание, не рассеянное ни на что другое, не разделённое между триллионами объектов, а полное и нераздельное к каждому.

«Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадёт на землю без воли Отца вашего» — это и есть описание абсолютного внимания.

Человек, созданный по образу Божию, несёт в себе эту способность.

Хотя и в ограниченной и несовершенной форме.

Культивировать внимание — значит культивировать в себе это образоподобие.

Разрушать внимание — значит разрушать именно то, что делает тебя человеком в высшем смысле.

Я вернулся сегодня с прогулки и сидел за столом ещё час, просто думая.

Без телефона.

Без задачи.

Просто думая о воде, о свете и о тебе.

Это были, пожалуй, самые честные мысли за этот месяц.

Останавливайся иногда.

Смотри на воду.

Думай о том, кого любишь.

Это и есть жизнь — не то, что параллельно происходит в экране.

Твой отец



ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ

Феноменология хама, или как он выглядит

ПИСЬМО XIX

О цинизме, или почему это не ум, а слабость

О человеке, который знает, что всё ложь, и участвует во лжи, о циничном комфорте без вертикали, о том, чем цинизм отличается от скептицизма, и почему наивность иногда умнее цинизма

Берлин, поздний вечер, после ужина с умными людьми

Мой дорогой мальчик,

Сегодня вечером я был на ужине с несколькими умными людьми.

Все успешны — в меру циничном смысле этого слова.

Все образованы.

Разговор был блестящим по форме: острые наблюдения, точные формулировки, хорошая ирония.

О политике говорили так, как говорят люди, которые знают, как устроена кухня: с усталой насмешкой над всеми сторонами.

О религии — с тем особым снисхождением, которое приберегают для явлений, уже устаревших, но ещё не знающих об этом.

О любви — с той лёгкой горечью, которая сигнализирует: «я однажды верил, но это прошло, я теперь реалист».

О смерти не говорили — это считалось неуместным.

К концу вечера я поймал себя на ощущении, которое могу описать только одним словом: духота.

Не от плохой компании.

От воздуха, которого в этой компании не было.

Было много умного и не было ничего живого.

Все знали, как всё устроено на самом деле, и никто не мог сказать, зачем жить.

Это и есть цинизм в его зрелой, образованной, светской форме.

Не грубость подростка, отвергающего авторитеты.

Не бравада человека, маскирующего страх.

Зрелый, утончённый, интеллектуально обоснованный цинизм — самая комфортная из всех ловушек, которые ставит наше время.

Я хочу поговорить с тобой о нём подробно.

Потому что ты будешь встречать его постоянно — в лучших компаниях, в самых умных разговорах.

И потому что он очень убедителен.

И потому что он убивает.

Что такое цинизм в точном смысле

Начну с различения, которое необходимо сделать в самом начале, иначе вся дальнейшая аргументация будет казаться защитой наивности.

Есть скептицизм.

И это хорошо.

Скептик не принимает утверждений без достаточного основания.

Он задаёт вопросы.

Он проверяет.

Он не доверяет первому впечатлению.

Он готов изменить мнение под давлением аргументов.

Скептицизм есть интеллектуальная честность — отказ соглашаться с тем, что не доказано, только потому что так принято или потому что так удобнее.

Это позиция силы.

Есть реализм.

И это тоже хорошо.

Реалист смотрит на вещи такими, какие они есть, без иллюзий.

Он знает о человеческой слабости, о корыстных мотивах, о том, что благородные декларации часто расходятся с реальными действиями.

Он не разочарован.

Он точен.

Реализм позволяет действовать в реальном мире, а не в воображаемом идеальном.

Цинизм — нечто принципиально иное, хотя он всегда притворяется скептицизмом или реализмом.

Его можно определить так:

это позиция человека, который знает, что система лжёт, но участвует в системе.

Который видит разрыв между декларируемым и реальным и использует это знание не для изменения, а для оправдания собственного участия.

Который утратил способность верить во что-то и превратил эту утрату в интеллектуальную позицию.

Немецкий философ написал об этом книгу с провокационным названием и дал определение, которое мне кажется точнейшим:

циник — это человек с просветлённым ложным сознанием.

Он видит, что происходит.

Он не обманывается насчёт природы власти, корыстных мотивов, институциональной лжи.

Он умнее наивного, в том смысле, что не верит пропаганде.

Но он использует своё знание не для выхода из системы, а для комфортного существования внутри неё с чистой совестью:

«Я знаю, что это коррумпировано — но что я могу сделать?»

Знание без действия.

Ясность без последствий.

Вот в чём суть.

Циник использует своё понимание как алиби для бездействия и как щит от требования.

Он видит, и именно потому, что видит, считает себя освобождённым от ответственности за то, что видит.

Знание, по его логике, ни к чему не обязывает.

Он знает всё, и именно поэтому свободен от всего.

Откуда берётся цинизм

Цинизм не рождается злобой или пороком.

Он рождается из разочарования, и в этом его трагедия, и в этом его опасность.

Почти всегда за цинизмом стоит история несостоявшейся веры.

Человек во что-то верил — искренне, с полной отдачей.

В идею, в движение, в человека, в институцию, в Бога.

И что-то произошло: идея обнаружила свою противоречивость, движение предало свои принципы, человек оказался не тем, кем казался, институция — коррумпированной, Бог — молчащим в тот момент, когда должен, по его мнению, был ответить.

Разочарование — это боль.

Серьёзная боль, от которой нужно как-то защититься.

И цинизм является такой защитой:

если я больше ни во что не верю, я не могу больше разочароваться.

Если я заранее знаю, что всё ложь, меня нельзя обмануть.

Если я смотрю на мир с холодной иронией, никакое падение идеала не пробьёт мою броню — потому что идеалов нет.

Это объясняет, почему цинизм так часто встречается у людей, которые в молодости были идеалистами.

Именно те, кто верил больше всего, разочаровываются сильнее всего.

И впадают в крайность противоположную:

если тогда я ошибся, доверившись полностью, то теперь я не доверяю ничему.

Переход от абсолютной веры к абсолютному недоверию — это не взросление.

Это травматическая реакция, принятая за зрелость.

Именно поэтому я не осуждаю цинизм.

Я его понимаю.

За почти каждым циником стоит история, заслуживающая сочувствия.

Там было что-то настоящее, и оно было разрушено.

Или предано.

Цинизм — это не характер злодея. Это рубец на месте раны.

Но рубец — не здоровая ткань.

И принимать его за мудрость — значит путать выживание с жизнью.

Цинизм как интеллектуальная трусость

Теперь о том, почему я называю его слабостью, а не умом.

Цинизм кажется умным — и в этом его главная ловушка.

Циник знает больше, чем наивный.

Он видит подводные течения, скрытые мотивы, системные противоречия.

Его анализ часто точен.

Его ирония часто попадает в цель.

Он производит впечатление человека, который видит глубже, и это впечатление не полностью ложное.

Но умность цинизма является частичной, и именно частичность делает его опасным.

Он умён в диагностике и труслив в выводах.

Он видит болезнь и отказывается лечить, объявляя лечение невозможным.

Он описывает разрыв между декларируемым и реальным и делает вывод не «значит, нужно работать над уменьшением этого разрыва», а «значит, декларируемое ничего не стоит».

Это логическая ошибка, замаскированная под реализм.

Из того, что что-то несовершенно, не следует, что оно бессмысленно.

Из того, что люди часто не соответствуют своим идеалам, не следует, что идеалы не нужны.

Из того, что тебя однажды обманули, не следует, что доверие является глупостью.

Каждый из этих выводов является прыжком от «так бывает» к «так всегда» и «иначе не бывает».

Это не реализм.

Это обобщение, продиктованное болью и желанием защитить себя от повторной боли.

Настоящий реализм сложнее.

Он говорит:

да, это несовершенно, и всё равно стоит делать.

Да, люди часто предают идеалы, и всё равно идеалы имеют значение.

Да, тебя могут обмануть, и всё равно доверие является условием подлинных отношений.

Это требует больше мужества, чем цинизм.

Потому что предполагает готовность снова оказаться уязвимым.

Снова поверить, зная, что можно снова разочароваться.

Снова вложиться, зная, что результат не гарантирован.

Это не наивность.

Это сознательный выбор действовать в условиях неопределённости, не прячась за броню «я всё равно знал, что так и будет».

Циник и система: комфортный симбиоз

Есть ещё одно измерение цинизма, о котором говорят редко — его политическое следствие.

Циник является идеальным гражданином для любой системы, не заинтересованной в его участии.

Потому что циник не участвует.

Он наблюдает.

Он комментирует.

Он знает, что «все политики одинаковы», «ничего не изменится», «система работает в интересах тех, кто наверху», — и именно это знание освобождает его от необходимости что-либо делать.

Это делает его идеальным объектом для систем, построенных на безразличии граждан.

Авторитарная система не нуждается в горячей поддержке — она нуждается в пассивности.

И именно её производит массовый цинизм:

люди, которые всё понимают и именно поэтому ничего не делают.

Парадокс:

циник думает, что его цинизм является формой сопротивления.

Он не обманывается пропагандой.

Он сохраняет внутреннюю дистанцию.

Это кажется ему позицией независимости, а на самом деле является именно той формой поведения, которая наиболее удобна для системы.

Сопротивление, не производящее никакого сопротивления.

Недовольство без последствий.

Настоящее сопротивление — всегда рискованное.

Оно требует вложения себя, готовности к последствиям, уязвимости.

Циник на это не способен — именно потому что его главная ценность есть защита себя от разочарования.

Его ирония безопасна для всех, кроме него самого.

Что умирает в цинике

Хочу назвать конкретно то, что умирает в человеке, выбравшем цинизм как постоянную позицию.

Первое: удивление.

Циник не умеет удивляться, потому что удивление требует открытости к тому, чего не ожидал.

А циник всегда всё ожидает.

Он заранее знает, что будет плохо, что люди разочаруют, что красивые слова окажутся пустыми.

Когда что-то хорошее всё же случается, он находит объяснение, почему это не по-настоящему хорошо.

Удивление — то особое качество взгляда, которое взрослость должна была бы углублять, а не уничтожать, — умирает в цинике первым.

Второе: благодарность.

Благодарность требует признания того, что что-то хорошее существует и что ты его получил — не заслуженно, не по праву, а как дар.

Циник не принимает даров.

Он анализирует их мотивы.

Он не позволяет себе просто получить хорошее и сказать «спасибо», потому что это сделало бы его уязвимым к тому, что хорошее может кончиться.

Третье: доверие.

Доверие — это ставка:

я действую исходя из предположения, что другой человек поступит достойно, не имея гарантии.

Циник не ставит.

Он никогда не проигрывает и никогда не выигрывает того, что дают только ставки.

Четвёртое, и это самое важное: надежда.

Не наивный оптимизм — «всё будет хорошо», — а то, что христианская традиция называет теологической добродетелью:

фундаментальная ориентация на то, что реальность не закрыта, что история не написана заранее, что возможно нечто лучшее.

Без надежды в этом смысле невозможно ни подлинное действие, ни подлинная молитва, ни подлинная любовь.

Циник убивает в себе надежду, и это убийство он называет трезвостью.

Святой Августин написал о двух видах любви:

любовь к себе вплоть до презрения к Богу и любовь к Богу вплоть до презрения к себе.

Цинизм есть одна из форм первого:

любовь к своей защищённости, к своей непробиваемой броне, вплоть до презрения ко всему, что требует уязвимости.

Антоним цинизма — не наивность

Важное разъяснение, которое нельзя пропустить.

Антоним цинизма не является наивностью.

Наивный человек просто не видит того, что видит циник.

Его открытость основана на незнании, и потому уязвима.

Антоним цинизма — это то, что традиция называла по-разному: мужество надежды, вооружённое доверие, просветлённая вера, то есть вера, знающая о человеческой слабости и всё равно остающаяся верой.

Это позиция человека, который видит всё то, что видит циник — коррупцию, ложь, предательство, несоответствие идеалов реальности, — и при этом не делает вывода, что идеалы бессмысленны.

Это труднее, чем наивность.

Это труднее, чем цинизм.

Наивность не требует мужества.

Она просто не знает, от чего нужно мужество.

Цинизм не требует мужества.

Он от него отказывается.

Вооружённое доверие требует мужества именно потому, что видит и всё равно открывается.

Великий русский писатель — тот, который написал о братьях и об отцах, о Великом Инквизиторе и о старце, — не был ни наивным, ни циничным.

Он видел человека насквозь: всю его низость, всё его предательство, всю его готовность к злу.

Он прошёл через каторгу и знал о жестокости не понаслышке.

И при этом его последнее слово — через все трагедии и через всю тьму — было не о безнадёжности, а о воскресении.

Алёша Карамазов — не наивный юноша.

Он видит всё то, что видит Иван.

И при этом остаётся Алёшей.

Это и есть антоним цинизма.

Как распознать цинизм в себе

Несколько конкретных вопросов.

Первый:

когда я в последний раз говорил о чём-то с полной серьёзностью — без иронии, без дистанции, без защитной оговорки?

Если у тебя нет ни одной темы, ни одного убеждения, о котором ты говоришь всерьёз, — это симптом.

Второй:

когда кто-то делает что-то хорошее, твоя первая реакция — «какой молодец» или «интересно, зачем ему это нужно»?

Оценка скрытых мотивов — мощный инструмент цинизма.

Иногда это верно.

Но если это автоматическая реакция на любое добро, — это уже не аналитика.

Это защита.

Третий:

есть ли в моей жизни что-то, во что я вкладываюсь по-настоящему, зная, что могу разочароваться?

Что-то или кто-то, ради которого я готов рискнуть своей защищённостью?

Если нет, — это не мудрость.

Это броня, ставшая тюрьмой.

Четвёртый, и самый болезненный:

что именно разочаровало меня так, что я перестал верить?

Это нужно знать — не для того, чтобы вернуть старую веру, а для того, чтобы понять, что именно умерло.

Рубец не исчезает — но он не должен быть последним словом о том, кем ты являешься.

Выход: не обратно в наивность — вперёд к мужеству

Выход из цинизма — это не возврат к тому состоянию, которое предшествовало разочарованию.

Нельзя разучиться видеть то, что увидел.

Нельзя вернуть невинность обратно.

Выход — это движение вперёд, через разочарование, к чему-то, что включает знание о тёмной стороне вещей и при этом не закрывает светлую.

Что позволяет одновременно видеть человека в его слабости и верить в его способность к чему-то большему.

Что позволяет помнить о боли прошлого разочарования и всё равно открываться следующей возможности.

Это движение требует того, что традиция называла благодатью — помощью извне, которая приходит туда, где кончаются собственные силы.

Именно там, где человек говорит:

«я больше не могу доверять» — и при этом хочет снова мочь, — начинается нечто, чему цинизм не имеет объяснения.

Я видел людей, вышедших из очень тёмных мест — из настоящего предательства, из настоящей потери, из настоящей разрушенной веры и ставших при этом не более закрытыми, а более открытыми.

Не наивными, а более глубокими.

Их открытость стоила им больше, чем прежняя, потому что была осознанной.

Это и есть то, к чему ведёт путь через цинизм — не назад, а вперёд.

На том ужине в Берлине все были умны.

Никто не был живым.

Я хочу, чтобы ты был живым.

Даже если это больнее.

Твой отец

ПИСЬМО XX

***О статусной тревоге, или как погоня за признанием
убивает достоинство***

О вечном страхе оказаться недостаточным, о чужих гербах на собственной груди, о том, что признание извне не может дать того, что даёт только внутренняя укоренённость, и почему достоинство несовместимо с тревогой о впечатлении

Лондон, осень — в городе, где статус изобрели и где он убивает тише всего

Мой дорогой мальчик,

Есть особый вид страдания, характерный именно для нашей эпохи.

Не потому что прежде его не было, а потому что прежде оно не было таким всеобщим и таким невидимым.

Это страдание не от бедности и не от болезни.

Это страдание от ощущения, что ты недостаточен.

Что другие смотрят на тебя и видят нечто меньшее, чем ты должен быть.

Что твоё место в иерархии ниже, чем следует.

Что тебя не уважают так, как ты заслуживаешь.

Один швейцарско-британский эссеист — человек редкого дара писать о сложных вещах так, чтобы они немедленно узнавались в собственной жизни, — написал книгу с простым названием: «Статусная тревога».

Это тревога о том, как нас воспринимают другие.

О нашем месте в социальной иерархии.

О том, соответствуем ли мы меркам успеха, принятым в нашей среде.

Он показал, что эта тревога является одной из наиболее распространённых форм страдания в современном обществе и одной из наиболее замалчиваемых, потому что признаться в ней стыдно:

это значит признать, что мнение других важно для тебя больше, чем ты готов показать.

Я хочу поговорить с тобой об этой тревоге подробно.

О том, откуда она берётся, как выглядит, что с тобой делает и почему достоинство, о котором я говорил тебе с самого первого письма, принципиально несовместимо с жизнью в её власти.

Откуда берётся статусная тревога

Человек — существо социальное.

Это не слабость характера и не пережиток эволюции, от которого нужно освободиться.

Это часть нашей природы, созданной для жизни в отношениях, в общине, в связи с другими.

Нам важно, как нас воспринимают, потому что мы созданы для принадлежности, а принадлежность предполагает взаимное признание.

Это нормально.

Проблема не в том, что мнение других важно.

Проблема в том, когда оно становится единственным или главным критерием самооценки.

Когда человек перестаёт иметь внутреннюю точку отсчёта и начинает строить представление о себе исключительно из того, как его видят другие.

Тогда его самоощущение становится заложником чужих взглядов, и эта зависимость производит тревогу, которую нельзя унять никаким достижением, потому что взгляды других всегда непредсказуемы, всегда недостаточны и никогда не дают того, чего человек на самом деле ищет.

Тревога усиливается специфическими условиями нашей эпохи.

Традиционное общество давало человеку фиксированное место в иерархии, и это место не зависело от его ежеминутных усилий.

Крестьянин был крестьянином.

Ремесленник — ремесленником.

Дворянин — дворянином.

Это могло быть несправедливо и часто было.

Но это давало определённости: человек знал, кем он является, и не тратил жизнь на её доказательство.

Современное общество сняло фиксированность иерархии, и это освобождение обернулось новым бременем.

Теперь каждый может подняться, и именно поэтому каждый обязан подниматься.

Если ты не поднялся — это твоя вина, твой провал, твоя несостоятельность.

Социальная мобильность, будучи подлинным благом, одновременно производит перманентную тревогу:

место в иерархии никогда не закреплено, всегда под угрозой, всегда требует подтверждения.

Ты поднялся, но ты можешь упасть.

И это знание не отпускает.

Социальные сети усилили это до невыносимого:

теперь иерархия измеряется числами и видна всем в реальном времени.

Количество подписчиков.

Лайки.

Репосты.

Место в рейтинге.

Всё публично.

Всё сравнимо.

Всё обновляется каждую секунду.

Тревога, которая прежде была фоновым шумом жизни, стала её центральным содержанием для миллионов людей.

Чужие гербы на собственной груди

Теперь о том, как статусная тревога выражается внешне.

О том, что человек делает с собой, пытаясь решить эту тревогу через предметы.

В старой Европе герб был знаком рода.

Он вышивался на одежде, вырезался на печати, рисовался на щите.

Герб говорил:

я из этого рода, я несу эту историю, я принадлежу к этой линии.

Герб был знаком принадлежности, но принадлежности подлинной: к конкретной семье, с конкретной историей, с конкретными обязательствами.

Носить чужой герб было немыслимо — это было бы ложью о происхождении, присвоением чужой идентичности.

Слуги носили ливреи с гербом господина.

Лакей ходил с чужим гербом, именно потому что был лакеем.

Это не оскорбление — это описание социальной функции:

лакей представлял не себя, а своего господина.

Его одежда говорила не «я», а «он».

Посмотри теперь на то, что происходит с людьми в наше время на каждой улице, в каждом аэропорту, в каждом офисе.

Громкие буквы на груди, на поясе, на сумке — Louis Vuitton, Gucci, Supreme, Off-White, Balenciaga.

Логотип, занимающий половину предмета одежды.

Бренд, видимый с расстояния десяти метров.

Человек, превративший себя в рекламный носитель чужого имени.

Это и есть чужой герб на собственной груди.

Только господин теперь не аристократ, а корпорация.

И лакей платит за ливрею сам — немалые деньги, порой последние.

И при этом считает, что демонстрирует собственный статус.

Но посмотри, что именно он демонстрирует.

Он говорит миру:

я могу позволить себе продукт этого бренда.

Или — он хочет, чтобы мир думал, что он может это позволить, — что производит отдельную и ещё более печальную категорию подделок.

В любом случае это сообщение о покупательной способности, упакованное в знак принадлежности к группе людей, которые носят тот же логотип.

Настоящий аристократ Духа — исторический, подлинный, а не карикатурный — никогда не кричал своим статусом.

Английская аристократия выработала целый кодекс намеренной неброскости:

потёртый твид, старые сапоги, отсутствие новизны как знак того, что тебе не нужно ничего доказывать.

«Новые деньги кричат. Старые деньги молчат» — это не снобизм.

Это наблюдение о том, что человек с подлинной укоренённостью не нуждается в демонстрации, потому что знает, кем является, без внешнего подтверждения.

Человек с подлинным достоинством носит своё — не чужое.

Его одежда, его вещи, его стиль говорят о нём, о его вкусе, о его истории, о том, что ему дорого.

Не о том, какой корпорации он отдал деньги и сколько именно.

Носить чужой логотип как знак статуса — значит признавать, что у тебя нет собственного знака.

Что ты определяешь себя через принадлежность к бренду, а не через то, кем являешься.

Это и есть лакейство — не в обидном смысле, а в точном:

представлять чужое имя вместо своего.

Что тревога делает с достоинством

Достоинство — это внутренняя устойчивость, не зависящая от внешней оценки.

Человек с достоинством ведёт себя одинаково, когда на него смотрят и когда не смотрят.

Одинаково с теми, кто выше него по социальной шкале, и с теми, кто ниже.

Одинаково в успехе и в неудаче.

Не потому что он нечувствителен к оценке, а потому что его самоощущение не строится на ней.

Статусная тревога разрушает достоинство — не одним ударом, а медленно, ежедневно, через маленькие решения.

Через слова, сказанные для производства впечатления, а не потому что так думаешь.

Через мнения, принятые из страха показаться несовременным или отставшим.

Через отношения, выбранные по соображениям полезности для репутации.

Через наём на работу, потому что она «престижна», а не потому что она твоя.

Через одежду, купленную потому что «так носят», а не потому что она тебе нравится.

Каждый такой выбор — микроскопическое предательство себя.

Каждое предательство — шаг к тому человеку, который живёт не свою жизнь, а жизнь, одобренную чужим взглядом.

Именно поэтому люди в постоянной статусной тревоге так устают — не от работы, а от постоянного управления впечатлением.

От необходимости следить за тем, как выглядят.

От страха сказать что-то, что снизит их в чужих глазах.

От невозможности расслабиться, потому что расслабление означает снятие контроля над образом, а образ — это всё, что есть.

Это рабство.

Не метафорическое.

Буквальное.

Человек в статусной тревоге является рабом чужого мнения.

Его свобода условна:

он свободен делать всё, но при условии, что это хорошо выглядит.

Это и есть то, что я называл свободой камня, скатившегося с горы:

движение без направления, определяемое не изнутри, а внешними силами.

Признание, которое не насыщает

Вот главный парадокс статусной тревоги, который необходимо понять однажды и запомнить навсегда:

она не лечится признанием.

Она кормится им.

Человек в статусной тревоге думает:

если меня признают, то я успокоюсь.

Если достигну следующего уровня, куплю следующую вещь, получу следующую должность, наберу следующие тысячу подписчиков — тревога уйдёт.

Но она не уходит.

Каждое признание даёт лишь краткое облегчение и немедленно порождает новую тревогу:

а вдруг это случайно?

а вдруг не повторится?

а вдруг другие достигли больше?

Кормить статусную тревогу признанием — всё равно что тушить огонь бензином.

Это потому что проблема не в количестве признания, а в том, откуда человек черпает самоощущение.

Если оно черпается снаружи — из чужих взглядов, из позиции в иерархии, из сравнения с другими, — то никакое количество внешних подтверждений не заполнит эту пустоту.

Потому что пустота образовалась не от недостатка признания — она образовалась от отсутствия внутреннего источника.

Святой Августин снова оказывается точнее всех психологов:

беспокойное сердце не успокаивается в достижениях.

Оно успокаивается только там, где находит нечто, равное его глубине.

А глубина человеческой души — как я говорил тебе с первого письма — равна образу Божию в ней.

Это не поэтическая формула.

Это антропологический факт, имеющий прямые практические следствия:

ни одна вещь, ни одна должность, ни один логотип, ни один миллион подписчиков не заполнит пространство, созданное для другого.

Как выглядит человек без статусной тревоги

Я хочу нарисовать портрет — не идеальный, а реальный.

Людей без статусной тревоги я встречал.

Они есть.

И они выглядят определённым образом.

Во-первых, они одинаковы с людьми разного положения.

С официантом и с министром они разговаривают в одном регистре, но не из показного демократизма, а потому что у них нет внутренней шкалы, по которой нужно перестраивать поведение.

Это не означает, что они не замечают разницы в знаниях или опыте.

Они её замечают и уважают.

Но человеческое достоинство для них одинаково у всех, и это не декларация, а практика.

Во-вторых, они не защищают своё мнение из тщеславия.

Они могут ошибаться и говорят об этом без мучений.

Не потому что им всё равно, а потому что их самоощущение не разрушается от признания ошибки.

Ошибка — информация, а не приговор.

В-третьих, они не хвастаются и не умаляют себя.

Обе крайности — бравлада и самоуничижение — являются признаками статусной тревоги:

первая пытается завоевать признание, вторая — защититься от его отсутствия, опередив чужую критику.

Человек без тревоги просто говорит о том, что есть.

Без преувеличения и без преуменьшения.

В-четвёртых — и это самое видимое — они носят своё.

Одеваются так, как им нравится, а не так, как принято в их среде или как демонстрирует принадлежность к нужной группе.

Это может выглядеть эксцентрично или совершенно обычно.

Но в этом нет расчёта на впечатление.

Это просто они.

Я помню одного очень старого человека — учёного, прожившего долгую и значительную жизнь, — который преподавал у нас в университете.

На нём был пиджак, явно купленный лет двадцать назад, и галстук, который вышел из моды ещё раньше.

Никакого логотипа, никакого сигнала принадлежности ни к какой группе.

Он говорил с одинаковым вниманием со студентами и с профессорами.

Когда кто-то с ним не соглашался, он слушал с искренним интересом, а не с защитной позицией.

Я не знаю, был ли он верующим.

Но в нём было нечто, что я могу описать только одним словом: укоренённость.

Он знал, кем является, и это знание не зависело от того, знали ли об этом другие.

Это и есть достоинство.

Оно не требует чужих гербов.

Как работать со статусной тревогой в себе

Несколько конкретных вещей — не для её уничтожения, а для её ослабления.

Первое: замечай момент, когда делаешь что-то для впечатления, а не для себя.

Не осуждай себя.

Просто замечай.

Покупаешь вещь — для кого?

Высказываешь мнение — своё или то, которое выгодно иметь в этой компании?

Устраиваешься на работу — потому что она твоя или потому что она «звучит»?

Замечание без осуждения — первый шаг к тому, чтобы начать выбирать иначе.

Второе: практикуй анонимное хорошее.

Делай что-то ценное там, где это никто не увидит.

Помоги кому-то так, чтобы об этом не знали.

Сделай работу лучше, чем требуется, там, где это не оценят.

Это не аскеза ради аскезы.

Это тренировка действия из внутреннего источника, а не из внешнего.

Каждый раз, когда ты делаешь хорошее без свидетелей, ты немного перемещаешь точку отсчёта внутрь.

Третье: сравнивай себя с собой, а не с другими.

Это звучит банально, но при этом это самая трудная вещь в мире в условиях социальных сетей, созданных именно для сравнения.

Единственное сравнение, имеющее смысл для твоего роста, — кем ты был год назад и кем ты стал сейчас.

Чужие достижения — не твоя мерка.

У каждого свой путь, своя скорость, своя задача.

Четвёртое: одевайся для себя.

Попробуй однажды выйти в чём-то, что тебе нравится, что выражает что-то настоящее о тебе, а не что «модно» или что «правильно» для твоей среды.

Посмотри, что ты чувствуешь.

Свобода, которая приходит от того, что ты носишь своё, а не чужое, — это маленькое, но реальное переживание достоинства.

Пятое, и самое важное: найди что-то, что ты любишь делать вне зависимости от того, оценивают ли это.

Что-то, что имеет ценность для тебя само по себе, но не как строчка в резюме, не как тема для разговора в компании, не как контент для ленты.

Просто потому что это хорошо и это твоё.

Это место — где ты делаешь что-то ради самого дела — является точкой роста внутреннего источника.

Чем больше этого места в жизни, тем меньше нужда в чужих гербах.

Чужой герб на своей груди — это не украшение.

Это признание в том, что своего нет.

У тебя он есть.

Найди его.

И носи его.

Твой отец

ПИСЬМО XXI

***О молодёжной анестезии, или юфаназия и
невозможность повзрослеть***

*О Роджере Скрутоне, о культуре, застрявшей в подростковом возрасте, о том,
почему взросление стало непопулярным и что значит войти в традицию, которой
тебя никто не научил*

Оксфорд, конец лета — в городе, где юность длится дольше всего

Мой дорогой мальчик,

Английский философ, которого я уже упоминал в этих письмах несколько раз и которого я считаю одним из самых честных мыслителей второй половины двадцатого века, придумал слово.

Он взял английское слово youth (молодость) и превратил его в глагол, а затем в существительное с греческим суффиксом, обозначающим умирание.

Получилось yoofanasia — эвтаназия молодостью, смерть через молодость, убийство временем юности.

По-русски это непреводимо точно, но смысл можно передать:

состояние человека, который не умер молодым, но и не вырос.

Который застрял в молодости не потому что хотел, а потому что традиция, в которую можно было войти, была разрушена раньше, чем он родился.

Это письмо о юфаназии.

Об одной из самых болезненных и наименее понимаемых болезней нашей культуры.

Что значит повзрослеть в точном смысле

Начнём с того, что взросление не является просто биологическим процессом.

Тело взрослеет само — без усилий, по программе, заложенной природой.

Душа взрослеет иначе: через встречу с традицией, через принятие ответственности, через вход в мир, существовавший до тебя и долженствующий существовать после.

Взросление в этом смысле — это переход от «я есть центр мира» к «я есть часть чего-то, что больше меня».

Традиционные общества имели для этого перехода специальные институты — обряды перехода.

Инициация.

Миропомазание.

Военная служба.

Профессиональное посвящение.

Это были не просто ритуалы — это были структурированные моменты, в которых общество говорило молодому человеку:

ты теперь другой. Тыходишь в мир взрослых. На тебя теперь ложится то, что лежало на тех, кто был до тебя. Прими это.

Эти институты передавали не только знание — они передавали тяжесть.

Тяжесть принадлежности к чему-то, что требует от тебя.

Что не спрашивает, хочешь ли ты этого.

Что существовало до тебя и будет существовать после.

Это и было взросление:

принятие тяжести, которую никто не снимает.

Современная культура систематически разрушила эти институты, сначала объявив их авторитарными и несвободными, потом просто перестав о них думать.

И образовалась пустота:

биологический взрослый, которому некуда войти.

Тело выросло, но традиции, которая бы его приняла и потребовала от него, нет.

Или она есть, но в таком атрофированном виде, что не ощущается как реальное требование.

Именно это и есть юфаназия в скрутоновском смысле:

не злобный выбор остаться в молодости.

А невозможность выйти из неё, потому что выходить некуда.

Потому что дверь, которая должна была быть открыта, была заперта ещё до твоего рождения.

Культура, застрявшая в подростковом возрасте

Посмотри на массовую культуру нашего времени.

Не критически, а просто как наблюдатель.

Кто является её центральным персонажем?

Подросток или молодой человек: тот, кто ищет себя, отвергает авторитеты, бунтует против условностей, живёт настоящим, не связывает себя обязательствами, ставит личную аутентичность выше социальной роли.

Это герой нашего времени — во всех смыслах: и в романах, и в кино, и в рекламе, и в политическом языке.

Взрослый — человек, принявший обязательства, вошедший в традицию, несущий ответственность за что-то большее, чем его собственное самовыражение, — почти исчез из культурного пространства как образец.

Или он присутствует в виде антагониста: скучный, несвободный, потерявший себя в ролях и обязанностях.

Взросление изображается как потеря, а не как приобретение.

Именно поэтому «молодость» стала высшей ценностью нашей культуры.

Не просто эстетической — сущностной.

Быть молодым означает быть правильным.

Оставаться молодым — добродетель.

Стареть — неудача.

Выглядеть на свой возраст — недостаток, который нужно исправлять.

Думать как ваше поколение — прогрессивно.

Думать как предыдущее — отстало.

Это не случайность.

Это система.

Роджер Скрутон видел в этом нечто глубоко тревожное — не потому что не любил молодость.

А потому что понимал:

культура, которая обожествляет молодость, тем самым обожествляет незавершённость.

Подросток прекрасен своей открытостью, но он ещё не пришёл никуда.

Он ещё не принял ничего окончательно.

Он ещё не несёт ответственности за что-то большее, чем он сам.

Культура, превратившая это состояние в идеал, создала мощный механизм задержки взросления и назвала его освобождением.

Что именно задерживается

Я хочу назвать конкретные вещи, которые не происходят с человеком, застрявшим в юфаназии.

Первое: не формируется способность к долгосрочному обязательству.

Обязательство — брак, профессиональное призвание, религиозная принадлежность, политическая ответственность — требует принятия того, что ты не знаешь заранее.

Ты обязуешься сейчас, и это обязательство будет требовать от тебя вещей, которые ты сейчас не можешь предвидеть.

Именно эта неопределённость и является содержанием обязательства:

не «я буду делать это, пока это меня устраивает», а «я буду делать это».

Точка.

Молодёжная культура не имеет инструментов для этого — и активно против обязательств.

«Не закрывай варианты».

«Ты можешь изменить своё мнение».

«Главное — оставаться собой» — где «оставаться собой» означает не менять себя под давлением обязательства, а значит, не взрослеть.

Человек, отказавшийся от всех долгосрочных обязательств, не является более свободным.

Он является недостроенным.

Второе: не формируется способность к смерти — не в смысле биологическом, а в смысле смерти старого себя ради нового.

Взросление требует отказа от чего-то.

Нельзя войти в брак, не отказавшись от определённого типа свободы.

Нельзя стать родителем, не перестав быть центром своего мира.

Нельзя принять призвание, не закрыв другие пути.

Нельзя войти в традицию, не отказавшись от части своей частной «аутентичности».

Молодёжная культура обещает, что можно всё, и при этом возможно ничего не терять.

Что можно быть верным всем своим «я» одновременно.

Что любое ограничение является насилием над личностью.

Это ложь.

И очень дорогостоящая.

Потому что человек, отказывающийся от всякой смерти старого себя, не может родиться заново.

Он остаётся при первоначальном материале — с прибавлением лет, но без прибавления глубины.

Третье, и это то, что Роджер Скрутон слышал как главную ноту юфаназии:
человек не наследует.

Он не принимает то, что было до него, как своё.

Не берёт ответственности за то, что будет после него.

Он живёт в настоящем.

Но не в богатом, укоренённом настоящем человека, стоящего на плечах предшественников, а в тонком, пустом настоящем человека, у которого нет ни корней, ни кроны.

Роджер Скрутон писал о культуре как о разговоре между мёртвыми и ещё не рождёнными.

Ты стоишь посередине этого разговора и являешься его проводником.

Именно это и есть взросление:

принять роль проводника.

Принять то, что тебе передали, переработать это через собственный опыт и передать дальше.

Юфаназия отказывается от этой роли:

она не принимает и не передаёт.

Она потребляет настоящее.

Почему взросление стало непопулярным

Честный ответ неудобен, потому что он указывает не только на культуру, но и на конкретных людей, сделавших конкретные выборы.

Взросление стало непопулярным потому что оно трудно.

Обязательство трудно.

Ответственность трудна.

Принятие традиции трудно, особенно когда традиция несёт в себе не только красоту, но и требование.

Принятие смерти старого себя — болезненно.

Всё это трудно.

И культура, оптимизированная под немедленный комфорт и минимизацию боли, неизбежно производит механизмы, позволяющие этого избежать.

Но есть ещё одна причина, о которой говорят реже:

взросление стало непопулярным потому что оно ведёт в традицию, а традиция была дискредитирована.

Не всегда без оснований:

в традиционных институтах — семье, церкви, государстве, армии — было много насилия, несправедливости, злоупотреблений.

Критика этих институтов в двадцатом веке была в значительной мере справедливой.

Но критика, которая не умеет различать живое в традиции от мёртвого, производит не обновление, а уничтожение.

Когда традиционные институты дискредитированы полностью, то пустота, которая образуется на их месте, заполняется не свободой и не расцветом личности.

Она заполняется юфаназией.

Подростковой пустотой, для которой нет слов, потому что слова принадлежали традиции, которую уничтожили.

Именно это имел в виду Роджер Скрутон, когда писал об этом:

юфаназия — это не злой умысел молодёжи.

Это зашифрованный крик о пустоте, для которой не осталось языка.

Молодой человек, который не может повзрослеть, не обязательно не хочет.

Он часто хочет, но смутно, неопределённо, не зная, чего именно хочет.

Он ищет что-то, во что можно войти по-настоящему.

Что предъявит к нему требование.

Что будет больше него.

И не находит, потому что те, кто мог бы это предложить, уже несколько десятилетий убеждали его, что никакого «большого» нет и быть не должно.

Особые формы юфаназии в наше время

Позволь назвать несколько конкретных форм, в которых это явление живёт сегодня, потому что оно не всегда выглядит как человек в наушниках с попкорном.

Первая: вечный студент.

Человек, годами остающийся в образовательных институтах не потому что учится, а потому что они предлагают защищённую среду, не требующую взрослых обязательств.

Университет — прекрасное место.

Но когда он становится убежищем от жизни, а не подготовкой к ней, — это юфаназия в академическом пространстве.

Вторая: вечный искатель себя.

Человек, переходящий от одного опыта, одной страны, одной профессии, одного партнёра к другому — в поисках «настоящего себя».

Поиск подлинности — благородная задача.

Но когда поиск становится самоцелью и заменяет нахождение, — это не духовное путешествие.

Это отказ от того момента, когда нужно остановиться и начать строить.

Третья: терапевтическая идентичность.

Человек, определяющий себя через свои уязвимости, травмы и диагнозы — не как временное состояние, требующее работы, а как постоянную идентичность, дающую права и освобождающую от обязательств.

Это особенно болезненная форма юфаназии:

она берёт настоящую боль, которая есть, и превращает её в постоянную прописку, из которой незачем выходить.

Четвёртая, самая распространённая и самая незаметная: потребительская вечная молодость.

Человек, чья жизнь организована вокруг потребления культурных продуктов, предназначенных для молодой аудитории, — музыки, кино, игр, сериалов — в любом возрасте.

Не потому что он плохой человек.

А потому что эти продукты не требуют взросления, они обращаются к нему как к вечному подростку, и он охотно принимает эту роль.

Это и есть то, что производит культурная индустрия в первую очередь:

вечного потребителя, который не взрослеет, потому что взрослый человек потребляет меньше.

Что значит войти в традицию практически

Теперь о том, как это выглядит в реальной жизни.

Не как философская позиция, а как конкретные шаги.

Войти в традицию означает принять что-то большее тебя как своё.

Это может быть религиозная традиция — и тогда это требует не только знания, но и практики, дисциплины, принятия требований, которые не всегда удобны.

Это может быть художественная традиция — и тогда это требует долгого ученичества, принятия мастеров прошлого как авторитетов, работы по стандартам, которые ты не устанавливал.

Это может быть профессиональная традиция — и тогда это требует уважения к тому, что было до тебя, даже когда ты с этим не согласен.

Во всех случаях есть одно общее: ты принимаешь нечто, что существовало до тебя, не потому что ты лично всё в нём одобряешь, а потому что оно несёт в себе накопленную мудрость, превышающую твой личный опыт.

Это смирение — не уничижение, не отказ от критической мысли, а честное признание:

они жили дольше, думали глубже, страдали и радовались больше, чем я успел до сих пор. Мне есть чему у них учиться.

Это противоположно той позиции, которую современная культура преподносит как норму:

каждое поколение начинает заново, предыдущий опыт нерелевантен, традиция — это груз, от которого нужно освободиться.

Это позиция вечного подростка:

всё, что было до меня, не имеет значения, потому что я новый и особенный.

Но подросток, который думает, что он первый, кому было шестнадцать лет, — ошибается.

И взрослый, который думает, что его поколение открыло нечто, что до него не понимали, — как правило, тоже.

Роджер Скрутон писал о «слушании мёртвых» как о принципиальной установке культурного человека.

Мёртвые — не просто прошлое.

Это люди, которые прожили жизнь до конца, которые видели последствия своих решений, которые знали о смерти не как об абстракции, а как о реальности.

Их слова весят иначе именно потому, что они прошли через то, что ты ещё не прошёл.

Слушать их — не значит слепо соглашаться.

Значит принимать всерьёз.

О родителях и детях: передача и принятие

Есть одно измерение юфаназии, о котором мне важно сказать отдельно, потому что оно касается нас с тобой напрямую.

Взросление происходит в отношениях с родителями, и один из его главных актов — это принятие того, что они передают.

Не слепое согласие со всем.

Не идеализация.

Но принятие:

они жили, они думали, они пришли к чему-то, и это «что-то» имеет отношение ко мне. Мне не нужно принимать всё. Но мне нужно отнестись к этому всерьёз.

Современная культура систематически разрушает эту передачу.

Она говорит:

твое поколение умнее. Твои родители не понимали того, что понимаешь ты. Традиция, которую они несли, устарела. Твоя задача — освободиться, а не наследовать.

Это и есть хамство в библейском смысле, о котором я писал тебе в самом начале.

Хам не убил отца.

Он над ним посмеялся.

Он отказался прикрыть его.

Он решил, что уязвимость отца освобождает его от обязательства уважения.

Культура юфаназии делает то же самое: она смеётся над отцами — над их ценностями, над их верой, над их обязательствами — и называет это взрослением.

Настоящее взросление — противоположное.

Это когда ты можешь увидеть и слабости родителей, и их достоинство.

Когда можешь не соглашаться с ними и при этом принимать то, что они передают.

Когда можешь быть другим и при этом чувствовать себя частью той же линии.

Именно это я пишу тебе в этих письмах.

Не потому что думаю, что ты со всем согласишься.

А потому что хочу, чтобы у тебя была традиция, в которую можно войти или от которой можно оттолкнуться сознательно, а не случайно.

Потому что случайное отторжение — это не свобода.

Это сиротство.

Выход из юфаназии

Выход — это не «стань серьёзным» и не «откажись от радости».

Это не морализаторство о том, что молодёжь деградировала.

Молодёжь не деградировала.

Она оказалась в культурной пустоте, которую создали не она.

Выход — это найти что-то достаточно большое и достаточно требовательное, чтобы в него войти по-настоящему.

Что потребует от тебя больше, чем ты готов дать по умолчанию.

Что не спросит, удобно ли тебе.

Что будет существовать и тогда, когда ты перестанешь быть молодым, и потребует тебя и тогда тоже.

Это может быть вера.

Может быть призвание.

Может быть семья в глубоком смысле.

Может быть служение — не волонтерство ради ощущения, а настоящее служение, которое стоит тебе чего-то реального.

Может быть искусство, которому ты отдаёшься полностью, а не как хобби между делом.

Что бы это ни было — оно должно быть больше тебя.

И оно должно требовать тебя взрослого — не того, кто ищет, а того, кто нашёл и теперь строит.

Это и есть момент, который юфаназия откладывает бесконечно.

Не откладывай его.

Он уже пришёл.

Твой отец

ПИСЬМО XXII

О внешности, или как тело несёт душу

О том, что габитус есть не социальная роль, а духовное состояние, о единственном тесте, которому нельзя солгать, и о том, почему манеры важны именно потому, что они неважны

Рим, обед в хорошем ресторане с неподходящими людьми

Мой дорогой мальчик,

Позавчера за нашим столом сидел человек, которого я не знал прежде.

Его пригласил общий приятель; сам он был представлен как «успешный предприниматель» — формула, которая в наше время значит примерно столько же, сколько «неплохой малый» в прошлом.

К концу первого блюда я знал о нём то, чего он сам, по всей видимости, не знал: что он глубоко одинок, что привык к тому, что его не слушают, и что где-то в прошлом у него была более живая версия себя, которую он похоронил под деловым костюмом и уверенными суждениями.

Я не читал мыслей.

Я читал тело.

Филип Честерфильд писал сыну о манерах как о практическом искусстве:

умей войти, умей поклониться, умей вовремя замолчать, и мир откроется перед тобой.

Он был прав в своём веке, но я хочу сказать тебе нечто другое.

Меня занимают манеры не как инструмент успеха, а как свидетельство.

Тело — это единственное место, где человек перестаёт лгать.

Не потому что оно умнее головы.

А потому что его труднее контролировать.

Слова мы выбираем.

Жесты выбирают нас.

Французский социолог, о котором я уже писал, назвал это габитусом.

Но я хочу сказать о нём иначе, чем он:

не как о социальной позиции, усвоенной в детстве, а как о духовном состоянии, воплощённом в плоти.

Потому что именно в этом разница, принципиальная для всего разговора.

Если габитус только социальная история, то его можно переписать, усвоив другую среду.

Новые манеры вместо старых.

Хорошая школа, правильные знакомства, несколько лет в правильном городе, и тело научится другому коду.

Именно так его понимают люди, продающие курсы уверенности и деловой харизмы.

Но я вижу другое.

Я вижу, что тело несёт не только среду.

Оно несёт то, что происходит внутри.

Что в нём отпечатывается не только то, как тебя воспитали, но и то, чем ты живёшь сейчас.

Что человек, годами принуждающий себя к честности, начинает двигаться иначе, чем тот, кто годами от неё уклоняется.

Что человек, умеющий любить, занимает пространство иначе, чем тот, кто умеет только потреблять.

Именно поэтому манеры важны не сами по себе.

Они важны как симптом.

Не как маска — как зеркало.

И именно поэтому их нельзя купить целиком:

можно купить верхний слой, но под ним тело всё равно скажет правду.

Тест на подлинность

Есть один тест, который я считаю самым надёжным из всех.

Не «как человек входит в комнату» и не «как держит вилку».

Вот он:

как человек ведёт себя с тем, кто ничего не может ему дать.

С официантом.

С уборщицей.

С охранником на входе.

С кассиром в супермаркете.

С человеком, который оказался рядом не потому что выбрал, а потому что так вышло: попутчик в поезде, сосед в очереди, незнакомый, попросивший закурить.

Здесь, и только здесь, исчезает расчёт.

Нет никакой выгоды в том, чтобы быть внимательным к официанту.

Нет социальных последствий за то, чтобы посмотреть сквозь охранника, как сквозь стекло.

Именно поэтому тело в этот момент говорит правду.

Тот человек за столом — «успешный предприниматель», заказывал блюда, не глядя на официанта.

Не грубо.

Просто так, как смотрят на меню.

Официант для него был функцией, а не человеком.

Это не было жестокостью.

Это было нечувствием.

И именно нечувствие, а не злость, не высокомерие, а именно это ровное, хорошо смазанное нечувствие, является тем, что я называю хамством в его самой обыкновенной форме.

Сим и Иафет, братья Хама, взяли одежду и пошли задом наперёд, чтобы не видеть наготы отца.

Не потому что в Законе был прописан ритуал.

Просто потому что в них было что-то, что не позволяло смотреть на уязвимость без благоговения.

Этот «что-то» не описывается словами.

Но он читается в жесте — в том, как они повернулись спиной к тому, на что не хотели смотреть случайно.

Смотри на то, как человек поворачивается к тем, от кого ему ничего не нужно.

Там — его настоящее лицо.

Тишина как исповедь

Второй признак, который я замечаю прежде других:

как человек обращается с тишиной.

Не с молчанием — это другое.

Молчать можно демонстративно, можно от усталости, можно из вежливости.

Я говорю о той особой паузе в разговоре, когда больше нечего сказать и ждёшь, придёт ли что-нибудь само.

Большинство людей эту паузу не выносят.

Они заполняют её словами, телефоном, взглядом куда-нибудь в сторону.

Но некоторые — ждут.

Спокойно.

Без тревоги.

Как будто тишина для них не пустота, которую нужно срочно заполнить, а пространство, в котором что-то может произойти.

Я всегда доверяю людям, умеющим молчать без напряжения.

Не потому что молчание само по себе добродетель.

Бывает молчание замкнутое, молчание злое, молчание от нечего сказать.

Я доверяю именно тому молчанию, которое не требует зрителей.

Которое не работает на впечатление.

Которое просто есть — как дыхание.

В таком молчании видно, есть ли в человеке что-то своё.

Что-то, не нуждающееся в постоянном внешнем подтверждении.

Именно об этом я писал тебе в письме о форме:

человек без внутреннего содержания невыносимо боится тишины, потому что в тишине обнаруживается то, что обычно спрятано за шумом.

А там — пусто.

Тот предприниматель за столом заполнял любую паузу.

Не из общительности.

Из тревоги.

Это было видно по тому, как менялось его лицо в промежутках между фразами:

на долю секунды в нём появлялось что-то похожее на растерянность, и он немедленно её закрывал следующим словом.

Говорил много.

Говорил уверенно.

И был при этом одним из самых одиноких людей за тем столом.

Чужой успех как зеркало

Третье, что я читаю в теле:

как человек реагирует на чужой успех.

Не на чужое страдание.

Там всё проще, сочувствие почти автоматически.

А именно на успех.

На то, что у другого получилось.

Что другой поднялся.

Что кто-то рядом сделал нечто, достойное восхищения.

В этот момент тело не лжёт.

Радость — настоящая, не управляемая, открывает лицо.

Ему невозможно притвориться открытым, если внутри в этот момент что-то сжалось.

Губы могут улыбаться, но глаза чуть-чуть опаздывают.

Аплодисменты могут быть громкими, но руки движутся без того особого усилия, который бывает, когда хлопаешь по-настоящему.

Я писал тебе о *ressentiment*, о той хронической боли человека, который хочет не подняться сам, а чтобы другой не поднимался.

Здесь он становится виден телесно.

Не в словах, не в поступках — в этой долисекундной задержке отклика, в этой чуть зауженной улыбке, в этом взгляде, который куда-то уходит в тот момент, когда должен был остаться.

Замечай это в других.

И замечай в себе.

Это важнее.

Когда ты узнаёшь о чужой удаче, что происходит в первые полсекунды, до того как ты успел что-то подумать?

Если там — открытость, лёгкость, что-то похожее на радость, значит, огонь горит.

Если что-то сжимается — это не приговор, но это информация.

Важная.

Присутствие как дар

Теперь о том, что я называю присутствием, и что, по моему убеждению, является главным из всего, что можно прочесть в теле другого человека.

Есть люди, рядом с которыми чувствуешь себя настоящим.

Не потому что они говорят приятные вещи или демонстрируют восхищение.

А потому что ты ощущаешь:

тебя видят.

Не образ тебя.

Не функцию, которую ты выполняешь.

Именно тебя.

С тем, что ты сейчас говоришь, с тем, что ты сейчас чувствуешь, с тем, что ты не договариваешь.

Это ощущение производится не словами и не специальными техниками «активного слушания».

Оно производится телесно.

Тем, как человек смотрит.

Не в твои глаза как в точку, а в тебя целиком.

Тем, как он чуть-чуть наклоняется вперёд, когда ты говоришь что-то важное.

Тем, как его молчание в ответ на твои слова является не паузой перед собственной репликой, а действительным принятием того, что ты только что сказал.

Это и есть то, что Симона Вейль называла вниманием как редчайшей формой щедрости.

Когда человек полностью уделяет тебе себя — не потому что так положено, не из вежливости, а потому что в нём достаточно тишины, чтобы ты в ней поместился.

Homo Vulgaris этого не умеет.

Не потому что жаден.

Потому что у него нет этой тишины внутри.

Он слушает тебя и одновременно формулирует ответ.

Он кивает и думает о своём.

Он спрашивает «как дела» и уже смотрит мимо.

Разговор с ним оставляет тебя с ощущением, которое трудно сформулировать:

как будто тебя нет.

Как будто ты говорил в пустоту, которая умеет отвечать.

Это не злой умысел.

Это просто человек, не умеющий выйти из себя навстречу другому.

Потому что для этого нужно нечто — назови это укоренённостью, формой, покоем, — что позволяет тебе отпустить себя, зная, что вернёшься.

Человек без этого держится за себя обеими руками.

И именно поэтому никого другого не вмещает.

Почему я написал это письмо

Я написал тебе это письмо после того обеда, потому что долго смотрел на того человека и думал о том, что видит в нём его сын.

Видит ли он то, что вижу я: одиночество под уверенностью, тревогу под шумом, пустоту под успехом?

Или привык, и больше не читает?

Дети перестают читать родителей раньше, чем родители думают.

Не потому что становятся невнимательными, а потому что привыкают.

Тело отца или матери становится знакомым пейзажем, в котором уже давно не ищут смысл.

Я не знаю, читаешь ли ты меня.

Не в смысле — читаешь ли эти письма.

В смысле — видишь ли ты меня, когда я захожу в комнату.

Замечаешь ли ты, как я молчу.

Как реагирую на чужую удачу.

Как смотрю на официанта.

Я надеюсь, что видишь.

Не потому что я хочу быть увиденным, хотя это тоже правда.

А потому что именно это чтение тела — настоящее, без скидок, — является тем, как дети учатся у родителей тому, чему нельзя научить словами.

Читай.

Не для того чтобы судить.

Для того чтобы знать и помнить, что тебя тоже читают так же.

Всегда.

Твой отец

ПИСЬМО XXIII

О языке хама, или как речь обнажает душу

О том, что слова — не украшение мысли, а её плоть, о клише как симптоме, о языке толпы и языке личности и о том, почему умение говорить точно есть нравственный, а не только эстетический вопрос

Москва, долгий разговор, который не состоялся

Мой дорогой мальчик,

Несколько дней назад я провёл два часа в компании человека, который говорил много и быстро.

Он был умён — или, во всяком случае, производил впечатление умного, что не одно и то же.

Но к концу разговора я поймал себя на том, что не могу вспомнить ни одной его фразы.

Не потому что не слушал.

А потому что ни одна фраза не была его.

Каждое утверждение было готовой конструкцией — заимствованной, обкатанной, лишённой той шероховатости, которая появляется, когда человек ищет слово для собственной мысли.

Он не говорил — он воспроизводил.

Красиво, бегло, уверенно.

Но это была не его речь.

Это был язык среды, пропущенный через его голосовые связки.

Именно об этом — о языке как зеркале — я хочу написать тебе сегодня.

Не о стилистике и не о грамматике.

О том, что речь человека является, возможно, самым точным из всех его портретов.

Потому что притвориться говорить труднее всего.

Слово и мысль: что первично

Существует расхожее представление, которое я считаю опасным заблуждением:

будто мысль первична, а слово лишь её выражение, одежда, которую можно снять и надеть другую, не меняя того, что под ней.

По этой логике, важно что думаешь.

А как говоришь, — дело второстепенное.

Это неверно.

И важно понять, почему.

Мысль не существует до слова в том виде, в каком мы её знаем.

Она формируется в слове, и именно поэтому точность слова является условием точности мысли.

Когда ты ищешь нужное слово, ты не ищешь способ выразить уже готовую мысль.

Ты ищешь саму мысль.

Именно в этом поиске она и рождается.

Именно поэтому писать и говорить точно — это не риторическое упражнение.

Это мышление в действии.

Из этого следует нечто важное:

человек, говорящий клише, не просто неточно выражает свои мысли.

Он не думает.

Клише — это готовая конструкция, освобождающая от необходимости думать по существу.

Это мысль, купленная в готовом виде у неизвестного производителя и употребляемая без проверки содержания.

Банкнота, на которую уже нельзя ничего купить, потому что она истёрта до потери номинала.

Один великий английский эссеист написал небольшой текст о политическом языке, который начинается с наблюдения, актуального значительно шире политики:

когда человек говорит готовыми фразами, он перестаёт думать, и именно это делает его опасным.

Не потому что он злонамерен.

А потому что готовая фраза уже содержит в себе готовый вывод, и тот, кто её употребляет, принимает этот вывод, не зная об этом.

Клише как симптом

Позволь перечислить несколько видов клише — не для того чтобы ты стал чистить речь ради эlegantности, а для того чтобы ты научился слышать, что за ними стоит.

Первый вид: клише идентичности. «Я человек простой», «я называю вещи своими именами», «я не люблю политику», «мне всё равно, что думают другие» — эти конструкции говорят не о том, кем человек является, а о том, каким он хочет казаться.

«Человек простой» — сигнал принадлежности к определённой группе, часто сопровождаемый весьма сложным поведением.

«Называю вещи своими именами» — как правило, предисловие к грубости, которая таким образом заранее легитимизируется.

«Мне всё равно, что думают другие» — одна из самых часто произносимых фраз людьми, максимально зависящими от чужого мнения.

Второй вид: клише сложности. «Всё относительно», «у каждого своя правда», «это сложно», «нельзя осуждать, не побывав на его месте» — эти конструкции делают вид, что произносящий их думает глубоко — на самом деле они освобождают от необходимости думать вообще.

Если «всё относительно» — не нужно разбираться, что именно происходит в конкретной ситуации.

Если «у каждого своя правда» — не нужно искать общую.

Если «это сложно» — не нужно пытаться распутать.

Третий вид, наиболее распространённый в наше время: клише добродетели.

Слова и фразы, сигнализирующие о правильной групповой принадлежности.

Их конкретное содержание быстро меняется в зависимости от политического момента, но структура неизменна:

это слова-флаги, употребляемые не для описания реальности, а для маркировки себя как «своего».

Их характерный признак — невозможность с ними не согласиться без немедленного социального штрафа.

Именно поэтому они так быстро распространяются, и именно поэтому их употребление так мало говорит о реальных убеждениях говорящего.

Как говорит Homo Vulgaris: семь признаков

Попробую нарисовать речевой портрет — не карикатурный, а точный.

Первое: Homo Vulgaris говорит быстрее, чем думает.

Темп его речи опережает темп мысли, и именно поэтому речь заполняется готовыми конструкциями.

Пауза для него некомфортна:

она означает, что мысль не готова, а это воспринимается как слабость.

Лучше сказать что-то немедленно — пусть клишированное, чем помолчать в поисках точного.

Второе:

он не слышит того, что говорит сам.

Это кажется невероятным, но это так.

Клише произносятся автоматически, как дыхание.

Человек, произносящий «в наше непростое время», как правило, не думает о том, что говорит.

Он не задаётся вопросом:

а каковы признаки «непростоты» именно этого времени по сравнению с другими?

Слова произносятся и исчезают, не оставив следа в сознании говорящего.

Третье:

он использует язык как инструмент позиционирования, а не как инструмент понимания.

Его слова сообщают не о реальности, а о нём самом.

О его принадлежности, его статусе, его правоте.

«Я понимаю, конечно, но...» — не честное признание чужой точки зрения, а риторический жест перед опровержением.

«Со всем уважением...» — предисловие к неуважению.

«Я могу ошибаться, но...» — не реальное допущение ошибки, а способ сказать то, что хочется, с защитным покрытием.

Четвёртое:

он боится молчания и заполняет его словами без смысла.

«Вот», «короче», «ну», «как бы», «в принципе», «на самом деле» — эти слова-паразиты являются не признаком ограниченного словарного запаса, а признаком неспособности выдержать паузу.

Это шум, производимый тогда, когда мысль ещё не пришла, но молчать страшно.

Пятое:

он употребляет усиления там, где нужна точность.

«Абсолютно», «совершенно», «стопроцентно», «однозначно» — эти слова компенсируют недостаточную точность мысли интенсивностью интонации.

Если мысль точна — она не нуждается в усилении.

Если её нужно усиливать — значит, она сама по себе недостаточно убедительна даже для говорящего.

Шестое:

он использует язык агрессии там, где достаточно было бы языка описания.

«Это полный бред», «это просто смешно», «как вообще можно так думать» — эти конструкции заменяют разбор по существу эмоциональной реакцией.

Это не аргумент.

Это сигнал о том, что аргумента нет, но позиция должна быть сохранена.

Седьмое — и это самое тонкое: Homo Vulgaris не может сказать о том, что чего-то не знает.

Он заполняет незнание словами.

Истинная фраза «я не знаю» — редкость.

Вместо неё — «ну, это сложно», «тут всё не так однозначно», «у каждого своя точка зрения».

Эти конструкции создают видимость умеренности и сложности мышления, но на самом деле они прячут отсутствие знания за нейтральным языком.

Точность как нравственная категория

Теперь о том, почему это не только эстетический, но и нравственный вопрос.

Язык служит двум целям:

пониманию и манипуляции.

Это не взаимоисключающие цели.

Почти любой язык содержит элементы обоих.

Но они задают принципиально разное направление речи.

Язык, направленный на понимание, ищет точное слово для точной вещи, даже когда это слово неудобно, когда оно описывает нечто, что было бы проще оставить неназванным.

Язык, направленный на манипуляцию, ищет слово, которое производит нужный эффект, независимо от того, соответствует ли оно реальности.

Клише почти всегда являются инструментами манипуляции.

Не потому что говорящий злонамерен, а потому что они по природе своей апеллируют к рефлексу, а не к мысли.

Они были созданы кем-то в какой-то момент для определённого эффекта

и продолжают производить этот эффект, передаваясь от человека к человеку без осмысления.

Именно поэтому точность языка есть нравственная обязанность

не только перед собеседником, но и перед реальностью.

Называть вещи точно значит уважать их такими, какие они есть, а не такими, какими удобно их видеть.

Это труд.

Это требует времени.

Это требует остановки перед словом и вопроса:

а то ли я хочу сказать?

Один польский поэт, проживший долгую жизнь в условиях тоталитаризма, — где государство владело языком и использовало его как инструмент контроля, — написал после освобождения нечто, что я запомнил навсегда:

говорить точно есть форма политического сопротивления.

Не потому что это героически.

А потому что любая система власти, основанная на манипуляции, живёт именно за счёт неточности языка — за счёт клише, эвфемизмов, готовых конструкций, которые называют вещи не своими именами.

Человек, говорящий точно, разрушает этот механизм своей речью, в своём маленьком пространстве.

Молчание как форма речи

Я хочу сказать кое-что, что звучит парадоксально:

часто самое умное, что можно сказать, — это ничего.

Молчание в разговоре — это не отсутствие слов.

Это присутствие, которое не нуждается в звуке.

Это пауза, в которой происходит что-то — мышление, слушание, ощущение ситуации.

Человек, умеющий молчать в нужный момент, говорит этим больше, чем тот, кто немедленно заполняет паузу.

«Я не знаю» — одна из самых умных фраз в языке.

Не как уклонение — как честность.

Сократ строил на ней всю философию.

Именно незнание, признанное честно, является началом познания.

Клише — это всегда знание, никогда не признающее своего незнания.

«Мне нужно подумать об этом» — тоже умная фраза.

Она сигнализирует:

я отношусь к вопросу серьёзно.

Настолько серьёзно, что не готов отвечать немедленно.

В культуре немедленных реакций это звучит странно, и именно поэтому это честно.

«Ты прав» — без «но».

Редчайшая конструкция.

Homo Vulgaris физически не может произнести «ты прав» без немедленного «но».

Потому что признать правоту другого без оговорки означает уступить пространство, а уступать пространство он не умеет.

Как говорит человек с внутренней формой

В противовес — портрет речи человека, в котором есть нечто настоящее.

Он говорит медленнее, чем ему хотелось бы.

Потому что ищет точное слово и не торопит этот поиск.

Паузы в его речи не пустые.

Они думающие.

Он говорит «я» реже, чем кажется необходимым.

Не из ложной скромности, а потому что его мысли чаще направлены на предмет разговора, чем на себя в разговоре.

Он умеет говорить о том, чего не знает, честно.

«Я не знаю», «я недостаточно разбираюсь в этом», «мне нужно подумать» — эти фразы он произносит без ощущения потери лица.

Потому что для него лицо не зависит от всезнания.

Он изменяет позицию в разговоре и говорит об этом прямо.

«Ты убедил меня», «я не думал об этом так» — без извинительных оговорок и без немедленного возврата к прежней позиции через боковую дверь.

Его метафоры — свежие.

Не потому что он специально избегает клише, а потому что он думает о конкретной вещи и ищет для неё конкретный образ.

Точный образ всегда немного неожиданен, потому что реальность всегда немного неожиданна, если смотреть на неё внимательно.

Он слышит себя.

Это самое редкое.

Он замечает, когда произносит что-то, что не соответствует тому, что думает, и останавливается, чтобы исправить.

Это требует определённой медленности и определённой честности по отношению к собственным словам.

Что делать практически

Несколько вещей, которые работают.

Первое:

читай хорошую прозу вслух.

Не для декламации — для того чтобы почувствовать, как устроена точная фраза.

Как слова стоят в ней.

Как один за другим.

Это тренирует слух на точность и постепенно начинает работать и в собственной речи.

Второе:

когда хочешь употребить готовую фразу, остановись и спроси:

а что я на самом деле имею в виду?

Иногда окажется, что готовая фраза подходит, потому что она действительно точна.

Иногда — что за ней нет ничего, кроме рефлекса.

Это уже важное различие.

Третье, и самое трудное и самое важное: позволяй себе не знать. Вслух. В разговоре. «Я не знаю» — произнеси это несколько раз в ситуациях, когда обычно производишь видимость знания.

Посмотри, что происходит.

Как правило — ничего страшного.

Иногда — настоящий разговор, который начинается именно с этого признания.

Филип Честерфильд писал сыну:

«Говори хорошо или молчи».

Это слишком строго, потому что оставляет мало места для поиска.

Я скажу иначе:

говори честно или молчи.

Потому что честность в речи есть то же самое, что честность в любом другом поступке:

она требует мужества и производит доверие.

Твоя речь — это ты.

Не украшение тебя и не маска на тебе.

Именно ты — в той мере, в которой ты готов быть точным и честным о том, что происходит у тебя внутри.

Слушай, что говоришь.

И говори то, что слышишь.

Твой отец

ПИСЬМО XXIV

О вкусе, и почему он имеет значение

О том, что вкус не является личным делом, о различении как духовной способности, о связи между эстетическим и нравственным и о том, почему человек, разучившийся различать красивое и уродливое, рискует разучиться различать доброе и злое

Флоренция — снова, потому что здесь об этом думается лучше всего

Мой дорогой мальчик,

Начну с того, с чего обычно не начинают разговоры о вкусе — с утверждения, которое многим покажется высокомерным, но которое я считаю принципиально важным:

вкус не является личным делом.

Точнее, он является личным делом в том же смысле, в котором личным делом является совесть.

Совесть тоже индивидуальна, но это не значит, что она не имеет объективного измерения.

Не всякая совесть одинаково развита, не всякое суждение о добре и зле одинаково точно.

Точно так же не всякий вкус одинаково развит, и не всякое суждение о красоте и уродстве одинаково верно.

Это противоречит главному тезису нашей эпохи о вкусе:

«На вкус и цвет — товарищей нет».

«Каждый имеет право на своё мнение».

«Кто я такой, чтобы судить?»

Эти формулы звучат скромно и демократично, но на самом деле они являются отречением от ответственности за суждение.

Они говорят:

я отказываюсь от труда различения.

Всё одинаково хорошо, потому что всё одинаково моё.

Именно эта капитуляция перед различением — не скромность, а лень, — и является, по существу, основой хамства в эстетической сфере.

Не грубость, не невежество, а отказ судить.

Отказ от труда, который требует вкус в подлинном смысле слова.

Что такое вкус — не в расхожем, а в точном смысле

Вкус — это способность различать.

Не в смысле «мне это нравится, а то нет» — это просто предпочтение, которое есть у всех и которое само по себе ничего не значит.

Вкус в точном смысле — это способность видеть, почему одно лучше другого.

Почему эта картина живее, чем та.

Почему эта фраза точнее, чем та.

Почему этот дом достоин своего места в городе, а тот — нет.

Почему эта мелодия несёт в себе нечто, чего та лишена.

Это различение не является произвольным.

Оно опирается на нечто реальное.

На то, как форма соответствует содержанию.

На то, как материал используется в согласии со своей природой или против неё.

На то, есть ли в произведении внутренняя необходимость или только внешняя эффектность.

На то, говорит ли оно что-то, или только производит впечатление говорящего.

Эти критерии не являются полностью объективными в научном смысле, но они и не являются полностью субъективными.

Они находятся в том пространстве, которое традиционная мысль называла «практическим суждением» — суждением, которое нельзя доказать аксиоматически, но можно обосновать, развить, передать, углубить.

Именно в этом пространстве существует вкус — между произвольным предпочтением и математическим доказательством.

Один английский философ — тот самый, о котором я говорил в письме о китче и о культуре как религиозном акте, — писал о вкусе как о форме знания.

Знания особого рода: воплощённого, невербализуемого полностью, но реального.

Человек с развитым вкусом знает нечто о произведении искусства, что человек без него не знает — даже если не может изложить это знание в виде доказательства.

Так же, как опытный садовник знает нечто о растении, чего не знает ботаник, прочитавший все книги, — знает через руки, через опыт, через долгое внимание.

Вкус и характер: связь, о которой не принято говорить

Теперь о том, что мне важно сказать сильнее всего, и что обычно остаётся за рамками разговоров об эстетике.

Вкус и нравственный характер связаны.

Не однозначно, не механически, но реально.

Человек, разучившийся различать красивое и уродливое в искусстве, постепенно теряет способность различать доброе и злое в жизни.

Не потому что эстетическое и этическое суть одно и то же — это было бы слишком простым тезисом.

А потому что обе способности опираются на один и тот же орган:

способность к различению.

Способность видеть качественную разницу там, где поверхностный взгляд видит только количественную или никакой.

Это утверждение можно проверить от противного.

Великие злодеи истории — не все, но многие из них — были людьми с атрофированным вкусом.

Не в смысле «плохо одевались».

В смысле принципиальной нечувствительности к качественным различиям.

Они обращались с людьми так, как обращаются с вещами, потому что не видели, не чувствовали качественной разницы между человеком и функцией.

Это та же атрофия различения, только направленная не на произведения искусства, а на живых людей.

И в обратную сторону:

люди с подлинно развитым вкусом, как правило, оказывались людьми с развитой совестью.

Не потому что вкус делает человека добрым, а потому что одна и та же способность лежит в основе обоих.

Способность видеть.

Видеть не глазами только, а всем, что в тебе есть.

Один великий русский писатель — тот, о котором я говорил в письме о цинизме, — говорил, что красота спасёт мир.

Это часто цитируют и редко понимают.

Он не имел в виду, что красивые вещи сделают мир лучше.

Он имел в виду нечто существенное: подлинная красота — та, что несёт в себе правду о вещах, — является союзницей добра именно потому, что она является формой истины.

Ложь безобразна в глубоком смысле, даже когда красиво упакована.

Правда красива в глубоком смысле, даже когда внешне неудобна.

Как вкус формируется и как атрофируется

Вкус не является врождённым даром.

Точнее: дар восприимчивости, из которого может вырасти вкус, есть у большинства, но он требует развития.

Как мышца, он развивается через упражнение и атрофируется через неупотребление.

Исторически вкус формировался через три вещи:

долгое внимание к лучшему из того, что есть; наставника, который видит больше тебя и показывает, что именно смотреть; и собственный опыт создания — пусть скромного, но своего.

Первое — долгое внимание к лучшему.

Это кажется простым, но требует двух условий, которые в нашу эпоху редки: времени и иерархии.

Времени, потому что вкус не формируется за час.

Он формируется через многократное возвращение к одному и тому же произведению, через открытие того, что при первом взгляде не было видно.

Человек, смотрящий картину пять минут в музее и идущий к следующей, ничего не приобретает, кроме ощущения, что он был в музее.

Иерархии — потому что вкус не формируется в равном контакте со всем.

Нужно отдавать предпочтение лучшему, и это предполагает суждение о том, что лучше.

Которое поначалу приходит от других, от традиции, от тех, кто знает больше.

Это требует смирения:

признать, что кто-то видит больше тебя и пойти к нему учиться.

Второе — наставник.

Не в смысле преподавателя с курсом истории искусств.

В смысле живого человека, чей вкус развит и который умеет не просто сказать «это хорошо», а показать — почему.

Указать на деталь, которую ты не видел.

Задать вопрос, после которого картина открывается иначе.

Таких людей немного, и именно поэтому они так ценны.

Если тебе повезло встретить такого человека — держись за него.

Он даёт то, чего не даёт ни один учебник.

Третье — собственный опыт создания.

Человек, который хотя бы немного пытался писать, рисовать, играть музыку, строить, сажать, — понимает произведение иначе, чем тот, кто только потреблял.

Потому что он знает изнутри:

как трудно сделать что-то хорошо.

Как легко сделать это удовлетворительно.

Как огромна дистанция между «нормально» и «точно».

Именно этот опыт производит уважение — не сентиментальное, а основанное на понимании труда.

Теперь о том, как вкус атрофируется.

Я уже писал об этом в разных письмах, а здесь суммирую применительно к эстетической способности.

Первое: насыщение без различения.

Когда человек потребляет много, быстро, поверхностно, без возвращения, то орган различения не развивается.

Он обрабатывает большой поток стимулов и привыкает к поверхностной обработке.

Именно это производит культурная индустрия:

огромный поток, в котором нет ничего, что требовало бы второго взгляда.

Второе: принципиальный отказ от иерархии. «Всё имеет право на существование», «я не могу судить», «у каждого своё» — эти формулы убивают вкус, потому что убивают различение.

Вкус возможен только там, где есть готовность сказать:

это лучше, чем то.

Это требует мужества, и именно поэтому его так часто не хватает.

Третье: отсутствие тишины.

Вкус требует того же, что требует всякое глубокое восприятие:

медленного, полного внимания.

В условиях постоянного шума и непрерывного потока стимулов

орган вкуса просто не включается.

Но не потому что его нет, а потому что для него нет условий.

Три зоны, в которых вкус имеет значение

Позволь конкретизировать.

Вкус имеет значение в трёх основных зонах, и в каждой из них — по-разному.

Первая: искусство и культура.

Здесь всё сказанное выше применяется напрямую.

Способность отличить произведение, несущее в себе правду о человеческом опыте, от произведения, имитирующего эту правду, — это и есть вкус в его самом очевидном виде.

Она позволяет тебе находить в культуре то, что действительно тебя формирует, а не только развлекает.

Она защищает тебя от китча, о котором я писал в письме X, и открывает доступ к тому, что китч имитирует.

Вторая: вещи и пространство.

Что тебя окружает физически — важно.

Не в смысле дорогих вещей.

Дороговизна и качество давно разошлись.

В смысле вещей, сделанных с уважением к материалу, к функции, к тому, кто будет ими пользоваться.

Дом, в котором есть красота — не помпезная, а скромная, соразмерная, честная, — формирует человека иначе, чем дом, в котором красоты нет.

Это не снобизм.

Это антропология.

Среда влияет на нас.

Мы становимся отчасти похожи на то, что нас окружает.

Я замечал это много раз: люди, годами живущие в некрасивых пространствах — не бедных, а именно некрасивых, без заботы о форме и соразмерности, — постепенно перестают замечать некрасоту.

А потом и многое другое.

Орган атрофируется там, где не нужен.

Третья — самая неожиданная и самая важная: люди и отношения.

Вкус в отношениях — это способность различать подлинное и поддельное в человеческом поведении.

Видеть, где за словами стоит что-то настоящее, а где только конструкция.

Где забота реальна, а где является инструментом.

Где уважение выражает нечто внутреннее, а где только функционально.

Это та же способность различения, только направленная на людей, а не на произведения.

И она работает по тем же законам: её можно развить, её можно атрофировать, она требует внимания и времени.

Люди с развитым вкусом, как правило, лучше выбирают друзей и партнёров, но не потому что они привередливы, а потому что они видят.

Они замечают мелкие сигналы раньше, чем большинство.

Они слышат фальшь в интонации, которая кажется другим вполне естественной.

Это не мистика — это тот же орган, натренированный на других объектах.

Опасности неразвитого вкуса

Хочу назвать несколько конкретных следствий того, что происходит, когда вкус атрофирован или не развит.

Первое:

человек без вкуса легко становится жертвой манипуляции в сфере потребления.

Он не видит разницы между качественным и имитацией качества.

Он покупает не вещь — упаковку.

Не книгу — её обложку.

Не музыку — производимый ею физиологический эффект.

Не человека — его образ.

Это делает его идеальным потребителем для культурной индустрии
и несчастным человеком в реальных отношениях.

Второе:

он не может строить.

Создание чего-то — будь то дом, текст, отношения, дело, семья, — требует суждения о качестве.

О том, хорошо ли то, что получается.

Правильно ли направление.

Соответствует ли результат замыслу.

Человек без вкуса не имеет этого инструмента

и потому либо не строит вовсе, либо строит, не видя, что именно строит.

Третье — самое серьёзное:

без вкуса невозможна подлинная благодарность.

Благодарность за красоту — за закат, за хорошую фразу, за лицо любимого человека, за звук дождя в тишине — является одной из самых глубоких форм связи с реальностью.

Она предполагает, что ты видишь, что перед тобой нечто хорошее, и что ты способен принять это как дар.

Человек без вкуса проходит мимо закатов.

Не потому что он плохой, а потому что его орган восприятия не настроен на их частоту.

А без способности принимать дары невозможна и благодать.

Это богословское утверждение, но оно имеет совершенно практическое измерение:

человек, не умеющий замечать красоту малого, не умеет замечать присутствие Бога в обычном.

Именно поэтому многие великие духовные учителя — от Франциска Ассизского до Фёдора Достоевского — были людьми с исключительно острым эстетическим чувством.

Не случайно.

Вкус и свобода

Хочу сказать нечто, что кажется мне недооценённым.

Развитый вкус является формой свободы.

Потому что человек, умеющий различать, труднее поддаётся манипуляции.

Он видит, когда ему предлагают суррогат.

Он не принимает имитацию за оригинал.

Он может сказать «нет» тому, что произведено с расчётом на его слабости, потому что у него есть точка отсчёта, независимая от того, что ему предлагают.

Именно поэтому Платон в «Государстве»

так серьёзно относился к музыке, допускаемой в идеальном городе.

Не потому что он был занудой.

А потому что понимал:

музыка формирует душу, а сформированная душа труднее поддаётся манипуляции.

Нация с хорошим вкусом — труднее управляемая нация.

Именно поэтому тоталитарные режимы так неизменно стремились контролировать культуру:

не потому что боялись политических манифестов, замаскированных под симфонии, а потому что чувствовали:

культура, формирующая способность различать, формирует человека, которого труднее превратить в массу.

Это звучит парадоксально в наше время, когда «вкус» ассоциируется с привилегией и снобизмом.

На самом деле развитый вкус — ценность в самом глубоком смысле:

он защищает личность от поглощения массой.

Как развивать вкус, конкретно

Несколько вещей, которые работают — не как программа, а как практика.

Первое:

выбери одну область и иди вглубь, а не вширь.

Не пытайся охватить всю историю искусства, всю музыку, всю литературу сразу.

Возьми одного художника, одного композитора, одного писателя — и проживи с ним достаточно долго, чтобы начать по-настоящему слышать.

Глубина в одном месте открывает способность к глубине вообще, и потом ты переносишь эту способность на другие области.

Второе:

учись у тех, кто видит больше тебя, и позволяй им показывать.

Не только читай критику и историю.

Ищи живых людей, чьё отношение к произведениям тебя удивляет.

Удивление — признак того, что тебе показывают нечто, чего ты не видел.

Это и есть обучение.

Третье: возвращайся.

Великое произведение открывается по-разному в разные моменты жизни.

Книга, прочитанная в двадцать лет, — другая книга в сорок.

Не потому что она изменилась, а потому что изменился ты.

Это и есть признак подлинного произведения:

оно богаче тебя.

Оно видит дальше, чем ты на момент встречи.

И оно ждёт, когда ты дорастёшь до следующего слоя.

Четвёртое: попробуй создавать.

В любом виде.

Напиши что-нибудь.

Нарисуй что-нибудь.

Приготовь еду с полным вниманием к тому, что делаешь.

Вырасти что-нибудь.

Сделай что-нибудь руками.

Это не обязательно должно быть идеальным.

Это должно быть твоим.

Собственный опыт создания неизбежно изменяет взгляд на чужое создание.

Пятое: позволяй себе суждение.

Говори себе — не для публики — «это хорошо», «это плохо», «это лучше того».

Развивай навык различения не как теорию, а как практику.

Каждый раз, когда ты уходишь от суждения в «ну, это дело вкуса», ты немного атрофируешь мышцу.

Каждый раз, когда говоришь «это лучше — вот почему», ты её немного развиваешь.

Шестое, и это я считаю самым важным: учись замечать красоту малого.

Не только в музеях.

Свет в определённый час.

Форма дерева.

Звук, который возник случайно и исчез.

Жест человека, который был прав.

Фраза, написанная точно.

Молчание, которое что-то держало.

Эти маленькие встречи с красотой — повседневные, не требующие билета и не нуждающиеся в экспертном объяснении, — являются питанием для органа вкуса.

И они же являются питанием для способности к благодарности, о которой я говорил выше.

Вкус и традиция: последнее слово

Вкус не рождается из вакуума.

Он всегда вырастает из традиции — из того, что было накоплено до тебя теми, кто думал об этих вещах дольше и глубже.

Это не означает, что традиция всегда права.

Она бывает и ошибочной, и несправедливой.

Но это означает, что начинать с нуля — самонадеянность.

Что человек, отвергающий всё предшествующее ради «своего взгляда», как правило, приходит к уже открытым истинам, но только с большими потерями времени и опыта.

Именно поэтому я говорю тебе:

изучай.

Не чтобы стать копией прошлого, а чтобы иметь материал для собственного суждения.

Нельзя различать, не имея точки отсчёта.

Традиция — не тюрьма.

Это инструментарий, накопленный людьми, которые делали это раньше тебя и делали это хорошо.

Используй его.

Роджер Скрутон, к которому я возвращаюсь в этих письмах снова и снова, потому что по вопросам культуры он был одним из самых точных мыслителей своего времени, писал:

высокая культура есть форма молитвы, даже когда молящийся не знает, к кому обращается.

Это не метафора.

Это описание того, что происходит, когда произведение искусства создаётся с полной серьёзностью и полным вниманием:

человек выходит за пределы себя к чему-то большему.

И это «большее» — пусть называемое по-разному в разных традициях, — является тем, к чему обращена молитва.

Вкус — способность слышать это «большее» в произведении.

Различать, где оно есть, а где только его имитация.

Именно поэтому он имеет значение.

Не как аристократическая привилегия.

Не как украшение образованного человека.

А как духовная способность.

Одна из тех, без которых трудно быть полностью человеком.

Флоренция за окном.

Купол собора Санта-Мария-дель-Фьоре — тот же, что и пять веков назад.

Не потому что ничего не изменилось, а потому что Филиппо Брунеллески однажды сконструировал его настолько точно, что время не может ничего добавить.

Это и есть то, что значит сделать что-то хорошо.

Стремись к этому.

Во всём, что делаешь.

Твой отец



ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Восемь портретов — Узнай его

ПИСЬМО XXV

Хам-идеолог, или праведный гнев как профессия

О ressentiment, возведённом в политическую программу, о человеке, превратившем обиду в мировоззрение и справедливость в инструмент мести, и о том, почему праведный гнев без любви всегда приходит к тирании

Лондон, после митинга, который я наблюдал с расстояния

Мой дорогой мальчик,

Несколько дней назад я наблюдал митинг.

Не участвовал.

Наблюдал, стоя в стороне, как врач наблюдает за симптомами болезни, которую изучает давно.

Люди несли знаки, кричали лозунги, выражали гнев — громко, ритмично, с той особой интенсивностью, которая возникает, когда частная обида обретает коллективный голос.

Требования были разные.

Но лица удивительно похожие.

На каждом было одно и то же выражение, которое я научился распознавать за многие годы и которое не спутаю ни с каким другим:

выражение человека, которому наконец разрешили быть правым.

Это и есть портрет хама-идеолога.

Не злодея, а человека с законченной системой взглядов, в центре которой стоит не истина и не справедливость, а он сам в роли праведника.

Его гнев реален.

Его обиды часто обоснованы.

Его требования нередко справедливы.

И всё это — лишь топливо для чего-то, что не имеет отношения ни к гневу, ни к обиде, ни к справедливости.

Для профессии быть правым.

Это первый из восьми портретов, которые я хочу нарисовать тебе в этой части.

Восемь лиц Homo Vulgaris — наиболее законченные, наиболее опасные, наиболее трудно распознаваемые именно потому, что каждый из них маскируется под что-то достойное уважения.

Начну с хама-идеолога, потому что он является, пожалуй, самым влиятельным типом нашей эпохи.

И потому что именно он способен причинить наибольший вред, но не из злобы, а из праведности.

Анатомия праведного гнева

Гнев бывает законным.

Это важно сказать сразу, чтобы письмо не было прочитано как защита несправедливости.

Пророки Ветхого Завета гневались, и их гнев был голосом Бога против несправедливости.

Иисус Христос изгнал торговцев из храма.

Дантовский ад наполнен теми, кто заслуживал наказания.

Гнев перед лицом зла не только допустим, но иногда необходим.

Человек, не способный гневаться, потерял нечто важное.

Но между законным гневом и праведным гневом как профессией — пропасть.

Законный гнев направлен на конкретное зло.

Он стремится к его устранению.

Когда зло устранено, гнев прекращается.

Он пропорционален:

его интенсивность соответствует серьёзности нарушения.

Он временен, потому что питается конкретной ситуацией, а не постоянной потребностью.

Праведный гнев как профессия устроен иначе.

Он не питается конкретным злом, но он питается потребностью в нём.

Хаму-идеологу нужно зло, потому что без него нет праведности, а без праведности нет идентичности.

Он не хочет решения проблемы.

Он хочет проблему, которую можно продолжать решать бесконечно.

Он не хочет мира.

Он хочет правоты.

Именно поэтому хам-идеолог так странно себя ведёт в момент, когда его требования выполняются.

Вместо того чтобы успокоиться, он находит новые требования.

Вместо признательности — новые обвинения.

Вместо снятия напряжения — его наращивание.

Потому что удовлетворённый праведный гнев перестаёт быть праведным гневом, и хам-идеолог теряет основание своего существования.

Один немецкий философ описал это с хирургической точностью через понятие *ressentiment*, о котором я писал тебе в третьем письме.

Но там я говорил о нём как о личном состоянии.

Здесь хочу сказать о его политическом измерении.

Ressentiment, возведённый в политическую программу, является наиболее устойчивой из всех политических конструкций — именно потому что питается неиссякаемым источником.

Обиды всегда есть.

Несправедливость всегда есть.

Группы, которым досталось меньше, всегда есть.

Это реальность, и из этой реальности можно кормить политику вечно, никогда не исчерпав материал.

Структура идеологии хама

Позволь разобрать архитектуру, потому что без неё портрет останется расплывчатым.

Каждая идеология хама-идеолога, независимо от своего конкретного содержания — правая или левая, националистическая или интернационалистическая, религиозная или атеистическая, — имеет одну и ту же структуру.

Первый элемент: жертва.

Группа, которой несправедливо досталось меньше, которую угнетают, которую не слышат, которую обманули.

Хам-идеолог принадлежит к этой группе или говорит от её имени.

Это даёт ему законное основание для гнева.

Это делает его правым по определению:

правой стороной всегда является жертва.

Второй элемент: виновный.

Группа, которая виновна в положении жертвы.

Конкретная, идентифицируемая, достаточно большая, чтобы служить объектом для коллективного гнева.

Виновный всегда является носителем привилегии — реальной или приписанной, — и именно эта привилегия является источником несправедливости.

Третий элемент: требование.

Которое формулируется как справедливость, но по существу является требованием устранения различия.

Не «дай мне равную возможность», а «лиши их преимущества».

Не «признай моё достоинство», а «унизь их достоинство».

Идеология хама всегда движется вниз, а не вверх:

она не поднимает жертву, она опускает виновного.

Четвёртый элемент: враг внутри.

Те, кто принадлежит к группе жертв, но не разделяет идеологии, — предатели.

Они опаснее внешнего врага, потому что легитимизируют его существование.

С ними нужно разбираться в первую очередь.

Именно поэтому левые идеологии в первую очередь атакуют «недостаточно левых» левых, а правые — «недостаточно правых» правых.

Чистота идеологии требует постоянного очищения от внутренних отступников.

Пятый элемент: искупление.

Которое никогда не наступает.

Потому что если бы оно наступило, то закончилась бы нужда в идеологии.

Хам-идеолог всегда находит причину, по которой справедливость ещё не восстановлена: враг адаптировался, предатели помогли, условия изменились.

Борьба продолжается, и именно продолжение борьбы является смыслом существования.

Как выглядит хам-идеолог в жизни

Теперь конкретный портрет.

Не карикатура, а узнаваемый человек.

Хам-идеолог, как правило, умён.

Это важно.

Он не тупой фанатик.

Он читает, он думает, он умеет аргументировать.

Его ум направлен на одно:

нахождение доказательств того, что он уже знает.

Он не ищет истину.

Он ищет подтверждения.

Это производит особый вид интеллектуальной деятельности:

подбор фактов под вывод.

Он делает это мастерски, и именно поэтому его убедить в чём-то, противоречащем его схеме, практически невозможно.

Он живёт в мире, разделённом на своих и чужих.

И это деление абсолютно.

Нет людей с частично правильными и частично неправильными взглядами.

Есть союзники и враги.

Есть те, кто понял, и те, кто ещё не понял или не хочет понять.

Вторые — объекты просвещения или осуждения, в зависимости от настроения.

Он не умеет слышать критику.

Не потому что он глуп, а потому что критика его взглядов является для него атакой на его идентичность.

Он не отличает «ты ошибаешься в этом конкретном вопросе» от «ты плохой человек».

Критика взглядов всегда воспринимается как обвинение.

Именно поэтому его невозможно убедить через аргумент — только через смену социальной идентификации, что происходит редко и болезненно.

Его отношения строятся вокруг идеологии.

Дружба возможна только с теми, кто разделяет взгляды, причём в достаточно полном объёме.

Любовь осложняется, если партнёр не разделяет убеждений, и со временем убеждения становятся важнее любви.

Семья становится полем идеологической работы:

родственники, которые «ещё не поняли», являются объектами просвещения на каждом семейном обеде.

У него особые отношения ко времени.

Настоящее всегда является кризисом, требующим немедленных действий.

Прошлое — либо золотой век, который нужно восстановить, либо история несправедливостей, которые нужно искупить.

Будущее — либо катастрофа, если не победить, либо утопия, которая наступит после победы.

Нет ни одного момента, в котором можно просто быть, просто жить, просто замечать красоту, потому что каждый момент является ставкой в борьбе.

Именно это делает его таким усталым, хотя он сам этого не замечает.

Постоянная боевая готовность.

Постоянный поиск угроз.

Постоянная необходимость интерпретировать каждое событие через призму своей схемы.

Это изматывает, и он компенсирует это интенсивностью гнева, который даёт временное ощущение энергии.

Почему праведный гнев без любви приходит к тирании

Это самое важное из всего письма.

И я хочу рассказать об этом неспешно.

Есть одно различие, которое отделяет подлинного борца за справедливость от хама-идеолога.

Оно невидимо снаружи, потому что снаружи оба говорят примерно одно и то же.

Это различие в том, любит ли человек тех, за кого борется.

Апостол Павел написал:

«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий».

Это не поэтический образ.

Это точное описание механизма:

борьба за справедливость без любви к конкретным людям — это шум.

Убедительный, громкий, иногда внешне благородный, но шум.

Хам-идеолог любит свою группу абстрактно.

Он любит «рабочий класс», «нацию», «угнетённых», «народ», «женщин», «меньшинства» — как категории.

Но конкретный рабочий, конкретный представитель нации, конкретная женщина, стоящая перед ним, могут его раздражать, разочаровывать, не соответствовать образу.

Потому что реальные люди всегда сложнее категорий.

И именно эта сложность является проблемой для хама-идеолога:

реальные люди мешают чистоте схемы.

Именно поэтому, любые ложные представления о мире, называемые идеологиями, начинавшиеся с любви к человечеству в абстракции, так часто заканчивались преследованием конкретных людей.

Это не случайность истории.

Это логическое следствие любви к категории без любви к личности.

Когда конкретный человек не соответствует образу, он становится препятствием для идеала.

А препятствия устраняют.

Великий Достоевский — снова к нему — вложил в уста Великого Инквизитора именно эту логику:

он любит людей так сильно, что готов лишить их свободы ради их же блага.

Это любовь к абстракции человека.

Не к конкретному, уязвимому, непредсказуемому, свободному существу.

И именно эта любовь к абстракции производит тюрьму с самыми лучшими намерениями.

Этот механизм воспроизводился в истории бесчисленное количество раз, и всегда с одним результатом.

Французская революция начиналась с декларации прав человека и закончилась гильотиной.

Большевики начинали с освобождения пролетариата и закончили массовыми репрессиями.

Маоисты начинали с народной революции и закончили культурной революцией, убившей миллионы.

Каждый раз — любовь к абстракции, выжигающая любовь к конкретному.

Как хам-идеолог захватывает пространство

Хам-идеолог является исключительно эффективным в публичном пространстве, и важно понять, почему.

Во-первых, он всегда занимает моральную высоту.

Его позиция по определению является праведной, потому что он говорит от имени жертвы.

Любое возражение против его аргументов немедленно интерпретируется как защита угнетателя.

Это делает дискуссию с ним крайне неудобной:

аргументировать против него значит автоматически оказаться на стороне зла.

Во-вторых, его эмоциональная интенсивность подавляет собеседника.

Гнев производит давление.

Большинство людей не готовы выдерживать давление морального осуждения и либо соглашаются, либо замолкают, либо уходят.

Именно поэтому хам-идеолог так часто «побеждает» в публичных дискуссиях — не силой аргументов, а силой эмоционального давления.

В-третьих, он неустанен.

Человек, для которого идеология является смыслом существования, готов заниматься ею круглосуточно.

Он будет писать, говорить, организовывать, давить — бесконечно, потому что для него это не работа и не хобби, это жизнь.

Против такой неустанности трудно устоять людям, для которых идеология либо является лишь частью жизни, либо в жизни которых, она отсутствует.

Именно поэтому хам-идеолог так часто оказывается у власти

в организациях, движениях, институтах — даже когда большинство их участников с ним не согласны.

Большинство — молчит.

Он — говорит.

Всегда.

Везде.

Громко.

Как отличить его от человека с настоящей совестью

Это самый трудный вопрос, потому что снаружи они могут выглядеть похоже.

Оба говорят о несправедливости.

Оба гневаются.

Оба требуют изменений.

Как различить?

Первый признак: реакция на хорошие новости.

Если ситуация улучшается, что делает человек?

Праведник радуется и движется дальше.

Хам-идеолог находит причину, почему улучшение не настоящее, или почему оно недостаточно, или почему оно является уловкой врага.

Радоваться улучшению для него опасно, потому что это ослабляет мобилизацию.

Второй признак: отношение к конкретным людям по ту сторону барьера.

Видит ли он их как людей

или как функции своей схемы?

Может ли он рассказать об одном из них что-то человеческое — не как о символе, а как о конкретном человеке

со своей историей, своими мотивами, своими заблуждениями, понятными хотя бы в логике его жизни?

Если не может — перед тобой идеолог.

Третий признак:

что он делает, когда его взгляды оспаривают аргументом.

Задумывается ли хотя бы на секунду?

Есть ли в нём движение к вопросу?

Или немедленная контратака, интерпретация вопроса как атаки, поиск политического мотива за интеллектуальным возражением?

Четвёртый признак, самый точный:

есть ли в его жизни что-то важное, не связанное с идеологией?

Любовь, которая является просто любовью, а не партнёрством единомышленников.

Дружба, которая переживёт идеологическое расхождение.

Работа, которую он любит независимо от её политического значения.

Красота, к которой он равнодушен просто так.

Если всё в его жизни является идеологически нагруженным, то перед тобой человек, у которого идеология заменила жизнь.

Что с этим делать

С хамом-идеологом невозможно спорить в обычном смысле, и это нужно знать, чтобы не тратить силы впустую.

Аргументы здесь работают плохо, но не потому что он глуп, а потому что его позиция нечувствительна к аргументам по структуре.

Она питается не из аргументов, а из потребности.

Что работает, и работает редко, потому что требует от тебя больше, чем ты обязан давать, — это присутствие.

Не аргумент, а человеческое отношение, которое не является функцией его схемы.

Это медленно.

Это требует терпения.

Но иногда — очень иногда — конкретный живой человек, который видит идеолога как человека, а не как позицию, производит то, чего не производит никакой аргумент:

трещину в броне.

Что точно не работает — это встречный гнев.

Гнев на гнев производит больше гнева.

Это самоочевидно

и при этом является самой частой реакцией.

Что точно нужно делать в отношении себя: регулярно проверять, не превращается ли твоя собственная позиция, какой бы правильной она ни была, в профессию праведности.

Есть ли в твоей борьбе за что-то любовь к конкретным людям

или только ненависть к абстрактному врагу?

Радует ли ты улучшению

или ищешь причины, почему оно не настоящее?

Можешь ли ты видеть тех, с кем не согласен, как людей, или только как функции твоей схемы?

Праведный гнев без любви — медь звенящая.

Красиво звенящая, иногда оглушительно, но медь.

Гнев с любовью, иногда тихий, иногда очень громкий, — это другое.

Это пророчество.

Это когда говорит не только человек, но и то, что в нём больше человека.

Умей различать одно от другого.

Прежде всего — в себе.

Твой отец

ПИСЬМО XXVI

***Homo Vulgaris* потребляющий, или покупаю, значит
существую**

О человеке, чья идентичность есть список покупок, о том, как потребление заняло место бытия, о критической способности, атрофированной до нуля, и о том, что значит обладать собой, а не вещами

Дубай или Сингапур — неважно, они одинаковые

Мой дорогой мальчик,

Я пишу тебе из места, которое является, пожалуй, самым честным воплощением определённой идеи о человеке.

Огромный торговый центр.

Один из самых больших в мире.

Внутри — прохлада кондиционеров, мрамор, свет, направленный так, чтобы всё выглядело лучше, чем есть.

Магазины идут один за другим, бесконечно, и в каждом — вещи, которые обещают тебе нечто большее, чем просто вещь.

Счастье.

Принадлежность.

Отличие.

Смысл.

Люди здесь ходят с особым выражением лица — сосредоточенным, почти торжественным.

Как в церкви.

Шопинг в нашу эпоху действительно является ритуалом

со своими священными пространствами, своими жрецами, своими праздниками, своими актами причащения.

И как в любом ритуале, есть те, кто совершает его осознанно, и есть те, для кого он стал единственным содержанием жизни.

Второй тип и есть тот, о ком я хочу написать сегодня.

Homo Vulgaris потребляющий.

Человек, чьё существование определяется тем, что он приобретает.

Не злодей, не грубиян, а человек совершенно обычный, вежливый, нередко приятный.

Просто человек, у которого нет себя вне своих покупок.

Рене Декарт наизнанку

Рене Декарт сказал:

«Cogito ergo sum» — «Я мыслю, следовательно, я существую».

Это было утверждением о том, что основанием бытия личности является мышление — внутренняя активность, недоступная внешнему контролю.

Что бы ни происходило снаружи, пока есть мыслящий субъект, есть и существование.

Потребительская культура перевернула это утверждение:

«Ergo sum» — «Я покупаю, следовательно, я существую».

Это не преувеличение.

Это точное описание того, как миллионы людей в действительности переживают свою идентичность.

Что я имею — то я и есть.

Мои вещи говорят о том, кем я являюсь.

Мои покупки определяют мою принадлежность, мой статус, мои ценности.

Без них — пустота.

С ними — определённость.

Герберт Маркузе — немецкий философ Франкфуртской школы, написавший об «одномерном человеке» в 1964 году

с точностью, которая не устарела ни на день, — назвал потребительское общество машиной, подавляющей «вторую размерность» — способность к критическому отрицанию.

Одномерный человек не сопротивляется.

Он потребляет.

Ему предлагают бесконечный выбор товаров

вместо единственного подлинного выбора: кем быть.

И он принимает этот обмен, потому что второй выбор труден и болезнен, а первый — немедленен, приятен и непрерывен.

Homo Vulgaris потребляющий

не является жертвой в том смысле, что его принудили.

Он участник, и участник активный, заинтересованный, полный энтузиазма.

Именно в этом и состоит гений системы: она сделала так, что человек сам хочет того, что его ограничивает.

Анатомия потребительской идентичности

Как именно строится идентичность через потребление?

Это не произвольный процесс.

Это точный механизм, который стоит знать.

Первый уровень — идентификация через бренд.

Я уже писал тебе о чужих гербах и лакействе.

Здесь добавлю внутреннее измерение:

человек, идентифицирующий себя через бренд, не просто сигнализирует статус другим.

Он сам верит, что бренд говорит нечто истинное о нём.

«Я такой человек, который носит это».

Бренд становится частью самоопределения, и именно поэтому угроза бренду воспринимается как личное оскорбление.

Второй уровень — идентификация через стиль потребления.

Не просто что покупать, но как, где, в каком контексте.

Органическая еда из фермерского рынка говорит одно о человеке.

Фастфуд каждый день — другое.

Путешествия «не как турист» — одно.

Пляжный отель «всё включено» — другое.

Каждый выбор является позиционированием, и человек тратит огромную энергию

на поддержание когерентности своего потребительского образа.

Третий уровень — самый тонкий и самый опасный:

идентификация через «осознанное» потребление.

Покупать «правильные» вещи — этичные, экологичные, справедливые.

Это кажется противоположностью потребления, но на самом деле является его высшей формой.

Потому что «осознанный потребитель»

не меньше определяет себя через покупки, чем «неосознанный».

Просто его список покупок расширился:

теперь в него входит ещё и хорошая совесть.

Которую тоже можно купить.

По правильной цене.

Это не означает, что покупать этически произведённые вещи плохо.

Разумеется, нет.

Это означает, что когда этическое потребление становится идентичностью, а не практикой, — структурно это то же самое, что и любое другое потребление как идентичность.

Что происходит с «я» при потребительской идентичности

Здесь начинается самое важное.

Когда идентичность строится через внешнее — через вещи, которые приобретаются, — то «я» перестаёт иметь независимое существование.

Оно становится функцией от списка приобретений.

Это значит:

убери список, и «я» исчезает.

Или, точнее, обнаруживается пустота, которую список прятал.

Именно это переживают люди в ситуациях, когда внешнее рушится — банкротство, потеря работы, вынужденная аскеза.

Те, чья идентичность была укоренена в чём-то внутреннем — в призвании, в отношениях, в вере, в характере, — переживают такие кризисы тяжело, но остаются собой.

Те, чья идентичность была потребительской, переживают их как исчезновение себя.

Потому что без покупательной способности

они не знают, кем являются.

Жан Бодрийяр — французский философ, которого я упоминал в нескольких письмах, — описал это через понятие симулякра:

образ, утративший связь с реальностью

и ставший самодостаточным.

Потребительская идентичность является симулякром «я»: образом человека, созданным из вещей, не имеющим под собой реального субъекта.

Ты видишь человека, но за набором вещей, машин, брендов, лайфстайлов нет никого.

Есть коллекция знаков, указывающих в разные стороны

и не указывающих ни на что.

Герберт Маркузе назвал это «счастливым сознанием»:

человек доволен собой

именно потому, что не видит проблемы.

Система дала ему столько возможностей для потребления, что критическая способность — способность сказать «но не это же главное» — атрофировалась.

Он не подавлен.

Он удовлетворён.

И в этой удовлетворённости — его главная потеря.

Критическая способность как мышца

Герберт Маркузе писал о «второй размерности» — способности отрицать, сопротивляться, видеть альтернативу тому, что есть.

Это не разрушительная способность — это способность, делающая человека субъектом, а не объектом.

Способность сказать:

«Это предлагают, но я хочу другого».

Или:

«Это нормально, но нормальное не всегда правильное».

Или просто:

«Стоп. Что здесь происходит на самом деле?»

Эта способность является одним из важнейших признаков внутренней свободы.

Она требует дистанции — умения выйти чуть за пределы ситуации

и посмотреть на неё со стороны.

Она требует внутреннего стандарта, независимого от того, что предлагает среда.

И она требует готовности к дискомфорту:

критическая позиция всегда менее удобна, чем принятие предложенного.

Homo Vulgaris потребляющий утратил эту способность, но не потому что она была уничтожена, а потому что её не упражняли достаточно долго.

Как мышца, она атрофировалась.

И теперь вместо неё — автоматическое «да».

Да следующей покупке.

Да следующему обновлению.

Да следующему сезону.

Да следующей версии себя, которую продаёт реклама.

Это не делает его несчастным в обычном смысле.

Маркузе прав:

он «счастлив».

Он даже доволен.

И именно эта довольная пустота

является, по существу, самым трудным состоянием, потому что она не производит запроса на выход.

Человеку, которому плохо, хочется иначе.

Человеку, которому хорошо в пустоте, — незачем.

Время и потребление: особая связь

Хочу сказать о том, что редко упоминается в разговорах о потреблении:

о его отношении ко времени.

Потребление по природе своей направлено в настоящий момент.

Покупка производит удовольствие сейчас

и обещает удовольствие при следующей покупке.

Это делает потребление естественным союзником культуры немедленного — культуры, в которой настоящее является единственным реальным измерением, прошлое — нерелевантным, будущее — слишком абстрактным.

Homo Vulgaris потребляющий не ждёт.

Ожидание для него — дискомфорт, который нужно устранить немедленно: следующим потреблением, следующим стимулом, следующим удовлетворением.

Именно поэтому кредитование стало одним из главных инструментов потребительской культуры:

оно устраняет единственное естественное ограничение — необходимость ждать, пока накопишь.

Ты можешь иметь всё сейчас

и платить потом.

Потребление освобождено от отношения к будущему.

Но это означает, что и идентичность, построенная на потреблении, — это идентичность без глубины времени.

Без прошлого, которое ты несёшь.

Без будущего, за которое ты отвечаешь.

Только настоящий момент

и следующая покупка в нём.

Это противоположно тому, что я называю «внутренней формой», которая как раз и является тем, что человек несёт через время.

Что было в нём до, и что он передаст после.

Форма строится медленно, через решения, через обязательства, через верность.

Потребление разрушает время, а вместе с ним — и форму.

Как выглядит альтернатива

Я не предлагаю тебе аскетизм ради аскетизма.

Не ношение рубища вместо хорошей одежды.

Не отказ от удобств и красивых вещей.

Это было бы обратной крайностью

и столь же бессмысленной.

Альтернатива — в отношении к вещам, а не в их отсутствии.

Человек, для которого вещи являются инструментами и украшениями жизни, но не её содержанием, может обладать многим, не будучи обладаемым этим многим.

Он выбирает вещи потому, что они хороши — по качеству, по красоте, по функции.

Не потому что они сигнализируют принадлежность.

Не потому что их имеют все в его среде.

Не потому что новое лучше только потому, что новое.

Он относится к вещам

с той особой смесью уважения и невозмутимости, которая является признаком здорового отношения:

они важны на своём месте

и не важны сверх своего места.

Они помогают жить

и не заменяют жизнь.

Самый практический вопрос, который можно задать себе перед любой покупкой, от еды до машины, не «хочу ли я это», а «зачем мне это».

Не в бухгалтерском смысле «обоснуй трату», а в существенном смысле «что это делает с моей жизнью».

Если ответ ясен и связан с чем-то реальным — покупай.

Если ответ — «потому что так принято», «потому что у других есть», «потому что это сделает меня немного счастливее на несколько часов» — это уже разговор о другом.

Один практик из ранней христианской традиции — авва египетской пустыни — сказал:

«Имей всё необходимое и ничего лишнего».

Это не аскетический лозунг.

Это практическая мудрость:

лишнее не освобождает.

Оно порабощает.

Не потому что вещи плохи, а потому что их много

и они начинают занимать внимание, требовать ухода, определять выборы.

Человек с меньшим количеством вещей, которые он выбрал сознательно, свободнее человека

с большим количеством вещей, которые выбрали его.

Что стоит за потреблением, и как это использовать

Завершу тем, что важнее всего.

Потребление процветает потому, что апеллирует к настоящим потребностям. Я писал об этом в письме о рекламе и мифах повседневности.

Желание красоты — настоящее.

Желание принадлежности — настоящее.

Желание отличия — настоящее.

Желание смысла — настоящее.

Желание бессмертия в каком-то смысле, желание оставить след — настоящее.

Реклама не создаёт эти желания.

Она их перехватывает

и направляет в потребление, которое не может их удовлетворить.

Именно поэтому потребление не насыщает.

Не потому что ты купил недостаточно.

А потому что ты купил не то, чего на самом деле хотел.

Купил товар там, где нужна была встреча.

Купил образ там, где нужна была реальность.

Купил принадлежность там, где нужна была любовь.

Настоящий ответ на каждое из этих желаний

не в следующей покупке.

Он в другом направлении.

В отношениях, которые требуют присутствия, а не покупательной способности.

В деле, которое требует тебя, а не твоих денег.

В красоте, которую можно видеть бесплатно, если развить орган для этого.

В смысле, который строится через выборы и обязательства, а не приобретается в готовом виде.

Эти вещи труднее.

Они не имеют красивой упаковки.

Они не дают немедленного удовольствия.

Они требуют работы, и именно эта работа делает их ценными.

Рене Декарт был прав:

основание существования — не список приобретений.

Основание существования — субъект, который мыслит, выбирает, любит, отвечает.

Который является собой

независимо от того, что он имеет

или не имеет.

Торговый центр за окном светится всеми цветами.

Он очень красив.

Он очень убедителен.

И он совершенно пуст — если ты знаешь, что искать на самом деле.

Знай.

Твой отец

ПИСЬМО XXVII

Хам эстетический, или как китч имитирует красоту

О Kitschmensch и его сентиментальности без обязательства, о различии между искусством, которое требует тебя, и искусством, которое льстит тебе, и о том, почему вопрос о подлинном всегда есть вопрос о подлинном человеке

Рим, ночь, перед закрытой церковью

Мой дорогой мальчик,

В Риме есть маленькая церковь — Сан-Луиджи деи Франчези, в которой хранятся три картины Караваджо.

Три сцены из жизни апостола Матфея: призвание, вдохновение, мученичество.

Церковь открыта для посетителей, и перед ней всегда очередь.

Люди входят, смотрят несколько минут, фотографируют и уходят.

Иногда кто-то задерживается дольше, и тогда видно, как меняется его лицо.

Я стоял перед «Призванием Матфея» однажды больше часа — поздно вечером, когда туристы разошлись и церковь почти пустела.

Это была одна из тех встреч, о которых я писал тебе в письме о внимании:

произведение обращалось ко мне, а не я к нему.

Свет, падающий с правого края, — рука Христа, почти неотличимая от руки Микеланджело, вытягивающейся к Адаму, и лицо Матфея, который смотрит на неё и ещё не понимает, что его жизнь только что кончилась и началась другая.

В этом взгляде — весь человек.

Весь человек в один момент выбора.

Сегодня я хочу написать тебе о том, что отличает это от картины, напечатанной на подушке в магазине сувениров за углом.

И о том, почему это различие

не снобизм, не вопрос образования, не дело вкуса в расхожем смысле слова.

А вопрос о природе человека

и о том, что ему на самом деле нужно.

Принцип: искусство как видение истины

Позволь начать не с примеров, а с принципа, потому что без него примеры останутся произвольными вкусовыми суждениями.

Великий английский критик XIX века — человек, посвятивший жизнь защите живописи перед лицом общества, которое её не понимало, — сформулировал критерий, который я считаю точнейшим:

подлинное искусство видит истину природы вещей и передаёт её.

Не копирует поверхность — видит сквозь неё.

Не воспроизводит то, что можно увидеть, — показывает то, что обычно остаётся невидимым.

Что это значит в практике?

Когда Рембрандт пишет старика, ты видишь не старика.

Ты видишь время, прожитое в лице.

Боль, достоинство, мудрость, смирение — всё это присутствует не как аллегория и не как символ, а как буквальная видимость.

Его технический гений — свет, тень, фактура, цвет — является не самоцелью, а инструментом.

Инструментом передачи правды, которую он увидел

и которую ты видишь вместе с ним.

Когда Рембрандт пишет «Возвращение блудного сына», — и я видел эту картину несколько раз в Эрмитаже, всякий раз иначе, — фигура отца, обнимающего сына, несёт в себе больше, чем всю притчу словами.

Старческие руки на спине коленопреклонённого — одна мягкая и открытая, другая сильная и удерживающая — говорят о природе прощения то, чего слова не могут сказать.

Ты стоишь перед этим и чувствуешь нечто, описываемое только так:

это правда.

Не «это красиво».

Не «это трогательно».

Именно — правда.

Когда Караваджо пишет «Ужин в Эммаусе» — момент узнавания Христа апостолами, — он создаёт изображение духовного потрясения, которое ты можешь почувствовать физически.

Жест одного из апостолов — он почти падает со стула — не является театральным преувеличением.

Это правда о том, как человеческое тело реагирует на встречу с абсолютным.

Что общего у этих работ?

Художник видел что-то реальное

и умел передать это так, чтобы ты тоже увидел.

Не обслуживал твои ожидания, но раздвигал то, что ты способен видеть.

Не давал тебе знакомое — открывал незнакомое в знакомом.

Именно это и есть критерий.

Не стиль, не эпоха, не репутация.

А это:

показывает ли произведение тебе нечто реальное о человеке, чего ты не видел до встречи с ним?

Китч: эмоциональный суррогат

Китч отвечает на этот вопрос отрицательно.

Не потому что плохо сделан.

Китч иногда технически безупречен.

А потому что он с самого начала строится иначе.

Не «что я вижу и как это передать», а «что вызовет нужный отклик и как это сконструировать».

Разница в исходной точке, и она определяет всё остальное.

Китч начинается с аудитории.

С вопроса:

что понравится? что вызовет слёзу? что создаст ощущение глубины без самой глубины?

Именно это «без самой глубины» и является определением китча, которое дал один умный английский философ:

эмоциональный суррогат, предлагающий ощущение глубины, не давая её.

Чувство без последствий.

Переживание без требования.

Слёзы над китчем реальны.

Я не сомневаюсь в этом.

Люди действительно плачут.

Но через пятнадцать минут после сеанса они уже думают о другом.

Следа нет.

Ничего не изменилось.

Потому что китч специально устроен так, чтобы не изменять.

Он даёт тебе тёплое ощущение причастности к чему-то значительному

и немедленно отпускает обратно в обычное.

Без счёта.

Без требования.

Это его главная услуга

и его главный яд.

Подлинное произведение работает иначе.

Оно не отпускает сразу.

Оно задевает что-то, что потом продолжает болеть, или светиться, или требовать ответа.

Великое произведение — это всегда вопрос, обращённый к тебе лично.

Не к «зрителю», не к «аудитории» — к тебе.

И уйти, не ответив, не получается.

Kitschmensch — портрет

Тот же английский философ ввёл термин, который мне кажется незаменимым:

Kitschmensch.

Китч-человек.

Хам эстетический.

Попробую нарисовать его портрет так, чтобы ты узнал его

и, что важнее, узнал его в себе, когда он там появляется.

Kitschmensch сентиментален.

Это ключевое слово, и оно требует разъяснения, потому что сентиментальность часто путают с чувствительностью, а это противоположные вещи.

Чувствительный человек — это тот, чьи чувства откликаются на реальное.

Его трогает конкретное: этот человек, это горе, эта красота.

Его отклик пропорционален тому, что произошло, и направлен на то, что произошло.

После отклика что-то меняется в нём, в ситуации, в отношении.

Сентиментальный человек — это тот, чьи чувства откликаются на образ реального, специально сконструированный для того, чтобы вызвать именно этот отклик.

Его трогают не люди — их образы.

Не горе — его изображение.

Не красота — её сигнал.

И этот отклик ни к чему не обязывает, ничего не меняет.

Он самодостаточен.

Слеза над сериалом о детях с онкологией, и при этом ни рубля не пожертвовано, ни минуты не потрачено на реального больного ребёнка.

Слеза была настоящей.

Но она не была о реальном ребёнке.

Она была о приятном ощущении собственной способности плакать.

Один ирландский поэт написал фразу, которую я запомнил навсегда:

«Сентиментальный человек — это человек, желающий иметь роскошь эмоции без необходимости платить за неё что-либо».

Это формула, которую нужно выучить наизусть.

Kitschmensch умиляется животным

и равнодушен к людям рядом.

Он плачет над документальным фильмом об экологии

и никогда не думает о том, как живёт его сосед.

Он любит «человечество»

и не выносит конкретных людей.

Он «переживает» за жертв далёкой трагедии в новостях

и раздражается, когда близкий человек требует его внимания здесь и сейчас.

Далёкое и абстрактное всегда трогает больше, чем близкое и конкретное, именно потому что далёкое не предъявляет счёта.

Kitschmensch обожает «трогательные истории».

Историю о том, как незнакомец помог старушке перейти дорогу, и об этом сняли ролик, и он набрал миллион просмотров.

Историю о собаке, которая ждала хозяина.

Историю о ребёнке, который что-то сказал мудрое.

Эти истории реальны, но Kitschmensch потребляет их

не для того, чтобы что-то сделать, а для того, чтобы почувствовать.

Почувствовать и поделиться, чтобы другие тоже почувствовали
и знали, что он почувствовал.

Публичность чувства важна:

она является доказательством наличия чувства.

Kitschmensch не может переживать в одиночестве.

Ему нужны свидетели его переживания.

Как развить способность различать

Несколько вещей.

Учись у мастеров, а не у критиков.

Критик объясняет.

Мастер показывает.

Смотри, как Рембрандт пишет свет, и спрашивай не «почему это считается гениальным», а «что он видел, что я не вижу».

Читай великих писателей

и спрашивай не «почему это классика», а «как он это знает».

Это другой вид внимания — не образовательный, а ученический.

Не бойся не понять сразу.

Трудное произведение требует времени, и именно трудность является признаком того, что в нём больше, чем ты можешь взять за один раз.

Китч понятен немедленно, потому что в нём нечего понимать.

Когда тебе не открывается — возвращайся.

Это не дефект произведения.

Это приглашение расти.

Позволяй произведению требовать от тебя

и принимай это требование.

Если после книги или концерта

тебе хочется что-то изменить, переосмыслить, к чему-то вернуться — произведение было подлинным.

Китч не предъявляет счёта.

Подлинное — всегда предъявляет.

И последнее.

Суждение об искусстве требует смирения, но не потому что «всё относительно», а потому что орган восприятия развивается медленно

и требует честности с самим собой.

Ты можешь не чувствовать чего-то в произведении, которое традиция признаёт великим.

Это не значит, что традиция ошибается — это значит, что ты ещё не пришёл к нему.

Что момент не тот.

Что нужно вернуться.

Именно поэтому доверяй традиции — не слепо, но серьёзно.

Если столетия людей видели в «Блудном сыне» Рембрандта нечто важное, то, скорее всего, это нечто там есть.

Если при первом взгляде не открывается — смотри ещё.

Это не приговор картине.

Это приглашение расти.

Церковь Сан-Луиджи закрыта.

Я стою снаружи в ночном Риме.

Внутри — «Призвание Матфея».

Рука, вытянутая к человеку, который не ожидал, что его позовут.

Который не знал, что достоин.

Который, возможно, сомневался

и всё равно встал.

Вот о чём великое искусство.

Не о красоте.

О правде.

И правда всегда требует ответа.

Твой отец

ПИСЬМО XXVIII

Номо Vulgaris цифровой, или заложник собственного экрана

О новейшем типе хама, который не груб и не злобен, а просто отсутствует — о человеке, поглощённом устройством настолько, что экран стал его единственным способом быть, о том, что он теряет и не знает об этом

Токио — в городе, где цифровое и человеческое существуют теснее, чем где-либо

Мой дорогой мальчик,

Токио — город, который лучше всего в мире умеет сосуществовать с технологией.

Здесь цифровое присутствие настолько плотно, настолько органично вплетено в повседневность, что отделить его от «настоящей» жизни уже невозможно, да и незачем.

Метро работает с точностью часового механизма.

Экраны везде.

Связь везде.

Автоматы с едой, чаем, горячими обедами на каждом углу.

Пожалуй, это единственный город, где я не испытываю привычного раздражения от присутствия технологии, потому что она здесь сделана с уважением к человеку.

С пониманием того, что она служит, а не командует.

Но даже здесь — в метро, на улицах, в парках рядом с храмами — я вижу его.

Номо Vulgaris цифровой.

Не японского изобретения — это глобальный тип, одинаковый в Токио, Лондоне, Москве и Найроби.

Он сидит напротив меня в вагоне и смотрит в телефон.

Он стоит перед пятисотлетним храмом и снимает себя на его фоне, не повернув головы к самому храму.

Он идёт по улице среди людей и не видит людей.

Он везде, и его нигде нет.

Это самый новый из восьми портретов, и, вероятно, самый массовый.

Он не груб.

Не идеологически заряжен.

Не сентиментален и не циничен.

Он просто отсутствует.

Физически присутствует, цифрово поглощён, и в результате не присутствует нигде по-настоящему.

Об этом человеке я хочу написать тебе сегодня.

Не повторяя всего, что уже было сказано в письмах о телефоне, надзоре, соцсетях и внимании, а нарисовав целостный портрет того, кем становится человек, когда цифровое измерение жизни занимает в ней больше места, чем всё остальное.

Как он появился

Homo Vulgaris цифровой — явление молодое.

Полноценно он существует лишь с того момента, когда смартфон стал массовым.

До этого интернет был местом, куда ходили.

После — он стал средой, в которой живут.

Это качественный переход, который трудно переоценить.

Когда интернет был местом, ты мог из него выйти.

Физически: закрыть ноутбук, встать из-за стола, выйти на улицу.

Среда обитания и цифровое пространство были разными местами.

Сейчас — нет.

Цифровое пространство с тобой постоянно: в кармане, в руке, на запястье.

Ты не «выходишь в интернет».

Ты никогда из него не выходишь.

Это изменило не только поведение.

Оно изменило саму структуру присутствия.

Что значит «быть здесь» — в физическом пространстве, с конкретными людьми, в конкретный момент, когда «здесь» конкурирует с бесконечным «там», доступным в одно касание?

Homo Vulgaris цифровой не является ответом на этот вопрос.

Он является человеком, для которого этот вопрос не возник.

Который принял цифровую среду как основную, а физическую — как фон.

Который не сделал выбора.

Просто оказался там, куда привела сила наименьшего сопротивления.

Портрет: что он делает

Я хочу нарисовать его конкретно.

Не обобщённо, а в деталях.

Потому что детали здесь и есть портрет.

Он просыпается, и первое движение руки направлено к телефону.

До кофе.

До мыслей.

До ощущения собственного тела в новом дне.

Первое, что он видит, — это лента.

Лента вчерашнего вечера, ночи, раннего утра.

Он смотрит на чужие жизни

ещё до того, как вспомнил о своей.

Он завтракает, и телефон лежит рядом.

Не потому что ждёт важного звонка.

Просто он всегда рядом.

Как часть сервировки.

Он идёт на работу

или едет в транспорте

и смотрит в экран.

Не читает — листает.

Разница существенная:

чтение требует внимания

и движется в одном направлении.

Листание — автоматическое, без направления, без цели.

Палец движется вниз, мозг регистрирует стимулы — картинки, заголовки, видео-превью, чужие мнения, — и немедленно требует следующего.

На работе у него открыто одновременно несколько вкладок.

Рабочие и нерабочие.

Он переключается между ними автоматически, не отдавая себе отчёта.

Эффективность падает — это измерено многократно.

Но ощущение занятости остаётся:

много движения, много переключений.

Кажется, что работаешь.

На самом деле ни на что не сосредоточен.

В разговоре с другим человеком он держит телефон в руке

или на столе.

При каждом сигнале — взгляд скользит вниз.

Он это не контролирует.

Рефлекс.

Собеседник это видит

и знает:

он не единственный получатель этого внимания.

Он делит его с устройством.

Вечером он «отдыхает», что означает:

переключился с рабочего экрана

на развлекательный.

Сериал.

Или несколько одновременно.

В разных вкладках.

Или сериал и листание ленты параллельно.

Многозадачность в зоне отдыха.

Перед сном — снова лента.

Последнее, что он видит перед закрытыми глазами, — чужие лица, чужие мнения, чужие жизни.

И так каждый день.

Без пауз.

Без тишины.

Без момента, в котором он просто есть — здесь, в своём теле, в своём времени, без экрана.

Что он теряет — слой за слоем

Первое и самое видимое: непрерывное внимание.

Я уже подробно писал об этом.

Здесь добавлю одно:

потеря внимания означает потерю самой возможности глубокого опыта.

Глубокий опыт — будь то разговор, чтение, молитва, созерцание природы, слушание музыки — требует времени без переключения.

Homo Vulgaris цифровой физически не может этого дать.

Не потому что не хочет, а потому что орган для этого атрофирован.

Второе: способность переносить скуку.

О которой я писал как о богатом состоянии.

Скука — это момент, когда внешняя стимуляция отключена
и ум предоставлен сам себе.

Именно в этот момент рождаются
оригинальные мысли, самопознание, отдых в подлинном смысле слова.

Homo Vulgaris цифровому не может быть скучно, но не потому что жизнь
слишком насыщена, а потому что малейшая пауза немедленно заполняется
экраном.

Скука убита, и вместе с ней убито всё, что она производила.

Третье — менее очевидное: способность к случайной встрече.

В мире без экранов человек в кафе мог заговорить с незнакомцем.

Человек в очереди мог обменяться взглядом, улыбкой, словом.

Человек на скамейке в парке мог просто наблюдать
и случайно заметить нечто, изменившее его день.

Все эти встречи требуют одного:

быть доступным.

Homo Vulgaris цифровой — недоступен.

Он смотрит в экран, и это сигнал:

«Я не здесь.

Ко мне не подходи.

Мир за пределами устройства я фильтрую как помеху».

Четвёртое — самое важное: ощущение присутствия в собственной жизни.

Это трудно описать точно, но я попробую.

Есть разница между тем, чтобы жить свою жизнь, и тем, чтобы наблюдать за тем, как она проходит.

Человек, постоянно документирующий, транслирующий, комментирующий, всегда немного вне события.

Между ним и опытом стоит устройство — физически и метафорически.

Именно поэтому так много людей замечают, что важные события их жизни — свадьба, рождение ребёнка, путешествие — «помнятся хуже», чем фотографии с них.

Потому что они были на событии, но не в событии.

Они документировали вместо того, чтобы переживать.

Особая черта: отсутствие в присутствии

Это явление заслуживает отдельного разговора, потому что оно является, пожалуй, наиболее определяющей чертой Homo Vulgaris цифрового.

Он присутствует физически

и отсутствует по-человечески.

Его тело здесь.

Его внимание — там.

Этот разрыв между телесным и психическим присутствием

является чем-то принципиально новым в человеческом опыте.

Прежде отсутствие было физическим:

человек уходил.

Теперь он остаётся, и всё равно уходит.

Это производит особый вид одиночества

у тех, кто рядом с ним.

Ты находишься с человеком, и тебе одиноко.

Потому что он здесь только телесно.

Потому что его внимание разделено.

Потому что ты чувствуешь:

ты не первый в его иерархии присутствия.

Уведомление важнее тебя.

Это разрушает отношения — не через конфликт, а через постепенное истощение.

Люди не расстаются потому, что поссорились.

Они расстаются потому, что годами не были по-настоящему вместе, хотя находились рядом каждый день.

Это разрушает родительство без злого умысла.

Ребёнок, который пытается что-то показать, а родитель смотрит в телефон.

Ребёнок, чьи слова прерываются звуком уведомления.

Ребёнок, научившийся конкурировать с устройством

за внимание отца

и проигрывающий достаточно часто, чтобы это оставило след.

Это разрушает дружбу — когда встречи превращаются

в совместное смотрение в разные экраны

в одном пространстве.

Отсутствие в присутствии — это тихая форма пренебрежения.

Не злобного.

Просто автоматического.

Именно поэтому оно так опасно:

его трудно назвать, трудно предъявить как обвинение.

«Я ничего не делал — просто смотрел в телефон».

Да.

Именно.

И в этом «просто» — всё.

Что происходит с его внутренней жизнью

Номо Vulgaris цифровой имеет особую внутреннюю жизнь, или, точнее, её особое отсутствие.

Внутренняя жизнь требует тишины.

Не обязательно внешней, хотя внешняя помогает.

Но внутренней:

момента, когда никакой внешний стимул

не претендует на твоё внимание.

В этой тишине происходит то, что иначе не происходит:

ты слышишь себя.

Свои реальные мысли — не реакции на стимулы, а мысли, возникающие из собственного опыта.

Свои реальные чувства — не те, что были вызваны контентом, а те, что живут в тебе

независимо от контента.

Homo Vulgaris цифровой не знает, что думает, в буквальном смысле.

Он знает, что думает лента.

Он знает, что думают те, на кого он подписан.

Он знает популярные мнения

по актуальным вопросам.

Но спроси его:

«Что ты сам думаешь об этом без ссылки на чужие формулировки?»

Пауза.

Растерянность.

Или немедленное воспроизведение

чего-то из ленты, принятого за собственное мнение.

Это то, о чём я писал в письме о соцсетях как о духовнике:

алгоритм отвечает на вопрос «кто я» раньше, чем человек успел его задать.

Homo Vulgaris цифровой не знает ответа, потому что никогда не сидел в тишине

достаточно долго, чтобы его услышать.

Он также не знает, как хотеть чего-то своего, а не предложенного.

Потому что желания формируются

в тишине

и в свободном внимании, а не в потоке стимулов.

Когда тебя постоянно соблазняют

следующим предложением, следующим контентом, следующим образом желая, ты никогда не успеваешь понять, что именно ты хотел

до того, как тебе это показали.

Парадокс: он наиболее связан и наиболее одинок

Номо Vulgaris цифровой является наиболее «социальным» из всех типов, которые я описываю в этих письмах.

У него больше всего контактов.

Больше всего подписчиков.

Больше всего коммуникации — сообщений, лайков, комментариев, реакций.

Он постоянно в контакте с кем-то.

И при этом он один из наиболее одиноких.

Это не парадокс, как только понимаешь природу его связей.

Связь требует субъектов — двух людей, каждый из которых реально присутствует перед другим.

То, что называется «общением» в цифровом пространстве, является, как правило, обменом стимулами — быстрыми, поверхностными, не требующими

ни полного присутствия, ни уязвимости, ни риска.

Это не встреча — это коммуникационный трафик.

Я писал об этом в письме о спектакле:

встреча требует двух субъектов, каждый из которых выходит из себя навстречу другому.

Цифровое «общение» — это трансляция.

Монолог, направленный в пространство.

Иногда получающий отклики, тоже монологи, направленные в пространство.

Одиночество, которое это производит, является особым:

человек не знает, что он одинок, потому что у него много контактов.

Он не знает, чего ему не хватает, потому что никогда не пробовал подлинного.

Это самое опасное одиночество:

то, которое не опознаёт себя.

Как это лечится, и лечится ли

Я не хочу заканчивать письмо советами технического характера.

Я уже давал их в других письмах.

Здесь хочу сказать о чём-то более глубоком.

Номо Vulgaris цифровой — это не диагноз плохого человека.

Это диагноз человека, который оказался в среде, созданной для того, чтобы его поглотить, и у которого не было

ни опыта, ни инструментов, ни традиции, которые могли бы этому противостоять.

Это человек без прививки.

Прививка — это внутренний опыт чего-то более насыщенного, чем экран.

Опыт, с которым экран не может конкурировать, потому что он физически, существенно богаче.

Это может быть глубокий разговор, изменивший что-то в тебе.

Или ночь в горах, когда небо такое, что ни одна фотография этого не передаст.

Или произведение, перед которым ты простоял час

и вышел другим.

Или молитва в тишине — такая, в которой ты почувствовал нечто, чему нет имени в языке соцсетей.

Человек, переживший такое хотя бы однажды, знает:

это есть.

Это реально.

Это лучше.

И это знание является защитой — не абсолютной, но реальной.

Оно создаёт точку отсчёта, с которой экранная жизнь видна иначе.

Именно поэтому я говорю тебе снова и снова:

ищи подлинного.

В разных его формах.

Не потому что экран плох, а потому что подлинное лучше.

И когда ты знаешь, что есть лучшее, тебе будет труднее согласиться на худшее.

Токийское метро.

Напротив меня человек с телефоном.

Рядом с ним — пожилая женщина, которая смотрит в окно.

В окне — город, летающий мимо.

Она видит его.

Он — нет.

Я не знаю, о чём думает женщина.

Может быть, ни о чём — просто смотрит.

Но это «просто смотрит» и есть то, чего нет у человека напротив.

Она — здесь.

Он — нигде.

Будь где-то. По-настоящему.

Твой отец

ПИСЬМО XXIX

Homo Vulgaris циничный — умный хам

О человеке, который всё понимает, и именно поэтому ничего не делает, о сильных мира сего, придумывающих смыслы для масс, о просветлённом ложном сознании как высшей форме хамства, и о том, почему ум без совести опаснее глупости

Давос, январь — или любой другой форум, где умные люди говорят правильные вещи

Мой дорогой мальчик,

Давос.

Раз в год сюда съезжаются самые влиятельные люди планеты — политики, финансисты, технологические магнаты, медиаруководители, интеллектуалы на жаловании.

Они говорят о климате, о неравенстве, о будущем человечества, о необходимости реформ.

Говорят хорошо, продуманно, с правильными словами, с пониманием проблем.

Некоторые говорят с видимой искренностью.

А потом садятся в частные самолёты и летят домой — управлять системами, которые производят именно то неравенство, о котором они только что говорили.

Ничего не меняется.

Всё это знают.

Никто не удивлён.

Это и есть Homo Vulgaris циничный в его наиболее совершенном, наиболее влиятельном и наиболее опасном воплощении.

Не простолудин, равнодушный к высокому, — это слишком просто.

Умный хам.

Человек, который видит всё и именно это знание использует для того, чтобы оправдать своё участие в том, что он сам же называет проблемой.

Это шестой портрет.

И, пожалуй, самый важный для понимания механики власти в нашу эпоху.

Петер Слотердаjk и просветлённое ложное сознание

Немецкий философ Петер Слотердаjk в 1983 году написал книгу с названием «Критика циничного разума» и дал определение, которое с тех пор я не могу ни забыть, ни улучшить:

Циник — это человек с просветлённым ложным сознанием.

Он знает, что идеология лжёт.

Он знает, что система несправедлива.

Он знает, что разрыв между декларируемым и реальным является структурным, а не случайным.

И при этом — участвует.

Причём участвует осознанно, не обманывая себя относительно природы своего участия.

Это принципиально отличает его от наивного:

наивный верит в систему и потому служит ей искренне.

Циник не верит и потому служит ей расчётливо.

Наивного можно разочаровать, показав ему правду.

Циника нельзя: он её уже знает.

В XIX веке, писал Петер Слотердаjk, идеологическая критика работала:

ты показываешь рабочему, что его вера в справедливость капитала является ложным сознанием, — и он освобождается.

В XX веке это перестало работать, потому что возник тип человека, который живёт без ложного сознания.

Который не нуждается в вере.

Которому не нужно обманываться.

Он давно перешёл к цинизму как операционной системе.

Это и есть умный хам.

Его хамство не в невежестве — в знании, использованном неправильно.

Или точнее:

в знании, которому не позволено иметь последствия.

Сильные мира сего: анатомия цинизма власти

Позволь нарисовать несколько портретов, не называя конкретных имён, потому что они неважны, а типы — вечны.

Первый тип: технологический магнат.

Он создал платформу, которая используется миллиардами людей.

Он знает, потому что у него есть все данные, что его платформа усиливает поляризацию, разрушает внимание, производит депрессию у подростков, манипулирует политическими процессами.

Его собственные исследователи написали об этом внутренние отчёты.

Он их читал.

Он выступает на конференциях

о демократии и открытом обществе.

Жертвует деньги на образование.

Говорит о «соединении людей» и «создании сообществ».

Он не лжёт в том смысле, что верит в хорошие намерения.

Он лжёт в том смысле, что между его словами

и его действиями нет никакой связи.

Его платформа продолжает работать так, как работает, потому что это приносит деньги.

Декларации существуют параллельно.

Это и есть просветлённое ложное сознание в действии:

он знает правду о своей системе

и именно поэтому, а не вопреки этому, система продолжает работать.

Знание не влечёт изменения.

Знание влечёт более изощрённую PR-стратегию.

Второй тип: медийный магнат.

Он управляет медиасистемой, которая производит страх, злость, поляризацию, потому что именно это производит аудиторию.

Он знает, что его редакторы принимают решения

не на основании важности события, а на основании его эмоциональной заряженности.

Он знает, что термин «информирование общества»

давно стал эвфемизмом

для «производства вовлечённости».

Он финансирует экспертные институты, которые говорят о качестве журналистики.

Он выступает в защиту свободы прессы.

Возможно, он искренне в неё верит.

В абстрактном смысле.

В конкретном смысле его СМИ производят то, что производит больше просмотров.

Цинизм здесь работает особенно тонко:

он не принял решения быть циником.

Он просто никогда не принимал решения, которое стоило бы ему денег ради принципа.

Каждое маленькое решение было рациональным.

Совокупность маленьких рациональных решений — это система, разрушающая ту самую свободу прессы, которую он декларирует защищать.

Третий тип: политический технолог.

Это человек, работающий за кулисами — стратег, политический консультант, создатель нарративов.

Его работа — производство смыслов для масс.

Он знает лучше всех, что политика является перформансом.

Что лозунги создаются

не для описания реальности, а для производства эмоциональных реакций.

Что избиратель не принимает рациональных решений, и именно это знание составляет его профессиональную ценность.

Он работает для разных клиентов

в разные периоды, в зависимости от того, кто платит.

Его убеждения гибки

в той мере, в которой гибко его портфолио.

Он искренне считает себя профессионалом, а не предателем, потому что профессионализм

освобождает от вопроса о содержании.

«Я просто делаю свою работу хорошо».

Именно это «просто делаю свою работу»

является, пожалуй, главной формулой цинизма в нашу эпоху.

Четвёртый тип: интеллектуал на службе.

Самый неприятный тип, потому что он предаёт нечто, что прямо обязывает к другому, — интеллектуальный труд.

Это думающий человек, который использует свой ум

для производства обоснований того, что нужно заказчику.

Академик, создающий научный фасад

для сомнительной политики.

Экономист, конструирующий модели, легитимирующие удобные для власти выводы.

Философ, находящий теоретические основания

для того, что неудобно называть своим именем.

Он, как правило, очень умён.

Умнее своего заказчика.

Именно поэтому его ценят, и именно поэтому его цинизм так разрушителен.

Потому что он не просто участвует в системе — он обеспечивает ей интеллектуальную легитимность.

Он делает ложь умной.

Это особый вид хамства:

использование ума против того, для чего ум предназначен.

Пятый тип: корпоративный менеджер смыслов.

Директор по коммуникациям.

Руководитель отдела по связям с общественностью.

Советник по репутации.

Человек, чья профессия — управлять тем, как люди воспринимают реальность.

Его инструмент — нарратив.

Его задача — чтобы то, что происходит, воспринималось иначе, чем оно есть.

Он знает точно, что его компания делает нечто, имеющее нехорошие последствия — для среды, для сотрудников, для потребителей.

Он знает, что его пресс-релизы не описывают эту реальность.

Они её маскируют.

Он профессионал этой маскировки.

И он получает за это хорошие деньги

и называет это «управлением репутацией».

Чем циник отличается от злодея

Здесь необходимо сделать различие, потому что иначе всё сказанное превратится

в теорию заговора злонамеренных людей.

Злодей знает, что делает зло, и делает его намеренно.

Его мотив — злоба, жадность, власть в их наиболее чистом виде.

С ним, по крайней мере, всё ясно: есть злодей, есть злодейство, есть жертвы.

Циник сложнее.

Он не считает себя злодеем.

Он считает себя реалистом.

Прагматиком.

Человеком, понимающим, «как устроен мир на самом деле».

Его самообраз — не злодей, а взрослый.

Тот, кто перешёл за пределы наивных иллюзий.

Именно поэтому с циником труднее иметь дело, чем со злодеем.

Злодею можно противостоять, потому что он хотя бы честен в своём злодействе.

Циник не честен

и не нечестен.

Он просто вынес себя за пределы категорий честности.

Он «реалист».

А реализм, по его логике, освобождает от требований морали, которая является, с его точки зрения, уделом наивных.

Производство смыслов для масс: механизм

Теперь о том, что делают эти люди, взятые вместе.

О системной функции цинизма власти.

Они производят смыслы.

Не истину.

Смыслы.

Нарративы, объясняющие людям, что происходит

и почему, кто хороший

и кто плохой, чего бояться

и на что надеяться.

Это не пропаганда

в грубом советском смысле — это значительно изощрённее.

Это производство культурного климата, в котором определённые вопросы кажутся разумными, а определённые — странными.

Определённые люди — компетентными, а определённые — маргинальными.

Определённые ценности — современными, а определённые — устаревшими.

Это производство работает

через медиа, через образование, через культурные продукты, через язык публичного дискурса.

Оно не требует заговора.

Оно требует лишь согласованного интереса людей, которые получают выгоду от определённой картины реальности.

И в центре этого производства — циник.

Человек, знающий, что картина реальности является картиной, а не реальностью.

Знающий, что смыслы производятся, а не открываются.

И производящий их — профессионально, эффективно, без лишних сомнений.

Именно здесь — пересечение с тем, о чём я писал в письмах

о мифах повседневности, о спектакле, о производстве согласия.

Всё это производит кто-то.

И этот кто-то, как правило, не является злодеем.

Он является циником.

Человеком, который знает, что делает.

И делает это.

Что происходит с теми, кто получает эти смыслы

Производство смыслов для масс — это не нейтральная деятельность.

Оно имеет антропологические последствия.

Когда масса получает смыслы извне — готовые, упакованные, убедительно поданные, — то она перестаёт производить их сама.

Способность к собственному смыслополаганию атрофируется, как любая мышца, которую не упражняют.

Люди привыкают получать интерпретацию реальности, а не создавать её.

Это производит особый тип зависимости:

зависимость от нарратива.

Человек без нарратива, без объяснения того, что происходит
и почему, испытывает тревогу.

И именно эту тревогу эксплуатирует производитель смыслов:
он поставляет нарратив
и тем самым снимает тревогу.

До следующего раза.

Это и есть механизм удержания: не насилие, не принуждение, а поставка
смысла людям, разучившимся производить его самостоятельно.

Циник наверху
и масса внизу, в идеальном симбиозе.

Он производит смыслы, которые она потребляет.

Она потребляет смыслы, в которые он не верит.

Это система идеального взаимного хамства: он хамит её достоинству,
производя смыслы, которые держат её управляемой.

Она хамит своему собственному достоинству, принимая чужие смыслы
вместо того, чтобы создавать свои.

Чем цинизм умного отличается от цинизма обычного

В письме о цинизме я говорил

о цинизме как личной защитной позиции: человек, разочарованный жизнью,
закрывающийся от повторного разочарования.

Это цинизм как рубец на месте раны.

Цинизм умного хама — другой.

Это не рубец.

Это инструмент.

Это цинизм

не как защита, а как стратегия.

Он не страдает от разочарования.

Он давно вышел за пределы состояния, при котором возможно разочарование.

Его ничто не разочарует, потому что он ни во что не верит.

Не потому что верил и потерял, а потому что никогда не позволял себе поверить по-настоящему.

Это более холодный, более устойчивый

и более опасный тип.

Раненый циник потенциально исцелим — у него есть живая ткань под рубцом.

У умного хама нет раны.

Есть только технология.

Именно поэтому умный хам является

лучшим из возможных менеджеров.

Лучшим пиарщиком.

Лучшим политическим технологом.

Его эффективность не нарушается

никакими моральными колебаниями.

Он — идеальный профессионал системы, которая работает вне морали.

Что с этим делать, и почему это важно

Прежде всего — не становиться им.

Это самое важное.

И это труднее, чем кажется, потому что цинизм умного является наиболее соблазнительной позицией для человека с интеллектом.

Умный человек рано замечает разрыв между декларируемым и реальным.

Рано понимает, что публичный дискурс полон лжи.

Рано обнаруживает, что те, кто говорит правильные слова, не обязательно живут по ним.

Это реальные наблюдения, и они требуют ответа.

Ответов есть несколько.

Первый — наивный оптимизм:
закрыть глаза на противоречия.

Второй — пессимистическая беспомощность:
видеть всё и страдать от бессилия.

Третий — цинизм:
использовать знание о противоречиях
для комфортного существования без иллюзий.

Четвёртый — тот, о котором я писал в письме о цинизме как слабости, и который не имеет простого имени:

видеть всё

и всё равно выбирать действовать

из ценностей, а не из расчёта.

Четвёртый выбор самый трудный.

Он не гарантирует успеха.

Он не гарантирует, что тебя не предадут, не обманут, не используют.

Он требует готовности снова оказаться уязвимым.

Но он единственный, при котором ты остаёшься собой.

При котором твоё знание используется

для того, для чего оно предназначено:

для лучшего действия в мире, а не для более умного в нём устройства.

Второе:

не производить смыслов для масс, которым ты сам не веришь.

Это звучит очевидно

и при этом является одним из наиболее распространённых

профессиональных соблазнов

для людей с умом и с возможностями.

Коммуникации.

Маркетинг.

Политическое консультирование.

Публичная дипломатия.

Корпоративные нарративы.

Все эти профессии предлагают

хорошо оплачиваемое производство смыслов, и каждая из них требует ответа на вопрос:

я строю это

из того, во что верю, или из того, во что платят верить?

Это не означает, что нельзя работать в коммуникациях.

Это означает, что человек с совестью

не может работать в них

без постоянного вопроса

о том, что именно он производит

и для кого.

Третье — самое важное:

верить во что-то по-настоящему.

Не декларировать.

Верить.

Это означает:

быть готовым заплатить за веру цену.

Потерять что-то важное, если того требует принцип.

Отказаться от выгодного, если оно противоречит тому, что ты считаешь правдой.

Это не героизм.

Это просто минимальный порог серьёзности убеждений.

Человек, не готовый ничем пожертвовать

ради своих убеждений, не имеет убеждений.

Он имеет предпочтения, лишь до тех пор, пока они бесплатны.

Именно это и есть цинизм

в его сути:

убеждения как дешёвое украшение, снимаемое при первом реальном испытании.

Давос заканчивается.

Самолёты взлетают.

Система продолжает работать.

Никто не удивлён.

Но это не означает, что так должно быть.

Это означает лишь, что именно такие люди сейчас управляют.

Не будь одним из них.

Не потому что это невыгодно, а потому что это недостойно.

Твой отец

ПИСЬМО ХХХ

Хам-эзотерик, или самый опасный портрет

О профане, надругавшемся над символами Традиции без инициации, о еретических структурах как вечно возвращающихся соблазнах, о псевдоинициации без живой цепи передачи и о том, почему прикосновение к сакральному без подготовки не просветляет, а разрушает

Флоренция — снова, ночью, перед фасадом Санта-Кроче

Мой дорогой мальчик,

Я стою перед фасадом Санта-Кроче.

Ночь, пьяцца пустая, свет фонарей делает белый мрамор почти голубым.

Здесь похоронены Микеланджело, Галилео Галилей, Николо Макиавелли, Данте, хотя Данте только символически, его тело так и осталось в Равенне.

На фасаде — геометрические символы, знаки, унаследованные от разных традиций.

Их видят туристы каждый день, не думая о том, что они значат и откуда.

Это нормально, ибо символ, утративший своё значение для большинства, всё равно присутствует в камне.

Но иногда я думаю: а что значил бы этот фасад для человека, которому символы открыты?

Открыты по-настоящему, через долгий путь, а не через интернет-статью или посвящение за деньги.

Именно об этом, о разнице между знанием символа и его присвоением без права, я хочу написать тебе сегодня.

Это самый длинный разговор из всех восьми портретов.

Потому что хам-эзотерик является наиболее трудно различимым типом и наиболее духовно опасным.

Не для других.

В первую очередь для себя.

Почему это самый опасный портрет

Остальные семь типов Homo Vulgaris наносят тот или иной вред — интеллектуальный, моральный, социальный, политический.

Но их вред остаётся в горизонтальном измерении: в мире людей, в мире идей, в мире вещей.

Хам-эзотерик пытается действовать в вертикальном измерении — в сфере сакрального.

И именно это делает его потенциально разрушительным иначе, чем остальные.

Потому что прикосновение к сакральному без подготовки, без очищения, без инициации в подлинном смысле, без руководства традиции не остаётся нейтральным.

Оно производит нечто: либо искажение, либо разрушение, либо то, что традиционные авторитеты называли «контринициацией», то есть не просто отсутствие сакрального, а его активную инверсию.

Библейский образ здесь предельно точен.

Хам — сын Ноя — не убил отца.

Не отверг его.

Не сражался с ним.

Он просто увидел его наготу, его уязвимость, его открытость

и посмеялся.

Пошёл рассказать братьям.

Он коснулся того, чего не должен был касаться без должного благоговения.

И это прикосновение без благоговения есть точное описание того, что делает хам-эзотерик с символами Традиции.

Рене Генон — французский метафизик, принявший ислам суфийского направления

и написавший наиболее систематический из существующих анализов соотношения Традиции и её искажений, — назвал этот феномен с точностью, которая с годами кажется мне всё более верной:

«профанация сакрального» через «псевдоинициатические организации».

Это не оскорбление в адрес людей.

Это технический термин для духовной операции: присвоение форм без их содержания, символов без их источника, ритуалов без их силы.

Что такое инициация, и почему её нельзя купить или скачать

Прежде чем говорить об искажениях, необходимо сказать о подлинном, иначе критика будет висеть в воздухе.

Инициация в традиционном понимании — не церемония

и не посвящение в тайные знания.

Это существенное изменение:

человек становится иным.

Он получает доступ к измерению реальности, которое прежде было для него закрыто, не потому что кто-то его скрывал, а потому что орган для восприятия этого измерения не был развит.

Это требует трёх условий, которые невозможно обойти.

Первое — подготовка.

Длительная, постепенная работа над собой: очищение от страстей, развитие различения, приобретение добродетелей.

Не как формальные требования, а как реальные изменения, делающие человека способным нести то, что будет ему открыто.

Человек неочищенный, получивший доступ к мощным духовным реальностям, не просветляется.

Он разрушается.

Как незащищённый глаз

при прямом взгляде на солнце.

Второе — живая цепь передачи.

Инициация передаётся от человека к человеку.

Живого — к живому.

Это не метафора:

духовная реальность не передаётся

через текст, через интернет, через ритуал, совершённый без понимания его природы.

Она передаётся через контакт с тем, кто её несёт.

Именно поэтому в христианстве апостольское преемство

является не административной формальностью, а существенной необходимостью: рукоположение передаёт не должность, а нечто живое, что должно быть живым в рукоположённом.

Третье — смирение.

Не формальная покорность, а реальное принятие того, что ты не знаешь того, чего не знаешь.

Что твоя точка зрения ограничена.

Что традиция видит дальше, чем ты.

Это противоположно позиции хама-эзотерика, который берёт символы потому, что ему кажется, что он уже достаточно умён для этого.

Ереси как системные искажения вертикали

Теперь о ересях.

Это слово нуждается в реабилитации:

его часто воспринимают как церковный ярлык для подавления инакомыслия.

На самом деле в его точном значении

ересь есть не «неправильное мнение», а отсечение части истины от целого

и возведение этой части в абсолют.

Это структурное, а не просто интеллектуальное нарушение:

ересь берёт реальный элемент реальности и искажает его через изоляцию от контекста, который один придаёт ему смысл.

И ереси не умирают.

Они возвращаются в новых формах, с новыми именами, в новых культурных контекстах.

Хам-эзотерик, как правило, не знает исторических имён этих структур.

Но он воспроизводит их, потому что они апеллируют к постоянным соблазнам человеческой природы.

Именно поэтому их нужно знать как структуры, а не как исторические курьёзы.

Первая структура: разделение реальности на два равноправных абсолютных начала.

Свет и Тьма как вечные противоположные силы, ведущие бесконечную борьбу.

Материя как зло или тюрьма духа.

Спасение как освобождение от телесного и материального.

Мир как поле битвы, исход которой не предрешён.

Почему это соблазнительно?

Потому что объясняет страдание без необходимости принимать парадокс благого Бога, попускающего зло.

Потому что даёт чёткое разделение:

свои и чужие, свет и тьма.

Потому что освобождает от необходимости работать со своей тёмной стороной — её нужно просто отсечь, а не преобразовать.

Эта структура воспроизводится везде, где мир делится на «пробуждённых» и «спящих», на «несущих свет» и «тёмных сил», на духовную элиту и непосвящённых.

В политических движениях, видящих историю как борьбу абсолютного добра с абсолютным злом.

В «духовных» практиках, объявляющих тело врагом духа.

Православное христианство противостоит этой структуре

через утверждение, которое кажется менее драматичным, но является значительно более сложным:

Бог создал материю, и она хороша.

Зло является не отдельным началом, а искажением добра.

Тёмная сторона человека является не чем-то внешним, от чего нужно освободиться, а частью его природы, требующей преобразования.

Исход истории предрешён — не нашими усилиями.

Жить в этом труднее, чем жить в ясном дуалистическом противостоянии.

Требуется нести противоречие, не разрешая его насильем.

Вторая структура: претензия на особое тайное знание как условие спасения.

Не вера, не добродетель, не любовь — знание, доступное немногим избранным.

Мир как творение несовершенного или злого начала; подлинный Бог — далеко, и к Нему ведёт специальное посвящённое знание, а не обычный путь.

Человечество разделено на тех, кто по природе своей способен к этому знанию, и тех, кто неспособен в принципе.

Соблазн здесь — в ощущении сущностной избранности.

«Я знаю нечто, чего другие знать не могут.

Я по природе принадлежу к высшему.

Моё спасение предопределено независимо от того, как я живу».

Эта структура возвращается в любой системе, где обладание тайным знанием

делает человека иным, чем остальные: в движениях «пробуждения» против «спящих», в технологических утопиях, видящих себя новой ступенью эволюции, в любой идеологии, делящей людей на «видящих» и безнадежно слепых по природе.

Третья структура: самоспасение без благодати.

Убеждение, что человек способен достичь духовного совершенства собственными усилиями

через правильные техники, правильные практики, правильный образ жизни, но без признания того, что существует нечто, чего он не может дать себе сам.

Духовный путь как набор компетенций.

Просветление как результат правильной самодисциплины.

Сегодня эта структура живёт прежде всего в культуре самосовершенствования: духовное развитие как навык, «лучшая версия себя» как цель, достигаемая техниками без обращения к тому, что больше тебя.

Соблазн здесь в том, что это частично правда.

Самодисциплина важна.

Но частичная правда, возведённая в абсолют, искажает то, частью чего она является.

Четвёртая структура: присвоение форм традиции без живого содержания.

Организации и практики, берущие ритуалы, символы, язык и архитектуру подлинных инициатических традиций, не имея живой цепи преемства, связывающей их с источником этих форм.

Форма есть.

Содержание подменено.

Ритуал совершается, но без сущностной силы, которую он должен нести.

Инициация декларируется, но передавать нечего, потому что живая нить прервана или никогда не существовала.

Это в терминологии Рене Генона — «контринициация»:

не просто нейтральное отсутствие подлинного, а активное присутствие его противоположности.

Не пустота на месте сакрального, а нечто, занявшее это место
и принявшее его форму.

Именно поэтому это опаснее простого невежества: человек думает, что работает с силой, а работает с её инверсией, и не знает об этом.

Все четыре структуры воспроизводятся в истории, потому что апеллируют к реальным потребностям: к потребности в объяснении зла, в ощущении избранности, в духовной силе, в принадлежности к сообществу посвящённых.

В каждой есть зерно реального.

Именно в этом зерне

и состоит их опасность: ложь, укоренённая в правде, убедительнее чистой лжи.

И именно поэтому человек, не укоренённый в подлинной традиции
с её инструментами различения, почти незащищён перед ними.

Портрет хама-эзотерика: как он выглядит

Теперь — конкретный человек.

Не карикатура, а узнаваемый портрет.

Хам-эзотерик часто начинает с кризиса.

Традиционная религия кажется ему

недостаточно глубокой, слишком институциональной, слишком
требовательной в неправильных вещах

и недостаточно требовательной в других.

Он ищет.

И это искание подлинно.

Поиск сакрального в нём есть настоящее движение
к тому, что больше него.

Но он делает несколько роковых ошибок в этом поиске.

Первая:

он принимает знание символов за сами символы.

Он читает о мистических традициях Востока и Запада
и считает, что читал о реальности, а не о картах реальности.

Это фундаментальная ошибка:

карта и территория не одно и то же.

Книга о медитации не есть медитация.

Текст об инициации не есть инициация.

Вторая:

он выбирает без смирения.

Он берёт из разных традиций то, что ему нравится — «лучшее из всех», как он считает.

Это называется синкретизмом, и оно является специфической формой
духовного хамства:

предположение, что ты способен судить

о том, что лучшее в каждой традиции, не пройдя ни одну из них до конца.

Это как взять

лучший такт из Иоганна Себастьяна Баха, лучший из Людвиг ван Бетховена
и лучший из Вольфганга Амадея Моцарта
и считать, что получилась более совершенная музыка.

Нет.

Получилась какофония.

Третья, и это самая характерная:

он ищет силы, а не чистоты.

Он хочет духовных «практик», «техник», «методов работы с энергией», то есть инструментов воздействия на реальность.

Это прямая инверсия подлинного духовного пути, который начинается не с приобретения силы, а с её полного отречения.

Не «как я могу воздействовать на реальность», а «как реальность может воздействовать на меня».

Маг хочет первого.

Мистик — второго.

Разница принципиальная.

Четвёртая:

он ищет особого статуса.

Эзотерическое знание даёт ощущение принадлежности

к элите понимающих, и это ощущение является одним из самых мощных соблазнов.

«Большинство спят — я пробуждён.

Они живут в Матрице — я вижу код.

Они послушны системе — я знаю её истинную природу».

Это прямое продолжение гностической структуры:

деление на посвящённых и остальных.

Именно оно является главным признаком псевдоинициации: подлинная инициация производит смирение, потому что открывает человеку, насколько он мал.

Псевдоинициация производит гордость, потому что убеждает его, что он особенный.

Его внешние признаки: он говорит о «вибрациях», «энергиях», «высших сущностях», «пробуждении», используя язык духовности

без её содержания.

Он коллекционирует символы разных традиций, не понимая их природы, но чувствуя их «силу».

Он сочетает несочетаемое в синкретическом миксе, лишённом внутренней логики

любой из составляющих.

Он прошёл «инициацию» у людей, которые сами прошли аналогичные «инициации»

у аналогичных людей, и ни одна из этих цепей

не восходит к живому источнику.

Он часто очень чувствителен

к «атмосфере», к «энергиям мест», к «знакам».

Это может быть реальной чувствительностью, но без различения

она является опасностью, а не даром.

Потому что духовный мир, к которому открывается эта чувствительность, не является однородно благим.

И человек без традиции, без руководства, без различения, то есть без инструментов для понимания того, с чем он контактирует, является не исследователем этого пространства, а его жертвой.

Почему это хамство в точном библейском смысле

Возвращаясь к тому, с чего я начал.

Хам увидел наготу отца — уязвимость, открытость, тайну
и посмеялся.

Он коснулся того, чего не должен был касаться
без должного благоговения.

Хам-эзотерик делает то же самое с символами Традиции.

Он берёт их, потому что они производят впечатление, потому что они дают ощущение причастности к тайному, потому что они обещают силу.

Он не приходит к ним с благоговением.

Он приходит с потребительской позицией.

«Что это может дать мне?»

Символ, взятый без благоговения, без подготовки, без живой цепи передачи, не становится нейтральным.

Он либо умирает в руках взявшего — теряет силу, превращается в украшение, в психологический инструмент, в игру воображения.

Либо — и это более серьёзный случай — производит инверсию: человек думает, что работает с силой, а на самом деле работает с её противоположностью.

Он не знает об этом.

Именно поэтому Рене Генон называл это самым опасным.

Юлиус Эвола — мыслитель, чьё метафизическое анализ

в некоторых вопросах отличается редкой точностью, написал о «человеке без касты»:

существе без внутренней формы, которое претендует на причастность

к высшим измерениям, не имея для этого

ни подготовки, ни природных данных.

Чем ниже реальное положение, тем громче претензия на высшее.

Это точное описание хама-эзотерика:

он претендует на духовную аристократию

именно потому, что не является ею.

Как распознать и как не попасть

Несколько признаков, по которым ты можешь отличить

подлинное духовное искание

от его имитации, как в других, так и в себе.

Первый: смиряет ли это тебя или возвышает?

Подлинный духовный опыт производит смирение: ты видишь, насколько мал перед тем, с чем столкнулся.

Псевдодуховный опыт производит гордость: ты видишь, насколько ты выше тех, кто не понял.

Это надёжный первичный тест.

Второй:

есть ли живая цепь передачи

от конкретного человека

к конкретному человеку, восходящая к подлинному источнику?

Или это самоинициация

через книги и курсы?

Это не означает, что книги бесполезны.

Они могут указывать направление.

Но они не могут передавать

то, что передаётся только живым контактом.

Третий: требует ли это от тебя нравственной работы — очищения, добродетели, изменения поведения?

Или это чисто техническое знание — практики, работающие независимо от того, кем ты являешься?

Подлинная инициация не может происходить

с нечистым субъектом, и именно поэтому она всегда начинается

с нравственного очищения, а не с получения техник.

Четвёртый:

ведёт ли это к любви

к конкретным людям, к миру, к Богу?

Или ведёт

к изоляции, к ощущению особости, к дистанции от «неразбуждённых»?

Подлинный духовный путь

в любой традиции неизменно ведёт

к расширению любви.

Псевдодуховный — к сужению.

Пятый — специфически христианский критерий, но применимый шире:

говорит ли это что-то

об Искуплении?

О том, что зло в мире и в человеке уже преодолено, что история не является битвой равных сил?

Или это система самоспасения, в которой ты сам должен пробиться

к свету через тьму собственными силами?

Дуалистическая структура отвечает

на этот вопрос неправильно.

Гностическая — тоже.

Христианство — иначе: спасение уже совершилось, и твоя задача — не добыть его, а принять.

Последнее, о подлинной тайне

Я хочу закончить тем, что кажется мне самым важным

во всём этом письме.

Тайна существует.

Это не выдумка романтиков

и не изобретение манипуляторов.

В мире есть измерение, недоступное поверхностному взгляду.

Есть реальности, требующие специфической подготовки
для восприятия.

Есть духовный мир — богатый, многоуровневый, небезопасный.

Традиции, утверждающие это, говорят правду.

Именно поэтому

к этой теме нельзя относиться

ни с легкомысленным любопытством, ни с высокомерным
рационалистическим отрицанием.

Ни «это просто суеверие», ни «я возьму отовсюду лучшее и освоюсь сам».

Первое закрывает реальное измерение.

Второе открывает его, но без защиты.

Правильное отношение — то, которое в христианской традиции

называется «духовным трезвомыслием» или «трезвением»: бодрствование,
различение, готовность к встрече

с тем, что больше тебя, при сохранении связи

с источником, который один может дать различение

добрых и злых духов.

Это требует принадлежности.

Принадлежности к живой традиции, несущей подлинное преемство,
имеющей инструменты различения, проверенные столетиями опыта.

Это не может быть сконструировано индивидуально, как бы умён ты ни был.

Фасад Санта-Кроче за спиной.

Символы в камне.

Микеланджело внутри.

Он понимал, что создаёт, и это понимание было возможно
потому, что он жил внутри традиции, давшей ему язык
для работы с тем, что больше него.

Это и есть разница.

Не между умным и глупым.

Между принадлежащим

и присваивающим.

Принадлежи.

Не присваивай.

Твой отец

ПИСЬМО XXXI

Хам-эгалитарист, или как равенство стало религией

О самом политически успешном типе хама, о Французской революции как первородном грехе эгалитаризма, о демократии как пути к тирании, об уничтожении высокого во имя справедливости и о том, почему требование равенства всегда служит тем, кто стоит ниже, а не тем, кто стоит выше

Париж, 14 июля — в день, который следует понимать правильно

Мой дорогой мальчик,

14 июля 1789 года в Париже штурмовали Бастилию.

В крепости содержалось семь заключённых — четыре фальшивомонетчика, двое душевнобольных

и один аристократ, помещённый туда по просьбе собственной семьи.

Никакого подвига освобождения.

Никакого символа тирании, немедленно сокрушённой народом.

Просто тюрьма средних размеров

с небольшим числом узников.

Но миф оказался важнее факта.

Бастилия стала символом.

И этот символ до сих пор отмечают фейерверками

по всей Франции.

Потому что то, что началось в тот день, изменило мир, и изменило его так глубоко и так необратимо, что большинство людей уже не могут представить иного.

Мир, организованный не по принципу иерархии традиции, а по принципу равенства прав.

Мир, в котором главным лозунгом политики стало

«Liberté, égalité, fraternité».

Этот мир мы называем современностью.

И считаем его единственно возможным.

Я не разделяю этой уверенности.

И в этом письме я скажу об этом прямо, без тех смягчений и оговорок, которые в нашу эпоху стали обязательным налогом

на любую мысль, не укладывающуюся в господствующий нарратив.

Равенство как религия: что это означает

Я писал тебе о равенстве в письме VIII.

Там я различал три вида:

равенство достоинства, равенство перед законом и равенство результатов.

Первые два — законны и необходимы.

Третье — яд.

Здесь я хочу говорить о другом:

о равенстве как религии.

О том, что произошло, когда политический лозунг превратился

в метафизическое убеждение, в нравственный абсолют, в систему, не допускающую оспаривания.

Религия равенства имеет своё священное писание — Декларацию прав человека 1789 года.

Своих пророков — Жан-Жака Руссо, Максимильена де Робеспьера, позже Карла Маркса.

Своих мучеников.

Свои праздники.

Свои ритуалы.

Своих еретиков — тех, кто осмелился сказать, что люди не равны.

Свою инквизицию, которая сегодня называется «культурой отмены»

и действует с не меньшей эффективностью, чем историческая, просто без физического насилия (пока).

Именно как религию её и нужно анализировать.

Потому что религия не терпит критики своих оснований.

Она требует веры.

И именно это произошло с равенством:

оно стало недискутируемым.

Его нельзя подвергать сомнению

без немедленного навешивания ярлыков — «реакционер», «элитарист», «фашист», «расист», «мизогинист».

Ярлыки заменяют аргументы

именно тогда, когда нет аргументов, а только вера.

Французская революция: первородный грех

Позволь сказать прямо то, что в приличном обществе не принято говорить:

Французская революция была катастрофой.

Не потому что свергла монархию.

Монархии бывают разными.

Не потому что уничтожила аристократию.

Аристократии тоже бывают разными.

А потому что она утвердила принцип, разрушивший условия, при которых возможна подлинная свобода.

Этот принцип:

нет ничего, что законно стояло бы выше другого.

Никакой традиции, никакой иерархии, никакого авторитета, никакого превосходства, кроме арифметического большинства голосов.

Это и есть суть революционного эгалитаризма:

не освобождение человека, а отрицание вертикали.

Австрийский аристократ Эрик фон Кюнелът-Леддин — один из немногих мыслителей XX века, имевший мужество сказать это открыто, — написал книгу с провокационным названием «Свобода или равенство».

Его тезис прост и разрушителен для господствующего нарратива:

свобода и равенство несовместимы.

Не потому что свобода предполагает несправедливость, а потому что свобода предполагает различие.

Свободные люди неизбежно становятся неравными

в результатах, в достижениях, в положении.

Равенство результатов достигается только принуждением — постоянным, активным, насильственным принуждением к одинаковости.

Революция 1789 года это знала

и выбрала последовательно.

Liberté и égalité несовместимы в пределах одной системы.

И именно поэтому революция, начавшаяся с деклараций о свободе, немедленно пришла к террору.

Гильотина была не ошибкой революции — она была её логическим следствием.

Равенство, проводимое последовательно, требует устранения тех, кто поднимается выше.

И это устранение осуществляется

от имени всех, то есть большинства, то есть хама.

Демократия и тирания: связь, о которой умалчивают

Античные мыслители — Платон, Аристотель — знали об этой связи.

Они знали, что демократия является нестабильной формой правления, имеющей встроенную тенденцию

к охлократии — власти толпы, и далее к тирании.

Механизм прост

и воспроизводился в истории многократно.

Демократия предполагает равенство голосов.

Это значит, что решения принимаются большинством.

Большинство, как правило, состоит из людей, для которых сиюминутное благо важнее долгосрочного, конкретное важнее абстрактного, своё важнее общего.

Они выбирают политиков, обещающих именно это.

Политики, которые говорят правду о трудных решениях, проигрывают.

Политики, которые обещают немедленное благо за чужой счёт, побеждают.

Демократия систематически отбирает

против мужества, но в пользу демагогии.

Эрик фон Кюнелът-Леддин прослеживал эту цепочку

исторически и логически:

Афины казнили Сократа демократическим голосованием.

Это не была ошибка афинской демократии.

Это была её закономерность.

Сократ раздражал большинство.

Большинство его устранило.

Демократически.

Иерусалим демократически выбрал отпустить Варавву, а не Иисуса Христа.

Это тоже не была ошибка.

Это была демократия, работающая правильно:

большинство проголосовало

за то, чего хотело большинство.

Алексис де Токвиль — французский аристократ, написавший самый
проницательный анализ американской демократии

из всех существующих, предупреждал о «мягком деспотизме»:

демократия неизбежно движется

к нивелированию, к устранению всего, что выделяется, к власти среднего над
исключительным.

Не через насилие, а через давление конформизма, через социальное исключение, через постепенное исчезновение пространства, в котором можно быть другим.

Это происходит прямо сейчас, и происходит быстрее, чем Алексис де Токвиль мог предвидеть, потому что у нас есть инструменты, которых у него не было:

цифровые платформы, производящие толпу в режиме реального времени.

Культура отмены, позволяющая моментально применять

к отступникам то же давление, которое прежде требовало физического присутствия толпы.

Алгоритмы, оптимизирующие под реакции большинства

и тем самым систематически подавляющие всё, что большинству неудобно.

Портрет хама-эгалитариста

Теперь — конкретный человек.

Не теоретик эгалитаризма, а живой тип, которого ты встречаешь каждый день.

Хам-эгалитарист не является злобным.

Это важно признать сразу.

Он искренен в своём требовании справедливости.

У него, как правило, есть реальный опыт несправедливости — своей или чужой.

Его гнев имеет основания.

Его требования нередко отвечают на реальную проблему.

Но, и здесь начинается его хамство, его требование равенства направлено

не на поднятие низшего, а на устранение высшего.

Не «дай мне то, что есть у него», а «лиши его того, что есть».

Не «признай моё достоинство», а «уничтожь его превосходство».

Это принципиальная разница, и именно она делает его разрушительным.

Он ненавидит иерархию — любую.

Не потому что исследовал каждую конкретную иерархию

и нашёл её несправедливой.

А потому что сам принцип иерархии

является для него оскорблением.

То, что кто-то стоит выше

в знании, в мастерстве, в духовном развитии, в нравственной зрелости, — невыносимо.

Не потому что превосходство используется для угнетения, а просто потому что оно существует.

Он требует «представительности».

В академии, в культуре, в истории — всюду должно быть «представительство» групп, к которым он принадлежит

или которые считает угнетёнными.

Это означает:

критерий качества заменяется критерием принадлежности.

Лучший уступает место представительному.

Это точный механизм уничтожения иерархии

через административное давление, и он работает именно там, где работает медленнее всего — в институтах, которые ещё сопротивляются.

Он перелицовывает историю.

Великие люди прошлого — те, кто создал культуру, науку, цивилизацию, — оцениваются не по тому, что создали, а по тому, отвечали ли они современным эгалитарным стандартам.

Аристотель держал рабов.

Ньютон не признавал некоторые «идентичности».

Данте разместил в своём аду реальных современников.

Значит — долой с пьедесталов.

Значит — их достижения омрачены.

Значит — традиция, которую они образуют, является отравленной.

Это умышленное разрушение культурной преемственности.

Той самой цепи, о которой я писал в письме о феллах.

Когда прошлое объявляется нелегитимным, настоящее повисает в воздухе.

Люди без корней не способны ни к чему, требующему глубины.

Они управляемы, потребляемы, заменяемы.

Он производит особый язык — политкорректность, которая является инструментом контроля над мышлением.

Не потому что его отдельные требования абсурдны — некоторые из них разумны.

А потому что цель не в точности языка, а в изменении картины мира, доступной через язык.

Слова, которые нельзя употреблять, обозначают мысли, которые нельзя думать.

Язык, из которого изъяты определённые слова, не позволяет ясно сформулировать определённые идеи.

Это точная операция по обеднению интеллектуального пространства под видом его очищения.

Что эгалитаризм разрушает, конкретно

Позволь назвать конкретные вещи, уничтожаемые эгалитаризмом в его последовательном применении.

Первое: образование.

Подлинное образование предполагает иерархию знания:

одни знают больше, другие — меньше.

Учитель стоит выше ученика, но не как человек, а как носитель знания.

Это неравенство является условием передачи знания.

Когда эгалитаризм входит в школу, он уничтожает именно это: авторитет учителя, обязательность знания, стандарт как принцип.

Результат:

образование, которое не образовывает.

Дипломы, не удостоверяющие знания.

Студенты, оценивающие профессоров.

Второе: культуру.

Подлинная культура предполагает иерархию ценностей: Данте больше автора комиксов, Иоганн Себастьян Бах больше поп-звезды, «Война и мир» больше детективного романа.

Это не значит, что комикс, поп-звезда

и детектив не имеют ценности.

Они имеют.

Но ценность разная.

Эгалитаризм в культуре производит

«всё одинаково хорошо, потому что у каждого своё мнение» — то есть уничтожает само понятие культурного стандарта.

Последствие:

культурная индустрия процветает, культура умирает.

Третье: семью.

Традиционная семья является иерархической структурой, но не в смысле произвола, а в смысле разделения ролей, авторитета

и ответственности.

Отец несёт одно, мать — другое, дети получают от обоих.

Эгалитаризм разрушает эту структуру, объявляя любую иерархию внутри семьи угнетением.

Результат:

дезориентация детей, которых не вводят в иерархию

потому, что сами родители не знают, в какую иерархию вводить.

Четвёртое, и самое важное: аристократию Духа.

Не сословную аристократию.

Духовную.

Тех людей, которые предъявляют к себе требования.

Которые стремятся к высокому.

Которые не довольствуются средним.

Именно они являются

(в любую эпоху)

носителями того, что делает культуру живой.

Именно они создают то, что потом все потребляют.

Эгалитаризм по природе враждебен этому типу.

Потому что он выделяется.

Потому что он предполагает, что стоит выше среднего.

Потому что само его существование

является опровержением эгалитарного принципа.

Его нужно или нивелировать — принудить соответствовать среднему, или устранить.

Жан-Жак Руссо и первородный грех эгалитарной мысли

Хочу сказать несколько слов

о Жан-Жаке Руссо — отце революции, человеке, чьи идеи убили больше людей, чем любое другое философское построение в истории, именно потому, что понять хама-эгалитариста невозможно

без понимания его метафизики.

Жан-Жак Руссо утверждал, что человек от природы добр, а общество его портит.

Это звучит гуманистически, но на самом деле является разрушительным тезисом.

Потому что из него следует: существующие институты — семья в традиционном смысле, церковь, сословие, традиция — являются причиной несправедливости.

Уничтожь их, и естественная доброта человека проявится.

Это прямая инверсия христианского понимания.

Христианство утверждает:

человек повреждён в своей природе грехом, и именно поэтому нуждается в институтах, традиции, дисциплине, благодати.

Не институты его испортили.

Он без институтов был бы хуже.

Институты — несовершенные, требующие постоянного реформирования, — являются защитой от худшего

в человеческой природе.

Жан-Жак Руссо убрал это

и поставил на место первородного греха первородную невинность.

Результат: каждый реальный человек, не отвечающий идеалу естественной доброты, является жертвой угнетения.

Угнетение является причиной всего плохого.

Уничтожение угнетающих институтов — задача революции.

Логика безупречна при принятых посылах.

И именно поэтому столь разрушительна:

она даёт нравственное обоснование

для любого насилия

над существующим порядком.

Гильотина не является жестокостью, но она является инструментом освобождения

от угнетения.

Хам-эгалитарист является наследником Жан-Жака Руссо, как правило, не зная об этом.

Он не читал «Общественный договор».

Но он живёт внутри мировоззрения, созданного Руссо:

мир делится на угнетателей и угнетённых.

Угнетённые по определению правы.

Угнетатели по определению виноваты.

Устранение угнетателей — справедливость.

Что противостоит этому — честно

Позволь сказать честно

о том, что должно противостоять этому, но не из реакционной ностальгии, а из понимания реальной природы вещей.

Противостоит не монархия как форма правления, ибо формы правления меняются.

Противостоит принцип: иерархия существует в природе вещей, она не может быть уничтожена, а только переориентирована.

Вопрос не «иерархия или её отсутствие», а «правильная или неправильная иерархия».

Правильная иерархия — та, которая существует для служения, а не для привилегий.

Та, в которой большой потенциал

означает большую ответственность, а не большее право потребления.

Та, которая открыта для восхождения — через реальные качества, а не через происхождение

или связи.

Это та самая аристократия Духа, о которой я писал в самом начале этих писем.

Не аристократия крови.

Аристократия требований, предъявляемых к себе.

Аристократия служения.

Именно её эгалитаризм разрушает в первую очередь, потому что она является явным опровержением его тезиса.

Потому что её существование доказывает: разница между людьми реальна, она имеет значение, и это значение не является несправедливостью.

Это условие того, чтобы было что-то, а не ровное ничто.

Демократия логически и исторически ведёт к тирании.

Не потому что демократы злонамеренны, а потому что большинство по природе стремится

к уничтожению тех, кто выделяется.

Тирания большинства является наиболее устойчивой из тираний, потому что у неё нет лица, которому можно противостоять.

Она рассеяна в каждом отдельном голосе, в каждом лайке, в каждом нажатии кнопки «пожаловаться».

Противостоит этому только одно:

личность с достоинством.

Человек, знающий, кем он является, и не нуждающийся в одобрении большинства

для подтверждения этого знания.

Человек, который может сказать «нет» системе, не из бунтарства, а из укоренённости.

Именно это и есть то, что эгалитаризм не может вынести.

Не превосходство.

Укоренённость.

Человека, которого нельзя нивелировать, потому что он стоит на чём-то, что нивелированию не поддаётся.

Последнее (без смягчений)

Хам-эгалитарист является наиболее политически успешным типом из всех восьми, именно потому, что он говорит от имени большинства.

Его язык является господствующим языком эпохи.

Его ценности являются официальными ценностями институций.

Его враги — те, кто думает иначе, находятся в меньшинстве

и под постоянным социальным давлением.

И именно поэтому быть тем, кем ты являешься, вопреки этому давлению, является сегодня актом, требующим мужества.

Не демонстративного мужества — публичных деклараций
о своей исключительности.

Это было бы дешёвым театром.

А тихого мужества:

просто быть тем, кем ты являешься.

Не скрывать того, что ты думаешь, под давлением одобрения большинства.

Не менять свои убеждения
потому, что это неудобно.

Не опускаться до среднего, потому что превосходить среднее
создаёт напряжение.

Фейерверки за окном.

14 июля.

Все радуются.

Я думаю о тех, кого срубила гильотина — в том числе о тех, кто принёс
революцию: Максимильен де Робеспьер, Жорж Дантон, Луи Сен-Жюст.

О том, что хам, получивший власть, первым делом уничтожает тех, кто его
привёл к власти, потому что они имеют форму.

А форма невыносима.

И думаю о тех немногих, кто пережил террор, сохранив достоинство.

Не потому что спрятались.

А потому что знали, кем являются.

А это знание было устойчивее, чем нож гильотины.

Так знай и ты.

Твой отец

ПИСЬМО XXXII

***Homo Vulgaris* нигилистический — «мы изобрели счастье»**

О последнем человеке Фридриха Ницше как пророчестве, сбывшемся буквально, о нигилизме как финальной стадии хамства, о человеке без вопросов, без тоски и без неба, и о том, почему «мы изобрели счастье» является самым страшным из всех возможных приговоров

Турин — в городе, где Ницше сошёл с ума, глядя на лошадь

Мой дорогой мальчик,

В январе 1889 года в Турине Фридрих Ницше вышел из дома на площадь Карло Альберто и увидел, как извозчик бьёт лошадь.

Он бросился к лошади, обхватил её шею руками и упал.

Его подняли.

Разум больше не вернулся.

Последние одиннадцать лет жизни он провёл в молчании — сначала в клинике, потом под опекой матери и сестры, сначала плача без причины, потом почти ничего не чувствуя.

Что именно произошло на той площади, никто не знает.

Что сломалось в нём именно тогда или именно от этого — тоже.

Но образ остаётся:

человек, написавший о сверхчеловеке и о последнем человеке, о смерти Бога и о вечном возвращении, о воле к власти как противоположности воле к нулю, — этот человек обнял умирающую лошадь и сломался.

Я думаю об этом не потому, что это красивая история.

А потому что в ней есть нечто о природе нигилизма, которую Ницше понимал лучше всех

и которую он описывал, уже неся её в себе.

Нигилизм — это не философская позиция, которую принимают холодно и рассудительно.

Это разрушение изнутри.

Оно приходит не через аргументы, а через исчезновение оснований.

Фридрих Ницше и последний человек: пророчество, ставшее репортажем

В «Так говорил Заратустра» есть пролог, который Фридрих Ницше считал важнейшим местом книги.

Заратустра спускается с горы к людям

и говорит им о сверхчеловеке.

Толпа не понимает.

Тогда он говорит о последнем человеке, и толпа кричит:

«Дай нам этого последнего человека!»

Вот что говорит Заратустра о последнем человеке: Земля стала маленькой, и по ней прыгает последний человек, делающий всё маленьким.

Он непобедим, потому что блоха живёт дольше всего.

Последний человек заботится о своём здоровье.

«Мы изобрели счастье» — говорит последний человек

и моргает.

«Моргает» — это ключевое слово.

Не взгляд, не пристальный взор.

Просто моргание.

Рефлекс без мысли.

Тело без духа.

Нет больше бедных и богатых — это слишком хлопотно.

Кто хочет управлять — уходит.

Кто хочет слушаться — тоже уходит.

Каждый хочет одного и того же.

Кто чувствует иначе — добровольно уходит в дом для умалишённых.

«Прежде весь мир был безумен» — говорит умник

и моргает.

Он умён

и знает всё, что было.

Он насмешлив

и знает, что нет ничего серьёзного.

Он недоверчив, потому что доверие утомляет.

Он снисходителен, потому что это дёшево стоит.

У него есть свои маленькие удовольствия для дня

и свои маленькие удовольствия для ночи, но он бережёт здоровье.

«Мы изобрели счастье» — и моргает.

Ницше написал это в 1883 году, когда европейская цивилизация стремительно теряла веру в Бога.

Хотя не только религиозную веру, но и всякую: в прогресс, в разум, в абсолютные нравственные ценности.

И он спрашивал: если Бога нет, если нет никакого высшего смысла, что дальше?

Посмотри вокруг.

Это больше не пророчество.

Это репортаж.

Что такое нигилизм в точном смысле

Нигилизм — nihil, ничто, — не означает «всё плохо».

Человек, считающий, что всё плохо, ещё не нигилист, он ещё оценивает.

У него ещё есть мерило плохого.

Нигилизм означает:

нет мерил.

Нет оснований для различения плохого и хорошего.

Нет ничего, что было бы значимым само по себе.

Ницше различал нигилизм активный и пассивный.

Активный — разрушение старых ценностей

как расчистка почвы для новых.

Это мог быть путь к чему-то.

Пассивный — разрушение без строительства.

Не «старые ценности ложны — найдём новые», а «старые ценности ложны — и нет смысла искать».

Это и есть состояние последнего человека.

Последний человек не является атеистом в классическом смысле.

Атеист ещё борется с Богом, ещё имеет отношение к вопросу.

Последний человек не имеет отношения ни с чем.

Бог не умер для него.

Бог просто не актуален.

Не нужен.

Не интересен.

Скучно о Нём думать.

Именно поэтому Фридрих Ницше называл его самым страшным.

Не злодей, не богоборец — это было бы по-своему величественно.

Человек, для которого ни Бога, ни дьявола нет, потому что оба предполагают вертикаль.

А вертикали нет.

Есть горизонталь.

Тёплая, комфортная, чуть скучная горизонталь.

Нигилизм не приходит сразу

Это важно понять:

нигилизм является финальной стадией процесса, начинающегося значительно раньше.

Он не приходит как решение.

Он приходит как результат многих решений, каждое из которых казалось разумным.

Освальд Шпенглер описывал это как «закат» — не взрыв, а угасание.

Цивилизация не рушится.

Она остывает.

Она перестаёт производить новые формы, новые смыслы, новых героев.

Она начинает воспроизводить старое

в упрощённом, удобном, потребительском виде.

Она становится феллахом в собственной истории.

Именно так нигилизм завоёвывает культуру:

не через декларацию «ничто не имеет смысла», а через постепенное истощение смысла.

Когда художники перестают верить, что искусство важно, — только создают продукт.

Когда политики перестают верить, что политика важна, — только управляют ресурсами.

Когда священники перестают верить, что Бог реален, — только ведут службы.

Когда родители перестают верить, что воспитание важно, — только кормят и одевают.

Это медленное опустошение форм

при сохранении форм.

Ритуал без веры.

Слово без смысла.

Институция без миссии.

Культура без духа.

Отличие нигилиста от мещанина

В письме о мещанском счастье я писал

о человеке, который не поднимается, но и не падает.

Он просто живёт горизонтально, не зная о вертикали.

Нигилист — другой:

он знал о вертикали.

Или, точнее, жил в культуре, которая знала

и которая за несколько поколений

эту вертикаль уничтожила.

Это разница между тем, кто не слышит, и тем, кто разучился слышать.

Мещанин никогда не слышал тишины, потому что не искал.

Нигилист жил в культуре, которая прежде умела слышать, — и разучилась.

Он является наследником утраты, которая произошла до него.

Именно поэтому нигилизм в XX веке являлся

не личной болезнью, а культурной эпидемией.

Он распространялся через среду — через образование, через культурные продукты, через язык, через отсутствие живых образцов

того, что за пределами горизонтали.

Ребёнок, выросший в нигилистической среде, не выбирает нигилизм.

Он не знает альтернативы.

Это делает его не виноватым, но и не безвредным.

Нигилист без вины является тем же человеком без вертикали, что и нигилист с виной.

Просто он не виноват в том, что вертикали нет.

Это меняет моральный приговор, но не сущестную ситуацию.

Пять лиц современного нигилизма

Нигилизм нашей эпохи не выглядит

как ницшеанский nihilismus.

Он имеет конкретные лица, и я хочу их назвать.

Первое лицо: нигилизм терапевтический.

Это нигилизм, замаскированный под психологическое здоровье.

«Всё, что ты чувствуешь, правильно».

«Нет объективных стандартов — есть твои потребности».

«Твоя правда такая же правда, как чужая».

«Не нужно ничему соответствовать — нужно принять себя».

Это звучит как забота о человеке.

На самом деле — это освобождение от требования.

Освобождение от необходимости изменяться, расти, отвечать на что-то большее, чем ты сам.

Если нет объективного стандарта, то нет и разрыва между тобой и стандартом.

Нет разрыва — нет боли.

Нет боли — нет роста.

Нет роста, но зато комфортно.

Это и есть изобретение счастья — терапевтического, ненастоящего, не требующего ничего.

Второе лицо: нигилизм эстетический.

Это нигилизм, замаскированный под чувствительность.

Искусство, не говорящее о чём-то реальном, — только производящее переживание.

Музыка, не несущая ничего, кроме приятного звука.

Кино, не предъявляющее вопросов, — только отвлекающее.

«Иронический» взгляд на всё, при котором ничто не принимается всерьёз, потому что принимать всерьёз уязвимо.

Последний человек смеётся

над тем, кто относится к чему-то серьёзно.

Не из злобы.

Из инстинктивного отвращения к серьёзности, которая обнажает отсутствие содержания.

Когда кто-то рядом с тобой горит, это делает видимым твоё остывание.

Третье лицо: нигилизм политический.

Не тот нигилизм, что требует разрушения.

Этот ещё имеет энергию.

А тот, что производит апатию: «всё равно ничего не изменится», «все политики одинаковы», «система не поддаётся изменению».

Это нигилизм власти, о котором я описывал в письме о цинизме.

Здесь он в более мягкой форме:

не «я знаю, как устроена система, и использую это», а просто «не интересно».

В нём нет

ни веры в политическую систему, ни свободы от неё.

Есть только безразличие, которое он принимает за мудрость.

Именно это производит самых управляемых граждан.

Не те, кто согласен, а те, кому всё равно.

Равнодушие — лучший фундамент для тирании.

Четвёртое лицо: нигилизм религиозный.

Не атеизм — это ещё позиция.

Нигилизм религиозный — это религия без содержания.

Принадлежность к конфессии без веры.

Ритуал без смысла.

«Я верующий» как социальная идентификация, не как существенная позиция.

Крест как украшение.

Рождество как праздник подарков.

Пасха как выходной день.

Это не богоборчество, которое хотя бы честно.

Это нигилизм в сакральной форме: форма без содержания, ритуал без жертвы, слово без Слова.

Пятое лицо: нигилизм экзистенциальный.

Самый тихий

и самый глубокий.

Человек, проживающий жизнь без вопроса о её смысле, — не потому, что ответил, а потому, что вопрос не возникает.

Он ест, спит, работает, развлекается, размножается, стареет.

Всё это происходит само по себе, одно за другим, без нити смысла, связывающей это в жизнь.

Просто последовательность событий.

«Мы изобрели счастье» — и моргает.

Что стоит за моргающим взглядом

Фридрих Ницше называл это «воля к нулю» — самой тёмной из всех форм нигилизма.

Не воля к разрушению.

Разрушение ещё является чем-то.

Воля к нулю:

желание не желать.

Желание, чтобы ничто не имело значения, потому что если ничто не имеет значения, то невозможно и разочарование.

Это глубокое психологическое движение — защита от боли разочарования через упразднение самой возможности разочарования.

Если ты ни во что не вкладываешься, то ты не можешь потерять вложенное.

Если ты ни к чему не стремишься, то ты не можешь не достичь.

Если ты ни во что не веришь, то тебя не может предать твоя вера.

Это именно то, о чём я писал в письме о цинизме, но в более финальной форме.

Циник знает, что система лжёт, — и участвует.

Нигилист не думает о системе.

Просто живёт.

Именно поэтому нигилизм является финальным портретом.

Восьмым из восьми.

Он является конечной точкой пути, начатого другими типами.

Хам-идеолог ещё верит — пусть в ложное.

Хам-потребитель ещё хочет — пусть не того.

Хам-эзотерик ещё ищет — пусть не там.

Нигилист

ни во что не верит, ничего не хочет, ничего не ищет.

Он — финальная редукция человека

к биологическому существованию

без сверхбиологического содержания.

Что именно теряется, и почему это невосполнимо иначе

Человек создан для вопроса.

Это звучит обобщённо, и позволь уточнить.

Человек является единственным существом

в известной нам природе, которое спрашивает «зачем».

Не «как», не «что», а «зачем».

Это вопрос не практический, а метафизический.

Он выводит за пределы данного.

Он предполагает, что у данного есть смысл, или что смысла нет, и это тоже нужно решить.

Нигилизм убивает этот вопрос.

Не отвечает.

Убивает.

После него не остаётся

ни «зачем», ни ответа на него.

Остаётся просто данное.

Именно поэтому нигилизм является

не просто философской позицией.

Это уничтожение того, что делает человека человеком.

Животное не спрашивает «зачем».

Камень не спрашивает.

Последний человек тоже не спрашивает.

В этом смысле нигилизм является

наиболее радикальной из всех форм дегуманизации.

Более радикальной, чем любое внешнее насилие.

Святой Августин снова:

«Создал нас для Себя, и не знает покоя сердце наше».

Нигилизм создаёт человека, у которого сердце знает покой, но не потому, что нашло, а потому, что перестало искать.

Это не покой.

Это остановка.

Холод, который кажется покоем.

Чем это лечится, и лечится ли

Здесь я должен быть честен:

нигилизм в его поздней, укоренившейся форме

лечится с большим трудом.

Не потому что человек не хочет, а потому что хотеть тоже нужно уметь.

Желание возможности чего-то большего

требует того самого органа, который нигилизм атрофировал.

Но орган не уничтожается.

Он атрофируется.

Это ключевое различие.

Я писал о нём с самого начала этих писем:

образ Божий в человеке

не уничтожается хамством.

Он закрывается.

Закрытое можно открыть.

Что открывает?

Обычно не аргумент.

Нигилиста невозможно убедить аргументом.

Он не принимает оснований, из которых аргументы строятся.

Открывает — встреча.

Конкретная, живая встреча с чем-то, чего нигилизм не объясняет.

С красотой, которая пробивает броню.

С любовью, которую невозможно объяснить биологически

и которая тем не менее реальна.

С горем, которое обнаруживает, что что-то важно, потому что что-то важное потеряно.

Со святым — если повезёт встретить.

Именно поэтому живые свидетели важнее всех аргументов.

Человек, в котором виден Бог, — не через декларацию, а через присутствие, — делает для нигилиста больше, чем вся апологетическая литература

вместе взятая.

Потому что он показывает:

вертикаль существует.

Не в теории, а в живом человеке, стоящем здесь.

Фёдор Достоевский, к которому я возвращаюсь, потому что он понимал нигилизм изнутри, как никто другой, написал о Зосиме.

Не об аргументах Зосимы.

О его присутствии.

О том, как в нём ощущается нечто, чего нельзя объяснить, и что делает возможной веру тех, кто рядом.

Именно это, а не лекция о смысле жизни, является ответом на нигилизм.

Последнее — о тоске

Хочу закончить кое-чем неожиданным.

Тоска, которую наша эпоха записала в болезнь, требующую лечения, на самом деле является одним из важнейших признаков

того, что нигилизм ещё не завершён.

Что в человеке ещё есть что-то живое.

Тоска — это ощущение, что должно быть нечто, чего нет.

Что мир не таков, каким должен быть.

Что я не таков, каким должен быть.

Что чего-то принципиально важного не хватает, и это важное не заменяется ничем из предложенного.

Нигилист не тоскует.

Нет, не потому что счастлив.

А потому что нет органа, которым тоскуют.

Нет ощущения долженствования, из которого тоска рождается.

«Мы изобрели счастье» — и именно в этой улыбке, в этом моргании, в этом маленьком тёплом самодовольстве — финальная победа нигилизма над человеком.

Если ты тоскуешь — ты ещё жив в самом важном смысле.

Твоя тоска является навигатором.

Она указывает, что вертикаль существует, даже если ты её не видишь.

Она говорит:

здесь ещё есть что восстанавливать.

Фридрих Ницше обнял лошадь

и сломался.

Я не знаю, что именно произошло на той площади.

Но мне кажется, что в той лошади он увидел что-то.

Что-то о красоте, о страдании, о несправедливости, о том, что есть нечто невыносимое

именно потому, что важное.

И это «невыносимо, потому что важно» разбило то, что прежде держалось.

Это не нигилизм.

Это его противоположность.

Тоскуй.

Это значит, что ты ещё здесь.

Твой отец



ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

Выход, или — как остаться человеком

ПИСЬМО XXXIII

О требованиях к себе — единственном, что имеет значение

О том, что отличает аристократа Духа от всех восьми портретов, о требованиях как фундаменте личности, о разнице между самодисциплиной и самонасилием и о том, почему предъявлять себе требования — не жестокость, а достоинство.

Санкт-Петербург, белые ночи, долгая прогулка

Мой дорогой мальчик,

Тридцать два письма я писал о тех, кто от требования отказался. Восемь портретов людей, каждый из которых нашёл свой способ избежать одной и той же вещи: ответственности за то, кем он является. Идеолог переложил её на систему. Потребитель — на рынок. Эзотерик — на тайные силы. Нигилист упразднил саму категорию ответственности. Все — по-разному, все — от одного и того же.

Теперь — о выходе. О том, что составляет его противоположность.

Я начну с фразы Хосе Ортеги-и-Гассета, которую считаю одним из самых точных определений того, что значит быть человеком в подлинном смысле. Он писал: «Человек-масса — тот, кто никогда не предъявлял себе требований. Аристократ Духа — тот, кто живёт в постоянном требовании к себе».

Не аристократ крови. Не аристократ образования. Не аристократ богатства. Аристократ требования. Человек, для которого вопрос «Кем я должен быть?» является живым, ежедневным, практическим, а не историческим или риторическим.

Что такое требование к себе в точном смысле

Требование к себе — это не самоистязание. Не бичевание. Не перфекционизм, требующий безупречности и ломающийся при первой ошибке. Это нечто принципиально иное, и важно понять разницу, потому что путаница между ними дорого стоит.

Требование к себе — это ориентация на то, каким ты должен быть, в отличие от того, каким ты являешься сейчас. Это признание разрыва между действительным и должным и готовность жить в этом разрыве, не закрывая его ни самодовольством, ни отчаянием.

Самодовольство закрывает разрыв снизу: «Я и так достаточно хорош». Это и есть мещанство, о котором я писал в письме IV.

Отчаяние закрывает разрыв сверху: «Идеал недостижим, поэтому незачем пытаться». Это одна из форм нигилизма.

Требование к себе — жить между ними. Принять, что я сейчас — не то, кем должен быть. И принять, что путь к тому, кем должен быть, возможен и обязателен.

Хосе Ортега-и-Гассет описывал это как «благородство в смысле обязательства». Благородный — тот, кому многое было дано, и кто именно поэтому ощущает долг перед этим даром. Это противоположность логике: «Мне многое дано — значит, я могу позволить себе больше».

Подлинная аристократия духа говорит: «Мне многое дано — значит, от меня многое требуется».

Это не самоуничижение. Не ложная скромность. Это честный счёт: что во мне есть и что я с этим делаю.

Откуда берётся способность предъявлять себе требования

Это не врождённое. Это воспитанное. Хотя и воспитанное особым образом: не через внешнее принуждение, а через встречу с чем-то, достойным требования.

Человек начинает требовать от себя, когда встречает нечто, превышающее его. Нечто, перед чем он мал и чего именно поэтому хочет достичь. Мастер, которому хочется соответствовать. Истина, перед которой хочется быть честным. Любимый человек, ради которого хочется быть лучше. Бог — перед Чьим лицом хочется быть тем, кем был создан.

Именно поэтому требование к себе всегда связано с отношением. Не с абстрактным стандартом, а с живым.

Пока Бог является абстракцией, требование к себе остаётся внешним, казарменным, разрушительным.

Когда Бог становится живым присутствием, требование к себе превращается во внутреннюю необходимость.

Не «я должен», а «я хочу».

Не потому что надо, а потому что есть к чему.

Это принципиальное различие: требование из страха и требование из любви.

Первое производит конформизм или бунт.

Второе производит характер.

Апостол Павел выразил это точнее, чем любой философ: «Любовь не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине».

Заметьте структуру: любовь не ищет своего. То есть она по природе направлена наружу — к другому, к тому, что больше себя. Именно эта направленность и производит требование — не самоцельное, а в ответ на нечто реальное.

Пять измерений требования к себе

Позволь конкретизировать, потому что «требование к себе» рискует остаться красивой абстракцией, если не наполнить его практическим содержанием.

Первое измерение: требование честности.

Не честности перед другими — перед собой. Это труднее и важнее.

Видеть то, что есть, а не то, что удобно видеть. Называть свои мотивы настоящими именами. Не прятать трусость за благоразумие. Не прятать лень за

отдых. Не прятать обиду за принципиальность. Не прятать зависть за справедливый гнев.

Это требует тишины, потому что в шуме ложь не слышна. Именно поэтому я писал о тишине как о духовной практике: не для успокоения нервной системы, а для того, чтобы слышать себя. Себя реального — не того, каким хочется казаться.

Второе измерение: требование внимания.

Я писал подробно о внимании как о форме любви и духовной категории.

Требование к себе в этом измерении — быть действительно здесь: с человеком, с текстом, с делом, с молитвой. Не частично. Не с одним глазом в экране. Полностью.

Это труднее, чем кажется, потому что современная массовая культура тренирует ровно противоположное. Она производит способность к быстрому переключению и разрушает способность к длительному присутствию. Требование к себе в области внимания — это плавание против течения. Ежедневное. Без гарантий.

Третье измерение: требование последовательности.

Между тем, что говоришь, и тем, что делаешь.

Между тем, что считаешь важным, и тем, на что тратишь время.

Между ценностями, которые декларируешь, и решениями, которые принимаешь.

Номо Vulgaris говорит одно — делает другое. Не потому что лжёт сознательно, а потому что не отслеживает расхождения.

Требование к себе — это именно это отслеживание: регулярный честный взгляд на то, соответствует ли твоя жизнь твоим убеждениям. И готовность менять либо жизнь, либо убеждения, но не оставлять расхождение незамеченным.

Четвёртое измерение: требование к качеству.

В том, что делаешь. Независимо от того, видят это или нет. Независимо от того, оценивают или нет. Независимо от того, достаточно ли хорошо по стандартам среды.

Я уже рассказывал тебе о монахе, расписывавшем свод там, куда никто не мог подняться. Это и есть требование к качеству как духовная практика: делать хорошо потому, что хорошо, а не потому, что заметят.

Каждый раз, когда ты делаешь что-то лучше, чем требуется, там, где никто этого не увидит, — ты немного строишь себя.

Каждый раз, когда делаешь достаточно плохо, потому что «и так сойдёт», — разрушаешь.

Пятое измерение — самое важное и самое трудное: требование роста.

Принятие того, что ты сейчас — не финальная версия себя. Что есть куда идти. Что рост возможен и необходим. Что остановиться — значит начать деградировать.

Это требует готовности к неудобству, потому что рост никогда не бывает комфортным. Он всегда предполагает выход за пределы привычного. Встречу с тем, что труднее, чем ты справляешься сейчас. Принятие временного несоответствия ради последующего соответствия.

Именно поэтому требование к росту несовместимо с культурой немедленного комфорта. Они тянут в разные стороны. Каждый день ты выбираешь — иногда осознанно, чаще нет.

Требование к себе и смирение: как они соотносятся

Здесь есть кажущееся противоречие, которое важно разрешить.

Требование к себе и смирение — не противоположности. Они являются двумя сторонами одного движения.

Смирение — это честное знание о том, где ты находишься. Не ниже, чем есть. Не выше. Просто точно. Это принятие своей ограниченности без самоуничижения и без самовозвышения.

Требование к себе — это честное знание о том, где ты должен находиться. О разрыве между нынешним и должным. И о том, что этот разрыв требует работы.

Смирение без требования — это капитуляция: «Я такой, какой есть, и это нельзя изменить».

Требование без смирения — это гордыня: «Я должен быть идеальным, и любое несовершенство является позором».

Вместе они производят нечто, что можно назвать трезвостью: ясное видение себя. Реального и возможного. Без иллюзий в обе стороны. Это состояние, в котором возможен реальный рост, потому что ты знаешь, откуда идёшь и куда.

Именно это состояние описывали великие духовные наставники под разными именами: в христианской традиции его называли «трезвением» или «бодрствованием». Не тревожность и не самодовольство, а ясное, спокойное, живое внимание к тому, что происходит внутри.

Требование к себе в повседневной жизни

Я хочу говорить конкретного, потому что великие слова о требовании к себе рискуют остаться риторикой, если не переводить их в конкретные ситуации.

Требование к себе — это когда ты сказал что-то нечестное в разговоре и вернулся, чтобы исправить. Не потому что тебя поймали. Потому что сам слышал.

Это когда ты взялся за дело и сделал его хорошо, хотя мог сделать достаточно. Не потому что кто-то проверяет. Потому что твой стандарт требует.

Это когда ты почувствовал зависть и не спрятал её за рациональным объяснением, а признал: «Это зависть. И это говорит мне нечто о том, чего я хочу для себя».

Это когда тебе предложили нечто выгодное, что требует компромисса с тем, что ты считаешь важным, и ты отказался. Без драмы и без ощущения героизма. Просто потому что это не то, что ты делаешь.

Это когда ты ошибся — и признал. Не «я имел в виду другое» и не «при данных обстоятельствах это было правильно», а «я ошибся. Вот что я думаю теперь».

Это когда ты устал, и всё равно сделал то, что важно. Не потому что нельзя отдыхать. Можно и нужно. Потому что именно это требование было важнее немедленного комфорта.

Всё это — маленькое. Ни одна из этих вещей не является героическим поступком. Но именно из этих маленьких вещей строится то, что я называю характером.

Характер строится не в момент большого испытания. Большое испытание только обнажает то, что уже есть. Характер строится в тысячах маленьких ежедневных решений, большинство из которых никто не видит, кроме тебя.

Почему именно это имеет значение

Я назвал это письмо «единственным, что имеет значение». Это не риторическое преувеличение. Это моё убеждение, выработанное долгим опытом наблюдений.

Все внешние факторы — среда, образование, деньги, связи, возможности — имеют значение. Они облегчают или затрудняют. Но они не определяют.

Я видел людей с блестящими возможностями, прожившими пустые жизни. И людей с минимумом внешнего, построивших нечто настоящее.

Разница в одном: предъявляли ли они себе требования.

Не потому что требование само по себе всё решает. Оно не производит ни таланта, ни удачи. Но оно производит единственное, без чего ни талант, ни удача не становятся тем, чем могли бы стать: характер.

Человека, которому можно доверять — потому что он требует от себя.

Которого нельзя купить, потому что он имеет вещи важнее цены.

Который не ломается при первом давлении, потому что его форма не зависит от внешнего одобрения.

Хосе Ортега-и-Гассет писал: жизнь «человека-массы» является лёгкой — он не предъявляет себе требований. Жизнь аристократа Духа является трудной — он всегда предъявляет. Но только второй проживает свою жизнь. Первый — проживает то, что ему отпущено средой.

Белые ночи в Санкт-Петербурге. Светло в час ночи. Нева серебристая. Странное время, в котором невозможно не думать о главном. О том, что ты делаешь с собой. О том, кем ты становишься в этих своих незаметных ежедневных решениях.

Этот вопрос — единственный, который важен всегда. Не потому что остальное неважно. А потому что только через него остальное получает правильный порядок.

Предъявляй себе требования.

Не из страха.

Из любви к тому, кем ты можешь быть.

Твой отец

ПИСЬМО XXXIV

О творчестве, или — как ответить Богу

О творчестве как прямой антитезе хамству, о том, что человек оправдывает Бога, создавая новое качество бытия, о выходе через творческий акт и о том, почему хам надругался над образом, а творец его восстанавливает.

Флоренция, мастерская, раннее утро.

Мой дорогой мальчик,

Сегодня я встал до рассвета и пришёл в старую мастерскую неподалёку от Санта-Мария-Новелла. Здесь до сих пор пахнет деревом, маслом и тем особым, ни с чем не сравнимым запахом времени, который остаётся только в местах, где люди когда-то работали всерьёз. На стене — незаконченный холст. Кто-то пытался копировать фреску Мазаччо, но бросил на полпути. Линии верные, краски подобраны, а души нет. Хорошая работа — и всё равно мёртвая.

Я смотрел на этот холст и думал о том, что все тридцать три предыдущих письма вели именно сюда. К ответу. К тому единственному человеческому ответу, который стоит перед лицом хамства всего мира.

Творчество — это как ответить Богу.

Николай Бердяев, один из самых глубоких русских мыслителей прошлого века, сказал об этом с предельной точностью: человек оправдывает Бога именно тем, что продолжает Его дело — создаёт новое качество бытия. Не копирует, не потребляет, не переименовывает — создаёт. В этом акте человек становится соратником Творца. Не в гордыне равенства, а в сыновней свободе и ответственности.

Вот почему творчество — это прямая, существенная антитеза хамству.

Хам надругался над образом Божиим в себе и в мире. Он увидел наготу Отца и засмеялся. Он закрыл в себе вертикаль, предпочёл комфорт требованию, горизонталь — вертикали. Он превратил дар в потребление, призвание — в карьеру, жизнь — в сериал. Он не уничтожил образ. Он его засыпал пеплом. Именно поэтому хамство всегда бесплодно в самом глубоком смысле: оно может

тиражировать, эксплуатировать, имитировать, но не может родить ничего по-настоящему нового.

Творец же восстанавливает этот образ. Каждый раз, когда человек создаёт нечто подлинное — стихотворение, которое трогает душу через сто лет, мост, который стоит дольше империй, воспитанного ребёнка, честный научный факт, картину, перед которой останавливаешься, — он говорит Богу: «Я увидел Твой дар и не зарыл его в землю. Я взял то, что Ты дал, и вернул Тебе с прибылью».

Это и есть оправдание человека перед Богом. Не моральное совершенство (оно недостижимо), а творческий ответ на полученный дар.

Что такое подлинное творчество

Не надо путать его с «креативностью» современной экономики. Креативность — это когда придумывают новый вкус чипсов или алгоритм удержания внимания. Творчество — другое.

Оно всегда начинается с требования. С момента, когда человек говорит себе: «То, что я вижу и чувствую, важнее меня самого, и я обязан это выразить так точно и так честно, как только могу». В этом «обязан» — вся разница между художником и развлекателем, между мыслителем и контент-мейкером, между отцом, который воспитывает, и родителем, который «просто любит».

Творчество всегда стоит на боли несоответствия. Мир не такой, каким он должен быть. Я не такой, каким должен быть. И вместо того, чтобы приспособиться к этому разрыву (как делает хам) или озлобиться на него (как делает *ressentiment*), творец превращает разрыв в энергию. Он берёт трещину реальности и делает из неё свет.

Николай Бердяев говорил, что творчество — это победа над «данным» во имя «должного». Хам живёт в «данном» как в тюрьме, которую принимает за дом. Творец видит в «данном» материал для преображения.

Как это выглядит в жизни

Ты можешь быть художником, а можешь быть адвокатом, учителем, отцом, учёным — неважно. Творческий акт возможен в любой сфере, где человек отказывается идти по наименьшему сопротивлению.

Это когда ты пишешь текст не для лайков, а чтобы сказать правду так, как только ты её видишь.

Это когда ты строишь дом так, будто в нём будут жить твои правнуки.

Это когда ты воспитываешь ребёнка, вкладывая в него то, чего нет в тебе самом, — и тем самым становишься больше.

Это когда ты в бизнесе отказываешься от быстрой прибыли ради того, чтобы дело было достойным.

Это когда ты просто живёшь свою жизнь не как потребитель, а как соавтор.

Каждый такой акт — это маленький «да» Богу посреди всеобщего «не важно».

Почему это единственный настоящий выход

Все остальные пути, о которых я писал раньше, — дисциплина, требование к себе, хранение традиции, борьба с цинизмом — важны. Но без творчества они остаются оборонительными. Творчество — это наступление. Это когда ты не просто защищаешь образ Божий в себе, а даёшь ему родить нечто новое.

Хамство побеждает, когда люди перестают создавать. Когда вместо новых песен — плейлисты, вместо новых мыслей — репосты, вместо новых детей — «осознанное бездетность», вместо новых форм жизни — вечный ремейк старых.

Ты создан не для того, чтобы хорошо потреблять. Ты создан для того, чтобы продолжить творение.

Поэтому мой, возможно, главный совет: найди то, в чём ты можешь быть творцом. Не обязательно великим. Не обязательно публичным. Главное —

настоящим. Найди то, где ты готов платить цену, где ты готов страдать за качество, где ты готов отвечать.

Потому что в конечном итоге именно творчество оправдывает человека. Не перед людьми. Перед Тем, Кто дал ему этот удивительный, страшный, прекрасный дар — быть образом и подобием.

Когда-нибудь, когда мы встретимся с тобой по ту сторону земной жизни, я хочу, чтобы ты мог сказать не словами, а самой прожитой жизнью:

«Я не зарыл талант, папа. Я вернул его с прибылью».

Твой отец

ПИСЬМО XXXV

О самопреодолении, или — что значит победить в себе хама

О самопреодолении как антитезе Homo Vulgaris, о том, что значит превзойти в себе последнего человека, и о ежедневной победе над тем, кем ты не хочешь стать.

Турин, в городе, где когда-то ломались великие умы

Мой дорогой мальчик,

Сегодня утром я снова прошёл мимо того самого места, где много лет назад один человек увидел, как извозчик бьёт лошадь, и не выдержал. Этот город помнит такие моменты — моменты, когда человек сталкивается с собственной глубиной и либо принимает вызов, либо ломается.

Я пишу тебе об этом не для драмы, а потому что самопреодоление — это и есть единственный реальный способ победить хама не в мире вокруг, а в себе самом. Все предыдущие письма были подготовкой. Теперь — главное сражение.

Homo Vulgaris — это не внешний враг. Это то, что живёт внутри каждого из нас. Это тот «последний человек», который уже готов сказать: «Мы изобрели счастье» и моргнуть. Который предпочитает комфорт требованию, горизонталь — вертикали, безопасность — росту. Он не злодей. Он просто устал подниматься. И в этом его главная сила и твоя главная опасность.

Победить хама в себе — значит стать тем, кто постоянно преодолевает себя. Не один раз в жизни в великом подвиге, а каждый день, в малом. Это и есть настоящая антитеза Homo Vulgaris. Тот, кто преодолел в себе последнего человека, уже не довольствуется «достаточно хорошо». Он видит в себе того, кем ещё не стал. И идёт к нему.

Что такое самопреодоление

Это не самобичевание и не бесконечная гонка за недостижимым идеалом. Это ясное, трезвое движение вверх. Ты смотришь на себя сегодняшнего и говоришь: «Вот это во мне — хам. Вот это — трусость, удобство, мелкость, ressentiment, цинизм». И не оправдываешь это. Не переименовываешь. А преодолеваешь.

Каждый раз, когда ты выбираешь сделать работу лучше, чем от тебя требуют, — ты преодолеваешь хама.

Каждый раз, когда ты признаёшь свою ошибку вместо того, чтобы найти оправдание, — ты преодолеваешь хама.

Каждый раз, когда ты отказываешься от лёгкого удовольствия ради того, что делает тебя глубже, — ты преодолеваешь хама.

Каждый раз, когда ты остаёшься верен своему слову, когда это невыгодно, — ты преодолеваешь хама.

Это не героизм. Это ремесло. Ремесло быть человеком.

Почему это так трудно

Номо Vulgaris внутри нас очень убедителен. Он говорит разумно: «Зачем напрягаться? Все так живут. Ты и так неплохо справляешься. Отдохни». Он предлагает мир без разрыва, без боли роста, без тоски по высшему. Он предлагает «счастье», которое не требует ничего, кроме согласия опуститься.

Но именно здесь и проходит линия фронта. Победить его — значит отказаться от этого удобного счастья. Принять, что настоящая жизнь всегда включает напряжение, боль несоответствия и постоянное движение. Принять, что покой не в остановке, а в правильном направлении.

Образ Божий в тебе — это не статичная печать. Это призвание. Это требование расти в ту полноту, для которой ты создан. Самопреодоление — это ответ на это призвание. Это когда ты говоришь: «Да, я вижу в себе хама. Но я не соглашусь быть им».

Как это делать практически

Во-первых, научись видеть его в себе. Каждый вечер задавай себе простой вопрос:

— Где сегодня я выбрал лёгкое вместо трудного?

— Где я оправдал в себе то, что презираю в других?

— Где я закрыл глаза на собственную мелкость?

Во-вторых, делай маленькие, но конкретные шаги в противоположную сторону. Не пытайся стать святым за один день. Становись чуть лучше, чем был вчера. Один честный разговор. Одна страница трудной книги. Один отказ от пустого развлечения. Один час полного присутствия без экрана.

В-третьих, держи перед глазами образ того, кем ты хочешь стать. Не абстрактный идеал, а живое представление: человек с внутренней формой, с вертикалью, с достоинством. Человек, которого не сломать ни хамством мира, ни собственной слабостью.

Это и есть путь. Не прямой и не лёгкий. Но единственный, который ведёт не к приспособлению, а к преображению.

Ты не должен победить весь мир. Достаточно победить хама в себе. И если многие сделают то же самое — мир вокруг тоже изменится.

Это и есть настоящая победа. Не над другими. Над тем, кем ты мог бы стать, но не стал.

Твой отец

ПИСЬМО XXXVI

О культуре как молитве, или — Роджер Скрутон и живые мертвецы

Об ответе на эстетическое хамство и китч, о высокой культуре как форме молитвы, о слушании мёртвых и ответственности перед ещё не рождёнными, и о том, почему настоящее искусство всегда обращено к тому, что выше нас.

Прага, Старый город, у памятника Яну Гусу

Мой дорогой мальчик,

Сегодня я долго стоял у памятника Яну Гусу. Вокруг шумели туристы, делали селфи, покупали магнитики с гуситской чашей. А он стоял — каменный, строгий, с книгой в руке, и смотрел сквозь них. Сквозь всех нас. Мёртвый уже почти шестьсот лет, а всё ещё более живой, чем большинство проходящих мимо.

Именно об этом я хочу написать тебе сегодня. О культуре как молитве. О том, как высокое искусство, настоящая музыка, подлинная литература становятся формой обращения к Тому, Кого мы часто даже не умеем назвать.

Один английский философ, которого я очень ценю за ясность и мужество, говорил, что настоящая культура — это не развлечение и не «культурный досуг». Это акт благоговения. Это способ, которым живые разговаривают с мёртвыми и берут на себя ответственность перед ещё не рождёнными. В этом смысле вся высокая культура есть разновидность молитвы, даже когда тот, кто её создаёт или воспринимает, не считает себя верующим.

Ответ на китч

Ты помнишь письмо о китче. Там я говорил, что китч — это эмоциональный суррогат: он даёт переживание без обязательства, слёзы без изменения, красоту без правды. Эстетический хам предпочитает именно его, потому что китч безопасен. Он не требует, не судит, не меняет.

Ответ на китч — не «более прогрессивный» китч и не ироничное отрицание красоты. Ответ — это серьёзное, ответственное слушание. Слушание тех, кто был до нас.

Мёртвые не мертвы, пока мы их слышим. Они говорят через Иоганна Себастьяна Баха и Рембрандта, через Данте и Льва Толстого, через соборы и симфонии. Они передают нам не просто технику или стиль, а опыт встречи с тем, что больше человека.

Когда ты стоишь перед «Возвращением блудного сына» Рембрандта, ты не просто смотришь на картину. Ты присутствуешь при тайне прощения.

Когда слушаешь позднего Людвига ван Бетховена — ты слышишь, как человек стоит перед лицом страдания и смерти и всё равно утверждает смысл.

Когда читаешь «Братьев Карамазовых» — ты сталкиваешься с вопросом о Боге так остро, что уже не можешь от него отмахнуться.

Это и есть молитва. Не обязательно словесная. Это благоговейное внимание. Это готовность быть изменённым. Это отказ от позиции потребителя, который приходит «получить эмоцию», и переход к позиции сына, который приходит принять наследство и приумножить его.

Живые мертвецы

Мёртвые в культуре — не архив. Они живые, пока жива традиция. Они — это цепь. Каждый настоящий художник, мыслитель, композитор стоит на плечах предыдущих и тянется к следующему. Он не «переосмысляет» прошлое в духе современности, а вступает в разговор с ним. Он берёт то, что получил, и возвращает с прибылью.

Хам эстетический этого разговора не ведёт. Он использует прошлое как склад декораций. Берёт красивые обломки — колонны, мелодии, образы — и делает из них фон для собственного «я». Он не слушает мёртвых. Он заставляет их молчать, превращая в реквизит.

Настоящая культура требует смирения и дерзновения одновременно. Смирения, потому что ты признаёшь: те, кто был до тебя, видели глубже. Дерзновения, потому что ты всё равно должен сказать своё слово, прожить своё время, добавить свою ноту в общую симфонию.

Ответственность перед ещё не рождёнными

Вот что делает культуру особенно серьёзным делом. Ты не только получаешь от мёртвых. Ты должен передать дальше. Каждое поколение — хранитель огня. Если ты позволяешь этому огню угаснуть, если заменяешь его китчем, иронией или «актуальным искусством», которое завтра будет забыто, — ты предаёшь не только прошлое, но и тех, кто придёт после тебя.

Высокая культура — это акт любви к ещё не рождённым. Ты создаёшь или сохраняешь то, что будет питать души через сто, через триста лет. Ты отказываешься от сиюминутного успеха ради того, чтобы оставить после себя нечто достойное.

Это и есть молитва в самом широком смысле: благодарность за полученное и жертва ради тех, кто будет после.

Как это жить сегодня

Тебе не обязательно быть художником или музыкантом. Культура как молитва возможна в любой сфере.

Читай классику не для галочки, а как письмо, адресованное лично тебе.

Слушай серьёзную музыку не фоном, а с полным вниманием, как будто это голос, который хочет тебе что-то сказать.

Воспитывая детей, передавай им не только знания, но и вкус — способность отличать подлинное от поддельного.

В своей работе делай её так, чтобы ею могли пользоваться через поколение.

Каждый раз, когда ты выбираешь качество вместо количества, глубину вместо доступности, красоту вместо эффекта, — ты совершаешь акт сопротивления эстетическому хамству. Ты говоришь: «Я не согласен жить в мире одноразовых переживаний».

Мёртвые смотрят на нас. Не осуждающе. С надеждой. Они передали нам огонь. Наша задача — не дать ему погаснуть и передать дальше, возможно, ещё ярче.

Это и есть одна из самых достойных форм человеческой жизни — быть звеном в цепи, которая соединяет прошлое с будущим через настоящее. Быть тем, кто слушает мёртвых и отвечает им живым голосом, тем, кто передаёт нетварный свет и продолжает аристократию Духа посреди царства хама.

Твой отец

ПИСЬМО XXXVII

О свободе и иерархии, или — почему вертикаль защищает

О том, что иерархия и свобода не являются противоположностями, о власти как служении и власти как господстве, о том, как горизонталь без вертикали неизбежно превращается в тиранию, и почему отец, стоящий выше сына, защищает его больше, чем равный.

Вена, ноябрь — в городе, умеющем думать об империях

Мой дорогой мальчик,

Позволь начать с признания. Есть слово, которое я боялся произносить на протяжении многих страниц этой книги. Но не потому что оно неправильное, а потому что оно слишком легко превращается в оправдание того, что я больше всего презираю. Это слово — иерархия. В XXI веке оно звучит как ругательство. Его употребляют либо апологеты несправедливости, либо те, кто хочет навязать другим свои ценности под видом «порядка». Именно поэтому честный разговор о нём требует аккуратности. Не трусливой, а хирургической.

Но сегодня я хочу говорить об этом прямо. Потому что без понимания иерархии — её природы, её оснований, её разных видов — невозможно понять ни свободы, ни достоинства, ни того, как оставаться человеком в мире, выбравшем горизонталь.

Два вида иерархии и почему их путают

Есть иерархия господства — та, которую ненавидит эгалитарист, и не без оснований. Это иерархия, в которой высшее место означает право потреблять больше, эксплуатировать тех, кто ниже, и снимать с себя ответственность, перекладывая её на тех, кто не может возразить. Это иерархия фараона, помещика в его худшем воплощении, советского чиновника, сегодняшнего олигарха. В ней власть является целью, а не инструментом. В ней быть выше означает брать, а не давать.

И есть иерархия служения — та, которую разрушил эгалитаризм вместе с первой, не заметив разницы. Это иерархия, в которой высшее место означает большую ответственность. В ней тот, кто выше, несёт больше, а не меньше. В ней

власть является служением, и именно поэтому она законна. Это иерархия отца перед детьми, учителя перед учениками, пастыря перед паствой, монарха перед народом в его лучшем, почти всегда неосуществлённом идеале.

Иисус Христос омыл ноги ученикам в ночь перед арестом, зная, что утром будет предан. Это не символический жест скромности. Это сущестное утверждение о природе подлинной власти: наивысший из присутствующих опускается на колени перед меньшим. Не потому что между ними нет различия — оно есть, и огромное. А потому что именно это различие и обязывает.

Разрушение второго вида иерархии под предлогом борьбы с первым является одной из главных катастроф современности. Потому что второй вид и есть то, что защищает слабого от сильного. Убери вертикаль служения, и останется только горизонталь, на которой единственным законом является сила.

Как горизонталь производит тиранию

Это звучит парадоксально, и именно поэтому требует объяснения.

Когда все равны, то никто не стоит выше. Хорошо. Но это означает и то, что никто не защищён тем, кто стоит выше. Нет отца, нет учителя, нет авторитета, стоящего между тобой и массой. Ты один перед всеми остальными, и единственным арбитром является большинство.

Тут и начинается самое страшное. Потому что большинство — это не мудрость. Это агрегированное желание, усреднённый страх, суммарная зависть. Большинство всегда хочет, чтобы никто не выделялся. Большинство всегда раздражается на тех, кто требует от него больше. Большинство всегда голосует за то, что легче, приятнее и безопаснее прямо сейчас. Алексис де Токвиль называл это «мягким деспотизмом» и предупреждал: эта тирания устойчивее любой другой именно потому, что у неё нет лица. Нельзя свергнуть большинство. Нельзя предъявить ему обвинение. Оно рассеяно в каждом человеке, в каждом клике, в каждом голосе.

Именно поэтому великий австрийский консерватор, человек, написавший одну из самых честных книг о природе свободы в XX веке, утверждал нечто скандальное для современного слуха: только вертикаль способна защитить личность от горизонтального давления масс. Только тот, кто стоит выше толпы — авторитет, традиция, закон, который выше любого большинства, — может сказать толпе «нет».

История подтверждает это снова и снова.

Когда в средневековом городе толпа хотела расправиться с еретиками — её останавливал епископ, граф, иногда король.

Когда революция хотела гильотины — её никто не останавливал: горизонталь была совершенна, каждый был равен каждому, и единственным авторитетом стала воля народа. А воля народа требовала крови.

Афины демократически казнили Сократа.

Иерусалим демократически выбрал Варавву.

В этих двух фактах — весь урок истории о соотношении равенства и справедливости.

Три вида вертикали и почему каждый необходим

Вертикаль не является однородной. Позволь различить три её вида, каждый из которых играет свою роль в защите человеческой личности.

Первая вертикаль — метафизическая.

Это признание того, что существуют ценности, не зависящие от человеческого мнения и не голосуемые большинством.

Истина — не то, что большинство считает истиной.

Красота — не то, что большинству нравится.

Добро — не то, что большинство одобряет.

Это звучит элитарно только до тех пор, пока не понимаешь, что именно эта независимость ценностей от большинства и является единственной защитой меньшинства.

Когда большинство решает, что некоторые группы людей не являются полноценными, единственным, что может этому противостоять, является утверждение о том, что человеческое достоинство не определяется большинством. Оно предшествует любому голосованию. Оно укоренено в чём-то, что выше любой воли народа.

Без этой метафизической вертикали нет защиты от большинства. Нет, никакой конституции, никакого права. Только пока конституция считается выражением чего-то большего, чем воля нынешнего большинства, она что-то защищает. Как только её начинают воспринимать как продукт общественного договора, подлежащий пересмотру при изменении предпочтений, — она перестаёт быть защитой и становится инструментом.

Вторая вертикаль — традиционная.

Это живая цепь людей, живших до нас, думавших глубже нас, испытанных временем там, где мы ещё не прошли проверки.

Традиция — не консервативный рефлекс сохранения status quo. Традиция — это накопленная мудрость, которую нынешнее поколение не имеет права презирать только потому, что она старше его.

Гилберт Честертон — английский мыслитель, умевший выражать глубокое весело, — написал о «демократии мёртвых»: в любом важном вопросе нужно спрашивать не только живущих сейчас, но и тех, кто жил до нас. Их молчание — не отсутствие мнения. Они уже высказались — через законы, обычаи, архитектуру, религию. Не принять их во внимание — это не свобода. Это высокомерие.

Традиционная вертикаль защищает именно потому, что она старше любого текущего большинства.

Когда мода, политический момент, экономический кризис или просто страх толкает общество в сторону, разрушительную в долгосрочной перспективе, традиция говорит: «Это уже проходили. Это не работает. Вот что случается, когда люди так делают».

Традиция — это иммунитет против повторения ошибок.

Именно поэтому первое, что делают революции, — это разрушение традиции. Уничтожение памятников, сжигание архивов, переименование улиц. Революция не переписывает прошлое — она его уничтожает. Потому что прошлое является единственным, что стоит выше революции. Единственным, что может ей сказать «нет».

Третья вертикаль — личная.

Это иерархия внутри самого человека. Та, о которой я писал в письме о требовании к себе: способность высшего в человеке управлять низшим.

Разума — инстинктом.

Совести — выгодой.

Долга — удовольствием.

Это самая трудная из трёх вертикалей и самая важная. Потому что без неё невозможны ни первые две. Человек, у которого нет внутренней иерархии, который позволяет низшему управлять высшим, неизбежно становится тираном или рабом.

Тираном — потому что его инстинкты и страсти не знают меры.

Рабом — потому что именно такими людьми управляют тираны: люди без внутренней вертикали легко управляемы извне.

Отец и сын — образ иерархии служения

Я хочу говорить об этом конкретно. Поэтому — об отце и сыне.

Отец стоит выше сына. Это не равенство.

Отец старше, опытнее, знает о мире вещи, которых сын ещё не знает.

Отец несёт ответственность за сына, что означает: сын может ошибиться, и последствия этой ошибки несёт в том числе отец.

Отец имеет право требовать от сына — не из произвола, а потому что видит дальше: знает, что нынешняя лёгкость обернётся будущей болью, что нынешняя боль — будущей силой.

Это — иерархия. И именно она защищает.

Она защищает сына от него самого.

Маленький ребёнок не знает, что нельзя трогать горячее. Не знает, что нельзя выбегать на дорогу. Не знает тысячи вещей, которые причинят ему вред. Отец, стоящий выше, говорит «нет». Это «нет» не является ограничением свободы. Это «нет» является её условием: чтобы сын дожил до той свободы, которая будет его когда-нибудь.

Она защищает сына от мира.

Когда мир давит на ребёнка — требует соответствовать, принуждает принять то, что приняли все, говорит, что его отличие является проблемой, — отец стоит между ним и миром:

«Мой сын не обязан быть как все. Я за него отвечаю, и я говорю, что он в порядке».

Именно это «Я за него отвечаю» является главным защитным словом. Оно возможно только потому, что отец стоит выше — не в смысле «важнее», а в смысле «несёт больше».

Она защищает сына для роста.

Парадоксально, но именно иерархия является условием подлинного взросления.

Человек, не знавший подлинного отца — не биологического, а функционального, — не умеет повзрослеть. Он умеет только освободиться.

Освобождение и взросление — разные вещи.

Освобождение — это снятие ограничений.

Взросление — это принятие ответственности.

Второе невозможно без первого прохождения через иерархию: через принятие того, что кто-то видит больше тебя, и через последующий выход из этого принятия на собственные ноги.

Именно поэтому отсутствие подлинного отца — не биологического, а функционального — является одной из главных причин ювенилизации, о которой я писал тебе прежде. Человек, не имевший над собой подлинного авторитета, который он мог бы принять и от которого мог бы затем отделиться, не умеет повзрослеть. Потому что взросление — это проход через иерархию, а не обход её.

Почему свобода требует иерархии

Это самый трудный пункт и самый важный.

Свобода без иерархии не является свободой. Она является произволом, то есть властью сильного над слабым, ничем не ограниченной.

Рынок без регулирования — это не свобода предпринимателя. Это свобода монополии уничтожить предпринимателя.

Свобода слова без этики — это не свобода мысли, а свобода лжи уничтожить правду.

Свобода личности без закона — это не свобода всех, а свобода сильного пожирать слабого.

Именно закон, иерархически стоящий выше любого конкретного желания конкретного человека, является условием свободы. Именно то, что я не могу украсть у тебя, потому что есть нечто, стоящее выше моего желания иметь твою

вещь, делает твою собственность реальной. Именно ограничение является условием свободы, а не её противоположностью.

Это понимали все великие мыслители о свободе, и именно это понимание исчезло из современного дискурса, заменённого формулой «свобода = отсутствие ограничений».

Шарль-Луи де Монтескьё, разработавший теорию разделения властей, понимал: именно разделение власти, то есть введение иерархии сдержек и противовесов, является гарантией свободы. Именно то, что закон стоит выше правителя, защищает граждан. Убери это «выше», и правитель станет законом.

Святой Августин говорил об *ordo amoris* — правильном порядке любви. Любовь, направленная на высшее, выше, чем на низшее (на Бога выше, чем на творение), производит не подавление любви к творению, а её правильное расположение. Именно этот порядок является условием счастья. Беспорядок любви, когда низшее ставится выше высшего, производит не большую любовь, а страдание.

Это применимо к любой сфере.

Когда человек ставит удовольствие выше здоровья — он не приобретает больше удовольствия. Он разрушает здоровье и теряет оба.

Когда государство ставит текущие желания граждан выше долгосрочного блага — оно не становится более демократичным. Оно деградирует.

Когда культура ставит развлечение выше смысла — она не получает больше развлечения. Она получает китч, который не удовлетворяет ни потребность в развлечении, ни потребность в смысле.

Иерархия — это не насилие над природой вещей. Это её правильное выражение. Вещи имеют природу, и природа имеет порядок. Уважение к этому порядку — не подчинение, а мудрость.

Auctoritas и potestas — два вида власти

Римляне различали два вида власти, которые мы давно смешали в одно слово.

Potestas — власть принуждения, основанная на силе и санкции.

Auctoritas — власть авторитета, основанная на признании, мудрости и доверии.

Potestas можно захватить.

Auctoritas — нельзя. Её можно только заслужить. И потерять, если поступаешь недостойно.

Сенат в Риме не имел potestas — не мог принуждать. Но имел auctoritas. И именно поэтому его слово было весомее слова любого должностного лица. Не потому что за ним стояла сила. А потому что за ним стояла история, мудрость, репутация и доверие.

Именно auctoritas является тем видом вертикали, которая защищает, в отличие от potestas, которая, будучи неограниченной, угрожает.

Отец, имеющий подлинный авторитет в семье, не нуждается в принуждении. Его слово значит что-то, потому что за ним стоит история верных решений, жертвенных выборов, честности в трудных ситуациях. Дети слушаются не из страха — из доверия.

Когда потерян этот вид власти — остаётся только potestas.

Государство, утратившее auctoritas, управляет только принуждением.

Отец, утративший авторитет, управляет только страхом или задабриванием.

Церковь, утратившая духовный авторитет, управляет только административными санкциями.

Во всех этих случаях — появление грубой силы там, где прежде было уважение.

Именно поэтому разрушение авторитета не освобождает. Оно только меняет тип власти над человеком: с мягкой, основанной на доверии, — на жёсткую, основанную на принуждении.

Это и есть парадокс эгалитарной революции: она обещает свободу от авторитета и производит тиранию силы.

Иерархия в Царстве Духа

Теперь — о самом главном. О той иерархии, которая является основанием всех остальных.

Существует иерархия бытия. Не в смысле «одни люди ценнее других» — это ложное прочтение. А в смысле: в реальности есть уровни.

Камень ниже растения, растение ниже животного, животное ниже человека.

Человек способен к тому, чего не способно животное: к мышлению, к самопожертвованию, к красоте, к Богу.

И в самом человеке есть уровни: тело, душа, дух.

Низшее в человеке — не зло. Но оно должно быть под управлением высшего, иначе оно становится разрушительным.

Это не проповедь. Это иерархия бытия. Её признавал Платон, признавал Аристотель, признавал Данте, признавал Фома Аквинский. Её отрицает только наша эпоха. И именно в этом отрицании заключён корень всех остальных её проблем.

Когда говорят, что все ценности равны, — это ложь.

Предательство не равно верности.

Красота не равна уродству.

Мудрость не равна глупости.

Они могут иметь равное право существовать — в том смысле, что мы не должны уничтожать их носителей. Но это не означает, что они равны по своей природе. Одно выше, другое ниже. И именно эта иерархия ценностей является тем, что позволяет нам различать.

Без этого различения нет морали. Нет возможности сказать «это хорошо, а это плохо». Есть только «это мне нравится, а то не нравится». И тогда единственным законом остаётся сила того, кому нравится другое.

Христианская традиция говорит: Бог есть вершина иерархии бытия. Не тиран — Творец, в котором укоренено само бытие всего существующего. Именно поэтому иерархия в Царстве Духа — это не иерархия господства. Это иерархия участия: чем выше, тем больше в тебе Бога, тем больше ты отдаёшь, тем меньше присваиваешь.

Именно поэтому Иисус Христос на коленях с тазом воды является вершиной этой иерархии, а не её отрицанием. Он выше всех, и именно поэтому служит всем. Это и есть образ подлинной вертикали: чем выше — тем больше служение, тем меньше привилегий, тем тяжелее ответственность.

Как это выглядит на практике

Мне важно, чтобы всё сказанное выше не осталось теорией.

Вертикаль защищает на практике. Вот как это выглядит в жизни.

Когда ты держишь слово, данное тому, кто слабее тебя, — не потому что тебе выгодно, а потому что есть нечто выше твоей выгоды, — ты воспроизводишь вертикаль в своей конкретной жизни. Эта вертикаль защищает того, кому ты дал слово.

Когда ты отказываешься участвовать в насмешке над человеком, которого высмеивают все остальные, — потому что есть нечто, стоящее выше группового давления, — ты воспроизводишь вертикаль. Она защищает этого человека.

Когда ты честен с тем, кто ниже тебя по положению, — с подчинённым, с ребёнком, с обслугой, — ты воспроизводишь вертикаль служения, а не господства. Именно это честное отношение и является тем, что делает иерархию законной.

Когда ты признаёшь авторитет того, кто знает больше тебя, — учителя, мастера, традиции, — не из подчинения, а из честного признания: «В этом ты видишь дальше меня», — ты воспроизводишь вертикаль. И именно она производит рост: только тот, кто может принять что-то сверху, способен передать это ниже.

Вертикаль — это не подавление. Это условие движения.

Деревья растут вертикально, против силы тяжести, против нижнего. Именно это направленное против тяги вниз движение и делает их деревьями, а не лужей.

Человек, теряющий вертикаль, не становится свободным. Он расплывается, как вода без берегов.

Последнее, или о том, почему я пишу тебе всё это

Мой дорогой мальчик, я пишу тебе об иерархии, потому что мир, в который тыходишь, упорно убеждает тебя в её ненужности, опасности и архаичности. Мир говорит:

- Будь свободен.
- Не признавай ничего выше себя.
- Твоя истина равна любой другой.
- Твоё желание так же законно, как чужое.
- Ничто не стоит выше тебя.

Это звучит как освобождение. На самом деле это приговор. Потому что в мире без вертикали ты один перед всеми. Нет ни закона, стоящего выше силы, ни традиции, стоящей выше моды, ни совести, стоящей выше выгоды, ни Бога,

стоящего выше человека. Остаются только ты и масса вокруг. И единственное, что масса уважает без вертикали, — это сила.

Именно поэтому я прошу тебя: не отказывайся от вертикали под видом свободы.

Различай иерархию господства, которая действительно является угнетением, и иерархию служения, которая является защитой.

Различай *potestas* и *auctoritas*.

Различай власть, которая берёт, и власть, которая несёт.

И строй в своей жизни вертикаль — не из страха перед массой, а из любви к тому, что выше тебя. Это и есть то, что делает тебя свободным в том единственном смысле свободы, который имеет значение: свободным не от всего, а для чего-то.

Вена за окном. Город, который помнит, как выглядят империи — и что с ними случается. Который умеет думать о власти, потому что слишком много раз видел, как она разрушается, когда теряет оправдание.

Лучшее из того, что было в этом городе, строилось вертикально. Соборы. Музыка. Мысль. Всё, что поднималось, — поднималось к чему-то.

Поднимайся и ты.

Твой отец

ПИСЬМО XXXVIII

О преображении — последнее слово

О Theosis как предельном ответе на хамство, о восстановлении образа Божия в человеке, о смерти и воскресении как существенной структуре подлинной жизни и о том, почему последнее слово принадлежит не хаму.

Иерусалим, рассвет, Масличная гора

Мой дорогой мальчик,

Я пишу тебе на рассвете с Масличной горы. Внизу — город. Золотой купол мечети над Храмовой горой горит первым светом, как будто не отражает его, а хранит собственный. Стена Старого города серая и тёплая одновременно. Где-то внизу, в лабиринте улиц, уже идут первые люди — торговцы, паломники, военные. Город никогда не молчит полностью. Но сейчас, в этот час между ночью и днём, он молчит достаточно, чтобы слышать нечто, что не слышно в шуме.

Я приехал сюда, чтобы написать тебе последнее письмо. Последнее — не потому что больше не буду писать, а потому что это письмо должно было быть написано именно здесь и именно в конце. Потому что всё, что я писал тебе на протяжении этой книги, — диагнозы, портреты, механизмы, выходы, — всё это было движением к одному слову. Одному понятию. Одной реальности, без которой всё остальное является только описанием болезни без лекарства.

Это слово — преображение. По-гречески: Theosis. Обожение.

Откуда это слово

Theosis — богословский термин, который в православной традиции обозначает предельную цель человеческого существования. Не моральное совершенствование. Не просветление в буддийском смысле. Не самореализация. А буквально: уподобление Богу через участие в Его природе. Причастность к тому, чем Бог является.

Апостол Пётр написал об этом так, как не писал ни один философ до и после:

«Дарованы нам великие и драгоценные обещания, дабы вы через них соделались причастниками Божеского естества».

Не метафора. Не поэтический образ. Существенное утверждение: человек создан для того, чтобы стать причастником Божеского естества. Не стать Богом — это разные вещи. Стать причастником: войти в отношение с Тем, Кто является источником всякого бытия, красоты, любви и смысла, настолько глубоко, что Его природа начинает просвечивать сквозь твою.

Святой Афанасий Великий — архиепископ Александрийский, один из самых мужественных защитников христианского православия в истории, человек, пять раз изгнанный в ссылку императорами и пять раз возвращавшийся, известный под именем *Athanasius contra mundum* («Афанасий против мира»), — написал одну из самых дерзких и точных формул всего христианского богословия:

«Бог стал человеком, чтобы человек стал богом».

Это не богохульство. Это сжатое изложение логики Воплощения: Сын Божий принимает человеческую природу и тем самым открывает ей возможность участия в природе Божественной.

Именно это и является тем, против чего направлено хамство. Все мои письма к тебе в конечном счёте являются описанием одного феномена: человек, отказавшийся от своего призвания к обожению. Человек, закрывший в себе образ Творца, вместо того чтобы реализовывать его. *Homo Vulgaris* — это человек, остановившийся там, где призван двигаться. Это не злодей. Это остановившийся путник.

Что такое образ Божий

Я говорил об этом с первого письма и хочу сказать об этом в последний раз, точнее.

Imago Dei — образ Божий в человеке — не является ни врождённой добродетелью, ни автоматическим спасением, ни привилегией отдельных людей.

Это сущностная структура человека: способность быть направленным к Богу, открытость к бесконечному, вместимость того, что больше тебя.

Каппадокийский богослов Григорий Нисский — один из величайших мыслителей IV века, чья глубина по сей день остаётся не полностью осмысленной, — писал о человеке как о «живом зеркале»: существе, способном отражать Бога. Зеркало ничего не добавляет от себя. Оно только отражает. Но качество отражения зависит от качества зеркала: его чистоты, его ориентации, его неповреждённости.

Хамство, в метафизическом смысле, есть загрязнение зеркала. Не его уничтожение — это невозможно, потому что образ Божий неуничтожим. Но покрытие его слоями, делающими отражение невозможным: слоями *ressentiment*'а, мещанства, цинизма, нигилизма, потребления, эзотерической самонадеянности. Зеркало под ними всё ещё существует. Но Бог в нём не отражается.

Преображение — это очищение зеркала. Не одним усилием, не одним решением. Медленно, через годы, через труд, через благодать, которую нельзя заработать, но можно принять.

Фавор и Иерусалим, или два полюса одной реальности

Я не случайно здесь.

На горе Фавор — там, где Христос преобразился перед учениками, явив им на мгновение тот нетварный свет, который составлял Его истинную природу, — Пётр воскликнул:

«Господи, хорошо нам здесь быть! Если хочешь, сделаем здесь три кущи».

Он хотел остаться. Он хотел закрепить этот момент, сделать из него постоянное состояние, жить в свете Преображения навсегда.

И ему было сказано идти вниз.

Это принципиально важно. Преображение происходит на горе, но жить предстоит в долине. Свет, увиденный на Фаворе, не является бегством от мира. Он является его преобразованием через присутствие видевшего его человека в этом мире. Пётр, увидевший Иисуса Христа в Фаворском свете, должен был вернуться в обычный мир, и именно его возвращение, несущее память этого света, и является смыслом Преображения.

Иерусалим — другая точка той же реальности.

Здесь не Преображение. Здесь Страсти. Здесь предательство, суд, крест, смерть. Здесь — кажущееся торжество хама: власть имущие, толпа, требующая Варавву, трусость учеников, разбежавшихся при первой угрозе. Здесь — точка, в которой, казалось бы, хам победил окончательно.

И именно здесь — Воскресение.

Это не случайно. Евангелие специально ведёт нас от Фавора к Голгофе и от Голгофы к пустому гробу. Не потому что страдание само по себе является смыслом — это была бы ересь. А потому что преобразование человека проходит через смерть старого. Не мимо неё. Не в обход. Через.

Смерть и воскресение как существенная структура

Это и богословие, и одновременно феноменология человеческого роста.

Всё, о чём я писал в этих письмах, — требование к себе, творчество, свобода в иерархии, преодоление хама в себе, — имеет одну и ту же структуру. Эта структура — смерть и воскресение.

Требование к себе — это смерть самодовольства. Без этой смерти нет роста, только статика.

Творческий акт — это смерть того, что было, ради того, что будет. Художник уничтожает набросок ради картины. Родитель умирает для своего «я» ради ребёнка. Учитель отдаёт то, что имеет, зная, что у него станет меньше.

Самопреодоление — это смерть худшей версии себя. Которая происходит снова и снова, каждый день, в каждом маленьком выборе.

Принятие иерархии служения — это смерть претензии на абсолютную автономию. Признание того, что есть нечто выше тебя, и это «нечто» тебя не уничтожает, а освобождает.

Всё это является воспроизведением в малом того, что было явлено в великом — в логике Пасхи. В логике, в которой смерть является не концом, а переходом. В которой то, что кажется поражением, оказывается условием победы. В которой хам, распявший Праведника, думает, что победил, и именно в этой мнимой победе совершается самое главное.

Преображение не является избеганием смерти. Оно является прохождением через неё.

Нетварный свет и что это значит для обычной жизни

Православное богословие Григория Паламы — архиепископа Фессалоникийского XIV века, который вёл богословскую полемику с Варлаамом Калабрийским о природе Фаворского света, — утверждало нечто, что я хочу сказать тебе не как теологическую позицию, а как указание на реальность.

Свет, который видели апостолы на Фаворе, был не физическим светом. Не аллегорией. Не субъективным переживанием учеников. Это был нетварный свет, то есть энергия Самого Бога, доступная тварному существу для созерцания и причастия. Не сущность Бога, ибо она недоступна никакому тварному существу. Но энергия: действие Бога в мире, Его присутствие, открытое для встречи.

Григорий Палама утверждал: этот свет не является прошлым событием. Он доступен человеку в молитве, в таинствах, в подвиге очищения. Это не воспоминание о Фаворе. Это возможность того же Фавора здесь и сейчас.

Что это значит практически?

Это значит, что преображение — не посмертная утопия и не недостижимый идеал, призванный мотивировать праведное поведение. Это реальность, начинающаяся сейчас.

Каждый раз, когда человек выбирает любовь вместо страха, — в нём что-то преображается.

Каждый раз, когда он принимает благодать, вместо того чтобы рассчитывать только на собственные силы, — в нём что-то открывается.

Каждый раз, когда он позволяет Богу войти туда, где прежде было только «я», — что-то меняется необратимо.

Это медленно. Это не всегда видно. Человек, проходящий через это, не светится в темноте и не левитирует. Но те, кто рядом с ним, чувствуют нечто — то самое неназываемое присутствие, которое я описывал в письме о Зосиме и о том, как только живой свидетель делает для нигилиста то, чего не делает никакой аргумент.

Хамство как отречение от Преображения

Теперь я хочу соединить начало этих писем с их концом.

Библейский Хам увидел наготу отца и засмеялся. Его братья прикрыли. В этом маленьком эпизоде — вся метафизика. Хам отказался от благоговения. Благоговение — это способность видеть в другом нечто, превышающее тебя, и ответить на это не смехом, а уважением. Благоговение — это открытость вертикали.

Именно эта открытость вертикали и является условием Theosis. Нельзя преобразиться, будучи закрытым. Нельзя причаститься Божескому естеству, отрицая само существование чего-то выше тебя. Хамство — в его метафизическом смысле — есть закрытость ко всему, что выше. Закрытость к Богу, к традиции, к истине, к другому человеку в той мере, в которой он превышает меня.

Это не атеизм — атеист ещё борется с Богом, ещё имеет отношение к вопросу. Это то, что Сёрен Кьеркегор называл «закрытостью» — духовная позиция человека, намеренно или по привычке закрывшегося от встречи.

Homo Vulgaris во всех восьми его портретах — это человек в разной степени и по-разному закрытый.

Идеолог закрыт за правотой.

Потребитель — за вещами.

Цифровой тип — за экраном.

Эзотерик — за собственным знанием.

Эгалитарист — за требованием равенства.

Нигилист — за отсутствием вопроса.

Все они по-разному закрыты от одного и того же: от возможности быть изменёнными тем, что выше них.

Именно поэтому преображение является прямой антитезой хамству. Не «лучший хам». Не «хам с хорошими манерами». А бытийно иное состояние: человек открытый. Человек, который согласился быть изменённым — и изменяется. Медленно, болезненно, часто незаметно снаружи. Но необратимо.

О Воскресении и почему это важно

Сейчас, пока я пишу тебе, над городом встаёт солнце. Через час отсюда, пройдя через Гефсиманский сад вниз, в долину Кедрона, и поднявшись по другой стороне, можно добраться до Храма Гроба Господня. Там, в глубине базилики, стоит часовня — Кувуклия — над тем местом, где Иисус Христос воскрес.

Это место посещают миллионы. Большинство — с уважением. Некоторые — с верой. Немногие — с тем, что подлинная встреча с Воскресением производит: с потрясением.

Я хочу говорить о Воскресении не как о религиозном постулате, требующем принятия, а как о событии с бытийными последствиями. Если оно произошло — а я верю, что произошло, — это меняет структуру реальности. Не только в смысле «есть жизнь после смерти» (хотя и это). А в смысле более фундаментальном: смерть не является последним словом.

Это не утешение. Это утверждение.

Если смерть не является последним словом, то хам не победил. Он может казаться победителем. Он может занимать все посты, все экраны, все кафедры. Он может смеяться над обнажённостью отца, казнить Сократа, требовать Варавву, распять Праведника. Но это не последнее слово.

Именно это и отличает христианский ответ на хамство от всех других.

Хосе Ортега-и-Гассет говорил: требуй от себя.

Николай Бердяев говорил: твори.

Фридрих Ницше говорил: преодолевай.

Эрих Кюнелът-Леддин говорил: держи вертикаль.

Роджер Скрутон говорил: слушай мёртвых.

Всё это — правда. Всё это необходимо. Но ни одно из этих утверждений не отвечает на самый трудный вопрос: а если хам победил окончательно? Если культура разрушена, традиция утеряна, аристократия Духа физически уничтожена?

Воскресение отвечает на этот вопрос. Оно говорит: ничто из того, что было подлинным, не пропадает окончательно. Каждый акт красоты, каждый акт верности, каждый акт любви, каждый акт требования к себе — несмотря на то, что хам смеётся над ним, — сохраняется в том измерении реальности, которое хам не видит и уничтожить не может.

Это не пассивное утешение для проигравших. Это — основание для продолжения. Потому что если ничто подлинное не пропадает, то каждый акт подлинного, совершённый сейчас, в этом шумном, потребительском, нигилистическом мире, имеет вечное значение. Не только историческое. Не только культурное. Вечное.

Theosis в обычной жизни — конкретно

Мне важно не оставить тебя с теологией, не спустив её на землю. Потому что Theosis — не монастырская привилегия. Это призвание каждого.

Вот как это выглядит в обычной жизни.

Каждый раз, когда ты видишь другого человека — по-настоящему видишь, не функцию, не средство, не помеху, не конкурента, а человека с его болью, с его историей, с его образом Божиим, — ты совершаешь акт, причастный Преображению. Потому что видеть человека так — это уже немного видеть его так, как видит Бог.

Каждый раз, когда ты прощаешь — по-настоящему прощаешь, не из равнодушия и не из стратегии, а из того движения, которое сильнее обиды, — ты совершаешь акт, выходящий за пределы человеческой природы в том смысле, что человек сам по себе на это не способен. Прощение в этом смысле — свидетельство Theosis: в тебе действует нечто, чего нет в тебе без Бога.

Каждый раз, когда ты выбираешь красоту — не как комфорт, а как правду; когда ты останавливаешься перед произведением и позволяешь ему изменить тебя, — ты открываешь в себе тот орган, через который Theosis происходит: способность быть преобразованным тем, что выше тебя.

Каждый раз, когда ты молишься — не произносишь слова молитвы по обязанности, а действительно обращаешься к Тому, Кто слышит, — ты вступаешь в отношение, которое по природе своей является преобразующим. Потому что невозможно быть в подлинном отношении с Богом и остаться тем же.

Каждый раз, когда ты принимаешь страдание — не ищешь его, не идеализируешь, но принимаешь то, что пришло, не сломавшись и не озлобившись, — ты проходишь через структуру смерти-воскресения, которая является структурой Пасхи.

Всё это вместе — не список добродетелей. Это описание человека, который открыт Преображению. Который не закрылся. Который согласен быть изменённым.

Последнее слово о хаме

Я написал тебе много писем о хамстве. Тридцать восемь. О том, как оно устроено, как производится, как выглядит, каких форм достигает.

Я делал это не из ненависти к хаму. И не из ностальгии по несуществовавшему золотому веку.

Я делал это потому, что ясное название болезни является условием исцеления. Нельзя лечить то, что не названо. Нельзя противостоять тому, что не увидено. Нельзя выйти из того, чего не знаешь, что находишься внутри.

Но я хочу, чтобы последнее слово этих писем было не о хаме. Последнее слово — о том, против чего хам бессилён. О том, что он не уничтожил и не уничтожит, сколько бы ни старался.

Образ Божий в человеке — не уничтожается. Только закрывается.

Подлинное — не исчезает. Только прячется.

Красота — не умирает. Только ждёт.

Любовь — не отступает перед силой. Она другого рода.

И Воскресение — уже случилось.

Хам об этом не знает. Это его самое большое ограничение: он живёт в мире, в котором последнее слово уже сказано. И это слово не его.

Именно поэтому я не прошу тебя побеждать хамство в мире. Это невозможно в обозримом будущем и не является твоей задачей. Я прошу тебя о другом.

Не закрывайся.

Не позволяй образу Божию в тебе быть окончательно закрытым.

Оставляй зазор — хотя бы узкий, через который свет ещё может войти.

Требуй от себя.

Твори.

Служи.

Слушай мёртвых.

Прощай.

Люби конкретных людей, а не абстрактное человечество.

Храни традицию — не как музей, а как огонь.

И молись. Даже если не знаешь, к кому. Особенно если не знаешь.

Преображение как ответ

Существует икона «Преображение», написанная Феофаном Греком в начале XV века для Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском. Сегодня она хранится в Третьяковской галерее — её можно прийти и увидеть, и свет, который Феофан вложил в неё шестьсот лет назад, по-прежнему здесь, никуда не исчез. Есть и другие его иконы, есть его ученики, есть Андрей Рублёв, который учился у тех, кто учился у него. Свет, который Феофан видел и передавал, продолжался — через учеников, через традицию, через тех, кто хранил огонь, и через сами эти иконы, дожившие до нас.

Это и есть ответ на хамство. Не политическая программа. Не культурная революция. Не идеология. Живой огонь, передаваемый от человека к человеку — и от иконы к смотрящему. Живая цепь тех, кто видел достаточно — и не закрылся.

Твоя задача — быть звеном в этой цепи. Принять то, что тебе было передано — через традицию, через семью, через тех, кто жил и мыслил до тебя, — и передать дальше. Возможно, изменённым тобой. Обогащённым твоим опытом. Осмысленным твоей жизнью.

Но передать.

Потому что через сто, через двести, через триста лет кто-то, кого ты никогда не увидишь, будет стоять перед чем-то прекрасным — перед иконой, перед закатом, перед лицом любимого человека, перед открытой книгой — и почувствует нечто. И это нечто будет отчасти тем огнём, который нёс ты. Через тех, кого ты любил. Через то, что ты создавал. Через то, каким ты был.

Это и есть Theosis в историческом измерении: передача нетварного света через человеческую цепь. Не потому что мы сами являемся источником. А потому что мы были достаточно открыты, чтобы его принять. И достаточно верны, чтобы передать.

Солнце над Иерусалимом поднялось. Золотой купол уже не просто горит — он сияет. Через минуту колокола начнут звонить — сначала один, потом другой, потом несколько сразу, потом всё смешается в тот особый иерусалимский звон, в котором невозможно различить, где чей голос, потому что они не конкурируют. Они складываются.

Это тоже образ.

Не один голос. Много голосов, каждый из которых несёт свою ноту. И вместе — не какофония, потому что они все направлены к одному. К тому, что выше каждого из них.

Будь таким голосом.

Неси свою ноту. Не чужую, не общую, не ту, что одобрена большинством. Свою — единственную, которую можешь нести только ты.

Потому что именно её не хватает. В этот момент. В этом мире.

И именно из неё — твоей единственной ноты, добавленной к хору тех, кто нёс огонь до тебя, — и складывается то, что я называю последним словом. Слово, которое не принадлежит хаму. Никогда не принадлежало. И никогда не будет.

Хам победил. Но победа хама не является победой человека. Ибо человек создан по образу Божию — и именно этот образ хам не смог уничтожить. Только закрыть.

А закрытое — открывается.

С надеждой,

Твой отец.

Иерусалим, рассвет

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Письмо последнее — О надежде

Где угодно, когда угодно.

Мой дорогой мальчик,

Я написал тебе много писем. Слишком много, возможно. О хаме, о Боге, о смерти и воскресении, о вертикали и горизонтали, о том, что значит быть человеком в мире, который сам отказался быть человеческим. Всё это правда. Но правда умом.

Есть ещё одна правда. Она не требует слов, но я всё равно попробую.

Мои небеса понемногу гаснут. Не сразу, не катастрофически, а так, как гаснут осенние небеса: медленно, незаметно, пока вдруг не обнаруживаешь, что звёзды, которые прежде казались яркими, стали чуть тусклее. Что горизонт, который был далёким, постепенно смещается ближе. Это не жалоба. Это просто то, как устроено время для тех, кто прожил его достаточно.

А на твоих небесах чуть брезжит рассвет. Едва заметный, того особого цвета, который бывает только в первые минуты: не синий и не золотой, а что-то между. Когда ещё не знаешь, каким будет день. И именно это незнание является обещанием.

Я смотрю на твой рассвет, и мне хорошо. Не грустно. Хорошо. Потому что именно так и должно быть: одни небеса гаснут, чтобы другие загорались. Это не потеря. Это порядок вещей, в котором есть что-то, похожее на милосердие.

Всё, что я писал тебе в этих письмах, — не наследство. Наследство — это то, что оставляют, уходя. Это не то. Это разговор. Незаконченный, потому что такие разговоры не заканчиваются. Они продолжаютсся иначе: в твоих решениях, в твоих словах, в том, как ты однажды посмотришь на своего ребёнка и скажешь что-то — не замечая, что говоришь немного и моими словами тоже.

Надежда — вот о чём я хотел написать. Но оказывается, я уже написал.

Надежда — это ты.

Не потому что ты лучше других или избран для чего-то особенного. А потому что в тебе, как и в каждом человеке, есть образ, который хам закрыть может, но уничтожить не может. Этот образ является надеждой. Не моей только, а надеждой как таковой. Надеждой, что человек не окончательно сказал своё последнее слово.

Береги свой рассвет. Не торопи его и не бойся. Пусть он займёт столько времени, сколько ему нужно.

А я буду смотреть с любовью.

Твой отец

P.S. И последнее — то, чего не найдёшь в трактатах.

Однажды ночью я сидел в своём кабинете и думал о тебе. О том, каким ты станешь. О том, достаточно ли я тебе передал. О том, не слишком ли много слов и не слишком ли мало жизни в этих словах.

Я не знаю ответа. Никто не знает.

Но я знаю вот что: угли под пеплом не гаснут. Они ждут.

Ты — огонь, который я берёг.

Гори!